# Ган Исландец

# Виктор Гюго

Перевод с французского А. Соколовой

###### Роман в двух книгах.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

— Вот до чего доводит любовь, сосед Ниэль! Бедняжка Гут Стерсен не лежала бы теперь на этой большой черной плите, как морская звезда, забытая отливом на отмели, если бы заботилась только о починке челнока и ветхих сетей своего отца. Да утешит святой Усуф нашего старого товарища в постигшем его несчастии!

— Да и жених ее, — подхватил чей-то пронзительный дрожащий голос, — этот красавец Жилль Стадт, не лежал бы тут рядом с ней, если бы вместо того, чтобы волочиться за богатством в проклятых рудниках Рерааса, он качал люльку маленького брата под закоптелой кровлей своей хижины.

— Э! Матушка Олли, твоя память стареет вместе с тобою, — возразил сосед Ниэль, к которому обращена была первая речь. — У Жилля никогда не было брата и тем труднее бедной вдове Стадт переносить свое горе. Хижина ее теперь совсем осиротела и взоры матери, ища утешение в небе, будут встречать лишь ветхую кровлю, под которой висит опустелая люлька сына, в цвете лет простившегося с жизнью.

— Несчастная мать! — вздохнула старая Олли, — а парень сам виноват... зачем понесло его в Рераасские рудокопни?

— Право, — сказал Ниэль, — эти адские рудники берут с нас по человеку за каждый аскалон меди. Не так ли, кум Брааль?

— Рудокопы — это безумный народ, — ответил рыбак. — Чтобы жить, рыба не должна покидать воды, а человеку не след спускаться в недра земли.

— Но если работа в рудниках нужна была Жиллю Стадту, чтобы сыграть свадьбу с своей невестой? — заметил из толпы молодой парень.

— Э! — прервала его Олли, — разве можно подвергать жизнь свою опасности ради страсти, которая не стоит такой жертвы. Нечего сказать, славное брачное ложе доставил Жилль своей возлюбленной!

— Значит, молодая девушка утопилась с отчаяние, узнав о смерти своего жениха? — осведомился другой любопытный.

— Что за вздор! — грубо закричал какой-то солдат, расталкивая толпу. — Я хорошо знаю эту девочку, она действительно была помолвлена с молодым рудокопом, придавленным обвалом скалы в шахтах Сторваадсгрубе, близ Рераасса. Но она также была любовницей одного из моих товарищей, и когда третьего дня она тайком отправилась в Мункгольм отпраздновать с своим дружком смерть жениха, лодка ее наткнулась на подводный камень и Гут утонула.

Смешанный шум голосов поднялся в толпе. «Врешь, служба!» — кричали старухи; молодежь молчала, а сосед Ниэль ехидно напомнил рыбаку Браалю свое глубокомысленное изречение: «Вот до чего доводит любовь!» Солдат, не на шутку раздраженный сварливым бабьем, уже послал ему название «старых ведьм кираготской пещеры», оскорбительный эпитет, с которым трудно было безропотно примириться, как вдруг повелительный грубый голос, закричавший: «Тише, тише, болтуны!», положил конец препирательствам.

Все смолкло, подобно тому как при крике петуха водворяется тишина в среде раскудахтавшихся кур.

Прежде чем продолжать наш рассказ, не лишне будет описать место, где происходила вышеописанная сцена. Читатель, без сомнение, уже догадался, что мы в одном из тех зданий, которые человеколюбие и общественное призрение посвящает для последнего приюта безвестных трупов, по большей части самоубийц, жизнь которых не богата была красными днями.

Здесь безучастно толпятся любопытные, зеваки холодные или сердобольные, но часто безутешные друзья и родные, которым долгая, невыносимая неизвестность оставила эту последнюю горькую надежду.

В эпоху давно минувшую, в стране мало цивилизованной, куда мы переносим читателя, еще и не помышляли превращать эти убежища в вычурно мрачные памятники, как то делают теперь наши столицы, блещущие золотом и грязью. Солнечные лучи не проникали туда и, скользя по артистически украшенному своду, не освещали ряда возвышений, изголовья которых готовят как бы для сна. Если отворялась дверь сторожки, взор, утомленный зрелищем голых, изуродованных трупов, не мог отдохнуть, как в наше время, на изящной мебели и резвящихся детях.

Смерть являлась здесь во всей своей отвратительной наготе, во всем ужасе: тогда не пытались еще украшать полуистлевший скелет лентами и саваном.

Помещение, в котором происходила вышеописанная сцена, было обширно, а парившая в нем темнота придавала ему еще более фантастические размеры. Дневной свет проникал туда лишь через низенькую, четырехугольную дверь, ведшую к Дронтгеймской пристани, да в отверстие, вырубленное топором в потолке, откуда, смотря по времени года, падали дождь, град или снег на трупы, расположенные как раз против отверстия.

Железная балюстрада, высотою по грудь взрослого, делила это помещение во всю ширину. В переднее отделение входили посетители через вышеупомянутую четырехугольную дверь, в заднем — виднелось шесть длинных черного гранита плит, размещенных в ряд и параллельно друг дружке. Боковая, маленькая дверь служила входом в каждое отделение для сторожа и его помощника, которые занимали остальную часть здание, примыкавшую к морю.

Рудокоп и его невеста лежали рядом на двух смежных гранитных плитах. Тело молодой девушки начало уже разлагаться, судя по широким синим и багровым полосам, которые тянулись вдоль ее членов, соответственно ходу кровеносных сосудов. Черты лица Жилля были мрачны и суровы, но труп его так страшно был изуродован, что невозможно было судить, тот ли это красавец, о котором говорила старая Олли.

Перед этими-то обезображенными останками, среди молчаливой толпы начался вышеприведенный разговор.

Рослый, сухощавый человек пожилых лет, скрестив руки и опустив голову на грудь, сидел в самом темном углу морга[[1]](#footnote-1) на поломанной скамье. Казалось, он не обращал ни малейшего внимание на происходившее вокруг него, но вдруг поднявшись с места, он крикнул: «Тише, тише, болтуньи!» — и протянул руку солдату.

Воцарилась тишина. Солдат обернулся и громко расхохотался при виде нового собеседника, изможденное лицо которого, редкие, растрепанные волосы, длинные пальцы и полный костюм из оленьей кожи достаточно оправдывали столь неожиданную веселость. Между темь в толпе женщин поднялся сдержанный говор:

— Это сторож Спладгеста[[2]](#footnote-2). Это адский тюремщик мертвецов! — Это дьявольский Спиагудри! — Проклятый колдун...

— Тише, болтуньи, тише! Если сегодня день вашего шабаша, спешите к вашим помелам, не то они улетят без вас. Оставьте в покое этого благородного потомка бога Тора.

С этими словами Спиагудри, попытавшись скроить грациозную улыбку, обратился к солдату:

— Ты сказал, товарищ, что эта жалкая женщина...

— Старый негодяй! — пробормотала Олли. — Мы действительно для него жалкие женщины, так как наши тела, попадись они в его когти, не принесут ему по таксе более тридцати аскалонов, меж тем как за любой негодный остов мужчины он имеет верных сорок.

— Тише, ведьмы! — повторил Спиагудри. — Право, эти чортовы дочери что их котлы; как согреются, начинают шуметь. Скажи-ка мне, мой храбрый воин, твой товарищ, любовницей которого была Гут, без сомнение наложил на себя руки, потеряв ее?..

Эти слова произвели взрыв долго сдерживаемого негодования.

— Слышите, что толкует басурман, старый язычник? — закричало разом двадцать пронзительных, нестройных голосов. — Ему хочется заполучить еще нового покойника ради лишних сорока аскалонов!

— А если бы и так, — продолжал сторож Спладгеста. — Наш милостивый король и повелитель Христиерн V, да благословит его святой Госпиций! — разве он не объявил себя покровителем всех рудокопов, так как они обогащают его королевскую казну своим скудным заработком.

— Не слишком ли много чести для короля, сосед Спиагудри, — заметил рыбак Брааль, — когда ты сравниваешь королевскую казну с сундуком твоей мертвецкой, и его особу с своей?

— Сосед! — повторил Спиагудри, уязвленный такой фамильярностью. — Твой сосед! Скажи-ка лучше твой хозяин, так как легко может статься, что со временем я и тебе, мой милейший, одолжу на недельку одну из моих каменных постелей. Впрочем, — добавил он, смеясь, — я ведь заговорил о смерти этого солдата в надежде видеть продолжение обычая самоубийств под влиянием сильных, трагических страстей, внушаемых подобными женщинами.

— Хорошо, хорошо, великий хранитель трупов, — сказал солдат, — но что хотел ты сказать своей милой гримасой, так удивительно похожей на последнюю усмешку висельника?

— Чудесно, мой храбрый воин! — вскричал Спиагудри. — Я всегда думал, что под каской латника Турна, победившего диавола саблей и языком, кроется более ума, чем под митрой Ислейфского епископа, сочинившего историю Исландии, или под четырехугольной шапкой профессора Шонинга, описавшего наш собор.

— В таком случае послушай меня, старый кожаный мешок, брось эту мертвецкую и продай себя в кабинет редкостей вице-короля в Бергене. Клянусь тебе святым Бельфегором, там на вес золота скупают экземпляры редких животных. Однако, что же ты хотел мне сказать?

— Если труп, доставленный сюда, вынут из воды, мы обязаны платить половину таксы рыбакам. Вот потому-то я и хотел просить тебя, славный потомок латника Турна, уговорить твоего злополучного товарища не топиться, а избрать какой-либо иной способ покончить свое существование. Ему не все ли равно, а умирая, он наверно не захочет обидеть бедного христианина, который окажет гостеприимство его трупу, если только утрата Гут натолкнет его на такой отчаянный поступок.

— Ну, здесь ничего не выгорит, мой сердобольный и гостеприимный тюремщик. Плоха надежда на моего товарища, что он сделает тебе удовольствие, воспользовавшись твоей соблазнительной гостиницей о шести постелях. Неужто ты думаешь, что другая какая-нибудь валькирия не утешила его в потере этой? Клянусь моей бородой, ваша Гут уже давно порядком надоела ему.

При этих словах буря, минуту тому назад висевшая над головой Спиагудри, обрушилась всей своей тяжестью на злосчастного солдата.

— Что, несчастный негодяй! — кричали старухи. — Так-то вы нами дорожите? Вот любите после этого таких бездельников.

Молодухи все еще молчали, некоторые из них даже находили, что этот бездельник недурен собой.

— Ого! — сказал солдат. — Шабаш-то снова расходится. Мучение Вельзевула поистине ужасны, если ему каждую неделю приходится выслушивать подобные хоры!

Неизвестно, чем кончилось бы это новое препирательство, если бы в эту минуту всеобщее внимание не было привлечено шумом, несшимся с улицы.

Шум постепенно усиливался и вскоре толпа полунагих мальчишек, крича и вертясь вокруг закрытых носилок, которые несли два человека, в беспорядке ворвалась в Спладгест.

— Это откуда? — спросил сторож морга носильщиков.

— С Урхтальских берегов.

— Оглипиглап! — закричал Спиагудри.

Малорослый лапландец в кожаной одежде появился на этот зов в одной из боковых дверей и сделал знак носильщикам следовать за ним. Спиагудри тоже пошел с ними и дверь захлопнулась, прежде чем толпа любопытных успела угадать по длине трупа, покоившегося на носилках, мужчина то был, или женщина.

Всевозможные предположение и догадки прерваны были появлением Спиагудри и его помощника, которые внесли труп мужчины во второе отделение морга и положили его на одну из гранитных плит.

— Давненько уж не попадалась мне такая прекрасная одежда, — промолвил Оглипиглап, качая головою.

Приподнявшись на цыпочках, он прикрыл мертвеца красивым капитанским мундиром. Голова трупа была обезображена, все тело в крови. Сторож несколько раз окатил его водою из старого поломанного ведра.

— Клянусь Вельзевулом! — закричал солдат. — Это офицер нашего полка!.. Кто бы это мог быть?.. Уж не капитан ли Боллар... с горя, что потерял своего дядю? Но нет, он его прямой наследник. — Не барон ли Рандмер? Вчера он поставил на ставку свое имение, но завтра же вернет его с замком противника в придачу. — Быть может это капитан Лори, у которого утонула собака, или казначей Стунк, которому изменила жена? Однако во всех этих поводах я не нахожу ни малейшей уважительной причины к самоубийству.

Толпа зрителей увеличивалась с каждой минутой. В это время молодой человек, проезжавший по пристани, приметил это стечение народа, соскочил с лошади и, бросив поводья следовавшему за ним слуге, вошел в Спладгест.

Вновь прибывший одет был в простой дорожный костюм, вооружен саблей и закутан в широкий зеленый плащ. Черное перо, прикрепленное к его шляпе брильянтовым аграфом, ниспадало на его благородное лицо и колыхалось над его высоким лбом, обрамленном длинными каштановыми волосами; его забрызганные грязью сапоги и шпоры свидетельствовали, что он прибыл издалека.

Когда он вошел в Спладгест, какой-то малорослый приземистый человек, закутанный тоже в плащ и пряча свои руки в огромных перчатках, спрашивал солдата:

— А кто тебе сказал, что он самоубийца? Что он не сам покончил с собой, это также верно, как то, что крыша вашего собора не загорелась сама собой.

Подобно тому, как обоюдоострый меч наносит двойную рану, так и эти слова породили два ответа.

— Наш собор! — повторил Ниэль. — Его кроют теперь медью. Говорят, что это злодей Ган поджег его, чтобы доставить работу рудокопам, среди которых находился его любимец Жилль Стадт.

— Что за чорт! — вскричал в свою очередь солдат. — Кто смеет спорить со мной, со мной, вторым стрелком Мункгольмского гарнизона, что этот человек не пустил себе пулю в лоб?

— Этот человек был убит, — холодно возразил малорослый субъект.

— Скажите на милость, какой оракул! Отваливай, твои маленькие серые глазки видят так же зорко, как и руки в этих длинных перчатках, в которые ты прячешь их среди лета.

Глаза незнакомца сверкали.

— Ну, служба, моли своего патрона, чтобы эти руки не оставили в один прекрасный день своего отпечатка на твоей роже.

— А, посмотрим! — вскричал солдат, вспыхнув от гнева, но вдруг сдержал себя и добавил: — Нет, не след говорить о поединке при мертвых.

Малорослый человек пробормотал что-то на незнакомом языке и замешался в толпу.

— Его нашли на Урхтальских берегах, — произнес чей-то голос.

— На Урхтальских берегах? — повторил солдат. — Капитан Диспольсен должен был высадиться там сегодня утром, возвращаясь из Копенгагена.

— Капитана Диспольсена еще нет в Мункгольме.

— Говорят, что Ган Исландец скитается на этих берегах.

— В таком случае весьма возможно, что это капитан, — заметил солдат, — если Ган отправил его на тот свет. Кому неизвестна проклятая манера Исландца убивать свои жертвы так, чтобы они имели вид самоубийц.

— Каков из себя этот Ган? — спросил кто-то из толпы.

— Великан, — отвечал один.

— Карлик, — поправил другой.

— Разве его никто не видел?

— Тот, кто видел его в первый раз, видел его в последний.

— Шш! — сказала старая Олли. — Говорят, только троим удалось перекинуться с ним человеческим словом: это окаянному Спиагудри, вдове Стадт и бедняге Жиллю, который лежит теперь здесь. Шш!

— Шш! — послышалось со всех сторон.

— Ну, — вдруг вскричал солдат, — теперь я убежден, что это капитан Диспольсен. Я узнаю стальную цепь, которую подарил ему при отъезде наш узник, старый Шумахер.

Молодой человек с черным пером поспешно вмешался:

— Ты действительно уверен, что это капитан Диспольсен?

— Клянусь Вельзевулом, это он! — ответил солдат.

Молодой человек быстро вышел из Спладгеста.

— Ступай, найми лодку в Мункгольм, — приказал он слуге.

— Но, сударь, а как же генерал?

— Ты отведешь к нему лошадей, завтра же я сам буду у него. Кажется, я волен поступить, как мне заблагорассудится... Ступай, скоро уж вечер, а мне дорога каждая минута. Лодку!

Слуга повиновался и несколько минут следил глазами за своим юным господином, который удалялся от берега.

### II

Читатель знает уже, что действие нашего рассказа происходит в Дронтгейме, одном из четырех наиболее значительных городов Норвегии, хотя и не служившем резиденцией вице-короля.

В 1699 году — время действие нашего рассказа — Норвежское королевство было еще соединено с Данией и управлялось вице-королями, жившими в Бергене, столице, далеко превосходящей Дронтгейм величиною, местоположением и красотой, не взирая на пошлое название, которым окрестил ее знаменитый адмирал Тромп.

Со стороны залива, от которого Дронтгейм получил свое название, город представлял привлекательное зрелище. Гавань, достаточно широкая, хотя корабли и не всегда могли проникать в нее без затруднение, представляла собою род длинного канала, уставленного с правой стороны судами датскими и норвежскими, с левой же — иностранными кораблями — деление, предписанное королевским указом. В глубине залива виднелся город, расположенный на прекрасно обработанной равнине и высившийся над окрестностями длинными шпицами своего собора.

Эта церковь — один из лучших образцов готической архитектуры, насколько можно судить по книге Шонинга, которого с таким ученым видом цитировал Спиагудри и который описал собор, прежде чем частые пожары успели обезобразить его, — церковь эта имела на своем главном шпице епископальный крест — отличительный знак собора, принадлежавшего лютеранской епископии Дронтгейма. В синеватой дали за городом рисовались белоснежные, льдистые вершины Кольских гор, похожие на остроконечный бордюр античной короны.

Посреди гавани, на расстоянии пушечного выстрела от берега одиноко высилась на груде скал, омываемых морскими волнами, крепость Мункгольм, мрачная тюрьма, заключавшая тогда в своих стенах узника, знаменитого блеском своего продолжительного могущества и своим быстрым падением.

Шумахер, вышедший из низкого сословие, был осыпан милостями своего монарха, затем с кресла великого канцлера Дании и Норвегии попал на скамью изменников, был возведен на эшафот и из милости брошен в уединенную темницу, вдали от обоих королевств. Те люди, которых он сам вывел из ничтожества, теперь низвергли его, не дав даже права жаловаться на неблагодарность. Мог ли он жаловаться, видя как ломаются под его ногами те ступени, которые он сам воздвигал для своего возвышения?

Основатель дворянского сословие Дании видел из глубины своей темницы, как вельможи, созданные им, делили промеж себя его собственные почести. Граф Алефельд, его смертельный враг, наследовал его канцлерское достоинство; генералу Аренсдорфу, как великому маршалу, достались воинские почести; епископ Споллисон сделался попечителем университета. Единственный из его врагов, который не был ему обязан своим возвышением, — это граф Ульрик Фредерик Гульденлью, вице-король Норвегии, побочный сын короля Фредерика III. Он был великодушнее всех.

К этой-то мрачной Мункгольмской скале медленно приближалась лодка молодого человека с черным пером.

Солнце быстро опускалось к горизонту за массу крепости, которая прерывала его лучи, падавшие столь отлого, что крестьянин на отдаленных восточных холмах Ларсиниа мог следить за двигавшейся перед ним по верестняку неясной тенью часового, расхаживавшего на самой высокой башне Мункгольма.

### III

Эндрю, распорядись, чтобы через полчаса подали сигнал к тушению огня. Серсилл сменит Дукнесса у главной подъемной решетки, а Мальдивий пусть станет на платформе большой башни. Необходим строжайший надзор со стороны башни Шлезвигского Льва. Не забудьте также в семь часов выстрелить из пушки, чтобы подняли цепь в гавани... нет, нет, я забыл, что ждут капитана Диспольсена. Напротив, надо зажечь маяк и посмотреть, горит ли Вальдерлонгский; об этом уже послано туда приказание, — а главное, чтобы была готова закуска для капитана. Ну теперь все, ах нет, чуть не забыл посадить на два дня под арест второго стрелка Торик Бельфаста, который пропадал где-то целый день.

Эти приказание отдавал сержант под черными, закоптелыми сводами Мункгольмской гауптвахты, находившейся в низкой башне, высившейся над главными воротами крепости.

Солдаты, к которым он обращался, бросали игру или поднимались с коек, спеша исполнить приказание, и на гауптвахте водворилась тишина.

Через минуту мерный плеск весел послышался со стороны залива.

— Ну, должно быть это капитан Диспольсен, — пробормотал сержант, открывая маленькое решетчатое окошко, выходившее на залив.

Лодка действительно причалила к железным воротам крепости.

— Кто там? — окликнул сержант хриплым голосом.

— Отвори! — был ответ. — Мир и безопасность.

— Вход воспрещен: есть ли у вас пропуск?

— Есть.

— А вот посмотрим. Если же вы налгали, клянусь всеми святыми, я заставлю вас отведать воды залива.

Затем отвернувшись и закрыв окошко, он прибавил:

— Однако это не капитан!

Свет блеснул за железными воротами; ржавые запоры заскрипели, засовы были подняты и приотворив калитку, сержант принялся рассматривать пергамент, предъявленный ему вновь прибывшим.

— Проходите, — проговорил он, — позвольте, впрочем, — прибавил он поспешно: — вам надо оставить здесь брильянтовую пряжку вашей шляпы, так как в государственные тюрьмы нельзя входить с драгоценными украшениями. В регламенте ясно сказано, что только «король и члены королевской фамилии, вице-король и члены его фамилии, епископ и командиры гарнизона исключаются из этого правила». Вы наверно не обладаете ни одним из этих титулов?

Молодой человек без возражений отстегнул пряжку и кинул ее вместо платы рыбаку, который доставил его к крепости. Лодочник, опасаясь, чтобы он не раскаялся в своей щедрости, поспешил широким пространством моря отделить благодеяние от благодетеля.

Между тем как сержант, ворча на неблагоразумие правительства, злоупотребляющего правом входа в государственные тюрьмы, задвигал тяжелые засовы и мерный стук его ботфорт раздавался на ступенях лестницы, ведшей на гауптвахту, молодой человек, перекинув плащ через плечо, быстрыми шагами прошел под черными сводами низкой башни, миновал длинный плац-парад и артиллерийский парк, где находилось несколько старых негодных кулеврин[[3]](#footnote-3), которые можно видеть теперь в Копенгагенском музее. Предупрежденный окликом часового, он подошел к подъемной решетке, которая поднята была для осмотра его пропуска.

Отсюда, в сопровождении солдата, он ни минуты не задумываясь и как бы хорошо знакомый с местностью, направился по диагонали одного из четырех квадратных дворов, примыкавших по бокам к главному круглому двору, посреди которого высилась обширная и круглая скала с башней под названием Замка Шлезвигского Льва и где заключен был своим братом Рольфом-Карликом герцог Шлезвигский, Джоатам Лев.

Мы не станем описывать здесь Мункгольмской башни, тем более, что читатель, заключенный в государственную тюрьму, пожалуй станет опасаться, что оттуда нельзя спастись через сад. Опасение напрасное, так как замок Шлезвигского Льва, назначенный для высоко поставленных узников, между прочими удобствами доставлял им возможность прогуливаться в довольно обширном запущенном саду, где среди скал вокруг высокой тюрьмы и в ограде крепостных стен росли кусты остролиста, несколько старых тиссов и черных сосен.

Поравнявшись с подошвой круглой скалы, молодой человек взошел по грубо вырубленным в ней ступеням, которые вели к одной из башен ограды, служившей входом в центральное здание. Тут он громко затрубил в медный рог, полученный им у часового опускной решетки.

— Отворите, отворите! — с живостью закричал голос изнутри. — Это наверно окаянный капитан!..

Дверь отворилась в вновь прибывший, войдя в плохо освещенную комнату готической архитектуры, приметил молодого офицера, небрежно развалившегося на груде плащей и оленьих шкур, близ одного из тех ночников с тремя рожками, которые наши предки подвешивали к розеткам потолка, но который в эту минуту стоял на полу. Богатство и изысканная роскошь его костюма составляли разительный контраст с голыми стенами и топорной мебелью комнаты.

Не выпуская книги из рук, он полуобернулся к вошедшему.

— Это вы, капитан? Добро пожаловать! Без сомнение вы не предполагали, что заставляете ждать человека, не имеющего чести вас знать, но мы скоро познакомимся поближе, не правда ли? На первых порах дозвольте мне выразить вам мое искреннее сожаление, что вы вернулись в этот гостеприимный замок. За тот недолгий промежуток времени, который я провел здесь, я сделался так же весел, как и сова, прибитая вместо пугала к воротам башни. Клянусь дьяволом, когда я вернусь в Копенгаген на свадьбу моей сестры, и четыре дамы из целой сотни не признают меня! Скажите, пожалуйста, не вышли ли из моды банты из красных лент у подола кафтана? Не переведено ли каких-нибудь новых романов этой француженки, мадмуазель Скюдери? У меня теперь ее «Клелия», которою наверно еще зачитываются в Копенгагене. Теперь, когда я томлюсь вдали от стольких прелестных глазок, эта книга мое единственное утешение... потому что как ни хороши глазки нашей узницы, — вы знаете о ком я говорю — они ничего не говорят моему сердцу. Ах! уж эти поручение родителя!.. Сказать по секрету, капитан, мой отец — пусть это останется между нами — поручал мне... понимаете... приволокнуться за дочерью Шумахера. Но все старание мои пошли прахом: это не женщина, а прекрасная статуя; она плачет по целым дням и не обращает на меня ни малейшего внимания.

Молодой человек, не имевший до сих пор случая прервать болтовню словоохотливого офицера, вскрикнул от удивления.

— Что? Что вы сказали? Вам поручили обольстить дочь несчастного Шумахера?

— Обольстить! Пожалуй, если теперь так выражаются в Копенгагене, но тут сам дьявол спасует. Представьте себе, позавчера, находясь на дежурстве, я специально для нее надел роскошные французские брыжи, полученные мною прямо из Парижа; ну и что ж бы вы думали, она ни разу не взглянула на меня, не смотря на то, что я раза три или четыре проходил чрез ее комнату, брянча новыми шпорами, колесцо которых будет пошире ломбардского червонца. Это ведь самый новейший фасон, не правда ли?

— Боже мой! — прошептал молодой человек, сжимая голову руками, — это ужасно!

— Не правда ли? — подхватил офицер, ложно истолковав смысл этого восклицания. — Ни малейшего внимание ко мне! Невероятно, а между тем сущая правда!

Страшно взволнованный, молодой человек заходил по комнате большими шагами.

— Не хотите ли перекусить, капитан Диспольсен? — крикнул ему офицер.

Молодой человек опомнился.

— Я вовсе не капитан Диспольсен.

— Что! — вскричал офицер грубым тоном, поднявшись с своего ложа. — Но кто же вы, если осмелились проникнуть сюда, в такой час?

Молодой человек развернул свой пропуск.

— Мне надо видеть графа Гриффенфельда... я хочу сказать, вашего узника.

— Графа! Графа! — пробормотал офицер недовольным тоном. — Однако, бумаги ваши в порядке, за подписью вице-канцлера Груммонда Кнуда: «Предъявитель сего имеет право во всякое время дня и ночи входить во все государственные тюрьмы». Груммонд Кнуд — брат старшего генерала Левина Кнуда, губернатора Дронтгейма, и вы должны знать, что этот старый воин воспитал моего будущего зятя...

— Очень вам благодарен, поручик, за эти семейные тайны. Но, быть может вы и без того слишком много распространялись о них?

— Грубиян прав, — подумал поручик, закусив себе губы. — Эй! Тюремщик! Тюремщик! Проводи этого господина к Шумахеру, да не ворчи, что я отцепил у тебя ночник о трех рожках с одной светильней. Мне интересно было рассмотреть поближе вещицу времен Скиольда-Язычника или Гавара-Перерубленного, и к тому же теперь вешают на потолок только хрустальные люстры.

Между тем как молодой человек и его проводник проходили по уединенному саду крепости, поручик — эта жертва моды — снова принялся упиваться любовными похождениями амазонки Клелии и Горация Кривого.

### IV

Между тем слуга с двумя лошадьми въехал на двор дома дронтгеймского губернатора. Соскочив с седла и тряхнув головой с недовольным видом, он хотел было отвести лошадей в конюшню, как вдруг кто-то схватил его за руку и спросил:

— Что это! Ты один, Поэль! А где же твой барин? Куда он девался?

Этот вопрос сделан был старым генералом Левином Кнудом, который, приметив из окна слугу молодого человека, поспешил выйти на двор. Устремив на слугу испытующий взор, он с беспокойством ждал его ответа.

— Ваше превосходительство, — ответил Поэль с почтительным поклоном, — моего барина нет уже в Дронтгейме.

— Как! Он был здесь и уехал, не повидавшись со мной, не обняв своего старого друга! Давно он уехал?

— Он приехал и уехал сегодня вечером.

— Сегодня вечером!.. сегодня вечером!.. Но, где же он остановился? Куда отправился?

— Он сошел с коня на пристани у Спладгеста и переправился в Мункгольм.

— А!.. Кто бы мог думать, что он так близко... Но зачем его понесло в замок? Что он делал в Спладгесте? Вот поистине странствующий рыцарь! А виноват в этом все я: к чему было давать ему такое воспитание? Мне хотелось, чтобы он был свободен, не смотря на свое сословие...

— Ну, нельзя сказать, чтобы он был рабом этикета, — заметил Поэль.

— Да, но за то он раб своих прихотей. Однако, тебе пора отдохнуть, Поэль... Скажи мне, — вдруг спросил генерал, на лице которого появилось озабоченное выражение, — скажи мне, Поэль, порядком вы колесили?

— Нет, генерал, мы прибыли сюда прямо из Бергена. Мой барин был не в духе.

— Не в духе! Что бы это могло произойти у него с родителем? Может быть ему не по душе этот брак?

— Не знаю, но говорят, что его светлость настаивает на этом браке.

— Настаивает! Ты говоришь, Поэль, что вице-король настаивает? Но если он настаивает, значит Орденер противится.

— Не могу знать, ваше превосходительство, только мой барин был не в духе.

— Не в духе? Знаешь ты, как принял его отец?

— В первый раз — это было в лагере близ Бергена — его светлость сказал ему: «Я не часто вижу вас, сын мой». — «Тем отраднее для меня, государь и отец мой, — ответил мой барин, — если вы это замечаете». Затем он представил его светлости подробный отчет о своих поездках по северу, и вице-король одобрил их. На другой день, вернувшись из дворца, мой барин сказал мне: «Меня хотят женить; но сперва мне необходимо повидаться с генералом Левином, моим вторым отцом». Я оседлал лошадей, и вот мы здесь.

— Правда ли, мой добрый Поэль, — спросил генерал голосом, дрожащим от волнения, — он назвал меня своим вторым отцом?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Горе мне, если этот брак не пришелся ему по сердцу! Я готов скорее впасть в немилость у короля, чем дать свое согласие. А между тем — дочь великого канцлера обоих королевств!.. Да кстати, Поэль! Известно Орденеру, что его будущая теща, графиня Альфельд, со вчерашнего дня находится здесь инкогнито и что сюда же ждут самого графа?

— Я не слыхал об этом, генерал.

— О! — пробормотал старый губернатор. — Он должно быть знает об этом, если с такой поспешностью оставил город.

Благосклонно махнув рукою Поэлю и отдав честь часовому, который сделал ему на караул, генерал, еще более озабоченный, вернулся в свое жилище.

### V

Когда тюремщик, пройдя винтовые лестницы и высокие комнаты башни Шлезвигского Льва, открыл наконец дверь камеры, которую занимал Шумахер, первые слова коснувшиеся слуха молодого человека были:

— Вот наконец и капитан Диспольсен.

Старик, произнесший эти слова, сидел спиною к двери, облокотившись на рабочий стол и поддерживая лоб руками. Он одет был в шерстяную черную симарру[[4]](#footnote-4); а в глубине комнаты над кроватью виднелся разбитый гербовый щит, вокруг которого порванные цепи орденов Слона и Даннеброга; опрокинутая графская корона была прикреплена под щитом и два обломка жезла, сложенные на крест, дополнили собою эти странные украшения. Старик был Шумахер.

— Нет, это не капитан, — ответил тюремщик и, обратившись к молодому человеку, добавил: — Вот узник.

Оставив их наедине, он захлопнул дверь, не слыхав слов старика, который заметил резким тоном:

— Я никого не хочу видеть, кроме капитана.

Молодой человек остановился у дверей; узник, ни разу не обернувшись и думая, что он один, снова погрузился в молчаливую задумчивость.

Вдруг он вскричал:

— Капитан наверно изменил мне! Люди!.. Люди похожи на кусок льда, который араб принял за брильянт. Он тщательно спрятал его в свою котомку и когда хотел вынуть, то не нашел даже капли воды...

— Я не из тех людей, — промолвил молодой человек.

Шумахер быстро вскочил.

— Кто здесь? Кто подслушивал меня? Какой-нибудь презренный шпион Гульденлью?..

— Граф, не злословьте вице-короля.

— Граф! Если из лести вы так титулуете меня, ваши старание бесплодны. Я в опале.

— Тот, кто говорит с вами, не знал вас во время вашего могущества, но тем не менее он ваш искренний друг.

— И все же, чего-нибудь хочет добиться от меня: память, которую хранят к несчастным, всегда измеряется видами, которые питают на них в будущем.

— Вы несправедливы ко мне, благородный граф. Я вспомнил о вас, вы же меня забыли. Я — Орденер.

Мрачные взоры старика сверкнули радостным огнем. Невольная улыбка, подобная лучу, рассекающему тучи, оживила его лицо, обрамленное седой бородой.

— Орденер! Добро пожаловать, скиталец Орденер! Тысячу крат благословен путник, вспомнивший узника!

— Однако, вы забыли меня? — спросил Орденер.

— Я забыл вас, — повторил Шумахер мрачным тоном, — как забывают ветерок, который, пролетая мимо, освежил нас своим дуновением. Счастливы мы, что он не превратился в ураган и не уничтожил нас.

— Граф Гриффенфельд, — возразил молодой человек, — разве вы не рассчитывали на мое возвращение?

— Старый Шумахер ни на что не рассчитывает. Но тут есть молодая девушка, которая еще сегодня заметила мне, что 8-го мая минул год с тех пор, как вы уехали.

Орденер вздрогнул.

— Как, великий Боже! Неужели ваша Этель, благородный граф!

— А то кто же?

— Ваша дочь, граф, удостоила считать месяцы со времени моего отъезда! О! Сколько печальных дней провел я с тех пор! Я объездил всю Норвегию, от Христиании вплоть до Вардхуза, но путь мой всегда направлен был к Дронтгейму.

— Пользуйтесь вашей свободой, молодой человек, пока есть возможность. Но скажите мне наконец, кто вы? Мне хотелось бы знать вас, Орденер, под другим именем. Сын одного из моих смертельных врагов носит это имя.

— Быть может, граф, этот смертельный враг более доброжелателен к вам, чем вы к нему.

— Вы не отвечаете на вопрос. Но храните вашу тайну; может быть я узнаю со временем, что плод, утоляющий мою жажду, — яд, который меня убьет.

— Граф! — вскричал Орденер раздражительно. — Граф! — повторил он тоном мольбы и укора.

— Могу ли довериться вам, — возразил Шумахер, — когда вы постоянно держите сторону этого неумолимого Гульденлью?..

— Вице-король, — серьезно перебил молодой человек, — только что отдал приказание, чтобы впредь вы пользовались безусловной свободой внутри башни Шлезвигского Льва. Эту новость узнал я в Бергене и без сомнение вы немедленно получите ее здесь.

— Вот милость, на которую я не смел рассчитывать, о которой ни с кем бы не решился говорить кроме вас. Впрочем, тяжесть моих оков уменьшают по мере того, как возрастают мои лета, и когда старческая дряхлость превратит меня в развалину, мне скажут тогда: «Ты свободен».

Говоря это, старик горько усмехнулся и продолжал:

— А вы, молодой человек, сохранили ли вы ваши безумные мечты о независимости?

— В противном случае, я не был бы здесь.

— Каким образом прибыли вы в Дронтгейм?

— Очень просто! На лошади.

— А в Мункгольм?

— На лодке.

— Бедный безумец! Бредит о свободе и меняет лошадь на лодку. Свою волю приводит он в исполнение не своими членами, а при посредстве животного или вещи; а между тем кичится своей свободой!

— Я заставляю существа повиноваться мне.

— Позволять себе властвовать над известными существами — значит давать другим право властвовать над собой. Независимость мыслима лишь в уединении.

— Вы не любите людей, достойный граф?

Старик печально рассмеялся.

— Я плачу о том, что я человек, я смеюсь над теми, кто утешает меня. Если вы еще не знаете, то убедитесь впоследствии, что несчастие делает человека недоверчивым, подобно тому, как удачи делают неблагодарным. Послушайте, вы прибыли из Бергена, скажите мне какой благоприятный ветер подул на капитана Диспольсена. Должно быть счастие улыбнулось ему, если он забыл меня.

Орденер пришел в мрачное смущение.

— Диспольсен, граф? Я нарочно прибыл сюда поговорить с вами о нем. Зная, что он пользуется вашей доверенностью...

— Моей доверенностью? — с беспокойством прервал узник. — Вы ошибаетесь. Никто в мире не пользуется моей доверенностью. Правда, в руках Диспольсена находятся мои бумаги, бумаги чрезвычайно важные. По моей просьбе он отправился к королю в Копенгаген, и даже я должен признаться, что рассчитывал на него более, чем на кого-либо другого, так как во время моего могущества я не оказал ему ни малейшей услуги.

— Да, благородный граф, я его видел сегодня...

— Ваше смущение подсказывает мне остальное; он изменил.

— Он умер.

— Умер!

Узник скрестил свои руки, голова его упала на грудь. Затем, устремив взор на молодого человека, он тихо произнес.

— Не говорил ли я вам, что счастие улыбнулось ему!..

Обратившись к стене, на которой висели знаки его низвергнутого величие, он махнул рукой, как бы для того, чтобы удалить свидетелей горя, которое он пытался побороть.

— Не о нем скорблю я: одним человеком меньше или больше, не все ли равно; и не о себе: чего мне терять? Но дочь моя, моя злополучная дочь!.. Я буду жертвой этого гнусного заговора, а тогда что станется с дочерью, у которой отнимут отца?..

Он c живостью обернулся к Орденеру.

— Каким образом он умер? Где вы его видели?

— Я видел его в Спладгесте, но неизвестно, сам ли он покончил с собою или был убит.

— А это чрезвычайно важно узнать. Если он был убит, я знаю откуда направлен был удар, и тогда все пропало. Диспольсен вез мне доказательства заговора, затеянного против меня; эти доказательства могли спасти меня и погубить моих врагов... Они сумели их уничтожить!.. Несчастная Этель!..

— Граф, — сказал Орденер, — завтра я скажу вам, каким образом он умер.

Не ответив ни слова, Шумахер проводил выходившего из комнаты Орденера взором, выражавшим такое спокойствие отчаяние, которое ужаснее спокойствие смерти.

Очутившись за дверью комнаты узника, Орденер не знал в какую сторону ему направиться. Ночь наступила, и в башне царила темнота.

Отворив на удачу первую попавшуюся дверь, он вошел в длинный коридор, освещенный лишь луной, по которой быстро пробегали бледные облака. Ее печальный свет падал по временам на узкие высокие окна, рисуя на противоположной стене как бы длинную процессию призраков, которые разом являлись и исчезали в глубине галереи.

Молодой человек медленно перекрестился и направился на красноватый свет, слабо мерцавший в конце коридора.

Дверь была полуоткрыта. Молодая девушка, коленопреклоненная перед простым алтарем в готической молельне, читала вполголоса молитвы Святой Деве, молитвы простодушные, но возвышенные, в которых душа, возносясь к Матери всех скорбящих, просила только ее заступничества.

Молодая девушка одета была в черный креп и белый газ, как бы желая показать, что дни ее до сих пор протекали в горестях и невинности. Несмотря на ее скромный костюм, на всем существе ее лежал отпечаток натуры исключительной. Ее глаза и длинные волосы были черны как смоль — красота редкая на Севере; ее взоры, блуждавшие по сводам часовни, казалось, скорее были воспламенены экстазом, чем потушены сосредоточенностью в самой себе. Словом, это была дева с берегов Кипра или полей тибурских, облеченная в фантастические покровы Оссиана и распростершаяся пред деревянным крестом и каменным алтарем Спасителя.

Узнав молящуюся, Ореденер вздрогнул и чуть не лишился чувств.

Она молилась за своего отца; молилась за низвергнутого властелина, за старца узника и покинутого всеми, и громко прочла псалом освобождения.

Она молилась и за другого; но Орденер не слыхал имени того, за кого она молилась, не слыхал, так как она не произнесла этого имени; она прочла только гимн Суламиты, супруги, ожидающей супруга и возвращение возлюбленного.

Орденер отошел от двери. Он благоговел перед этой девственницей, мысли которой летели к нему; молитва — таинство великое, и сердце его невольно переполнилось неведомым, хотя и мирским восхищением.

Дверь молельни тихо отворилась и на пороге появилась женщина, белая в окружающей ее темноте. Орденер замер на месте, страшное волнение охватило все его существо. От слабости он прислонился к стене, все члены его дрожали и биение его сердца раздавалось в его ушах.

Проходя мимо, молодая девушка услышала шорох плаща и тяжелое, прерывистое дыхание.

— Боже!.. — вскричала она.

Орденер кинулся к ней; одною рукою поддержав молодую девушку, он другою тщетно пытался удержать ночник, который выскользнул у нее из рук и потух.

— Это я, — нежно шепнул он.

— Орденер! — вскричала молодая девушка, когда звук голоса, которого она не слыхала целый год, коснулся ее слуха.

Луна, выглянувшая из-за облаков, осветила радостное лицо прекрасной девушки. Робко и застенчиво освободившись из рук молодого человека, она сказала:

— Это господин Орденер?

— Это он, графиня Этель...

— Зачем вы называете меня графиней?

— Зачем вы зовете меня господин?

Молодая девушка замолчала и улыбнулась; молодой человек замолчал и вздохнул.

Этель первая прервала молчание:

— Каким образом очутились вы здесь?

— Простите, если мое присутствие огорчает вас. Мне необходимо было переговорить с графом, вашим отцом.

— И так, — сказала Этель взволнованным тоном, — вы приехали сюда только для батюшки?

Орденер потупил голову: этот вопрос показался ему слишком жестоким.

— Без сомнение, вы уже давно находитесь в Дронтгейме, — продолжала молодая девушка укоризненным тоном, — ваше отсутствие из этого замка не казалось для вас продолжительным.

Орденер, уязвленный до глубины души, не отвечал ни слова.

— Я одобряю вас, — продолжала узница голосом, дрожавшим от гнева и печали, — но, — добавила она несколько надменно, — надеюсь, что вы не слыхали моих молитв.

— Графиня, — отвечал наконец молодой человек, — я их слышал.

— Ах, господин Орденер, нехорошо подслушивать таким образом.

— Я вас не подслушивал, благородная графиня, — тихо возразил Орденер, — я вас слышал.

— Я молилась за отца, — продолжала молодая девушка, не спуская с него пристального взора и как бы ожидая ответа на эти простые слова.

Орденер хранил молчание.

— Я также молилась, — продолжала она, с беспокойством следя, какое действие производят на него ее слова, — я также молилась за человека, носящего ваше имя, за сына вице-короля, графа Гульденлью. Надо молиться за всех, даже за врагов наших.

Этель покраснела, чувствуя, что сказала ложь; но она была раздражена против молодого человека и думала, что назвала его в своих молитвах, тогда как назвала его лишь в своем сердце.

— Орденер Гульденлью очень несчастлив, благородная графиня, если вы считаете его в числе ваших врагов; но в то же время он слишком счастлив, занимая место в ваших молитвах.

— О! Нет, — сказала Этель, смущенная и испуганная холодностью молодого человека, — нет, я не молилась за него... Я не знаю, что я делала, что я делаю. Я ненавижу сына вице-короля, я его не знаю. Не смотрите на меня так сурово: разве я вас оскорбила? Неужели вы не можете простить бедной узнице, вы, который проводит жизнь подле какой-нибудь прекрасной благородной женщины, такой же свободной и счастливой как и вы!..

— Я, графиня!.. — вскричал Орденер.

Этель залилась слезами; молодой человек кинулся к ее ногам.

— Разве вы не говорили мне, — продолжала она, улыбаясь сквозь слезы, — что ваше отсутствие не казалось вам продолжительным?

— Кто? Я, графиня?

— Не называйте меня таким образом, — тихо сказала она, — теперь я ни для кого уже не графиня, и тем более для вас...

Орденер с живостью поднялся на ноги и не мог удержаться, чтобы в страстном порыве не прижать к своей груди молодую девушку.

— О! Моя обожаемая Этель, называй меня твоим Орденером!.. — вскричал он, останавливая свой пламенный взор на заплаканных глазах Этели. — Скажи, ты любишь меня?..

Ответа молодой девушки не было слышно, так как Орденер, вне себя от восторга, сорвал с ее губ вместе с ответом эту первую ласку, этот священный поцелуй, которого пред лицем Всевышнего достаточно для того, чтобы соединить на веки два любящие существа.

Оба остались безмолвны, находясь в одном из тех торжественных моментов, столь редких и столь кратких на земле, когда душа как бы вкушает нечто из небесного блаженства. В эти неизъяснимые мгновение две души беседуют между собою на языке, понятном только для них одних; тогда все человеческое молчит, и два невещественные существа таинственным образом соединяются на всю жизнь в этом мире и на веки в будущем.

Этель медленно освободилась из объятий Орденера и освещенные бледным светом луны, они в упоении смотрели друг на друга. Пламенный взор молодого человека сверкал мужественной гордостью и храбростью льва, между тем как полуоткрытый взор молодой девушки исполнен был тем смущением, той ангельской стыдливостью, которая в сердце девственницы нераздельна с восторгами первой любви.

— Сейчас, в этом коридоре, — произнесла, наконец, Этель, — вы избегали меня, мой Орденер?

— Я не избегал вас, я подобен был тому несчастному слепцу, который, когда после долгих лет возвратилось к нему зрение, на минуту отворачивается от дневного света.

— Ваше сравнение более подходит ко мне, потому что во время вашего отсутствие мое единственное утешение заключалось в моем несчастном отце. Эти долгие дни провела я, утешая его, и, — прибавила она, потупив глаза, — надеясь на вас. Я читала моему отцу сказание Эдды, а когда он разочаровывался в людях, я читала ему Евангелие, чтобы, по крайней мере, он не терял веры в небо; затем я говорила ему о вас, и он молчал — доказательство его любви к вам. Но когда я по целым вечерам бесплодно просиживала у окна, смотря на дорогу, по которой проезжали путешественники, и на гавань, куда приплывали корабли, с горькой улыбкой качал он головой и я плакала. Темница, где до сих пор я провожу мои дни, стала мне ненавистной, несмотря на то, что со мной был отец, который до вашего появление составлял для меня все. Но вас не было и я страстно жаждала неведомой для меня свободы.

В глазах молодой девушки, в ее простодушной нежности и милом запинании ее речи дышала прелесть, невыразимая человеческими словами. Орденер слушал ее с мечтательным наслаждением существа, перенесенного из мира реального в мир идеальный.

— А я, — сказал он, — теперь я не хочу той свободы, которую вы не можете разделять со мной.

— Как, Орденер! — с живостью спросила Этель. — Вы не оставите нас более?

Этот вопрос напомнил молодому человеку действительность.

— Милая Этель, я должен оставить вас сегодня же. Завтра я снова увижусь с вами и завтра же снова покину для того чтобы возвратившись, не покидать вас более.

— О! — вскричала с тоской молодая девушка. — Новая разлука!..

— Повторяю вам, моя ненаглядная Этель, что я скоро возвращусь, чтобы вывести вас из этой тюрьмы или похоронить в ней себя вместе с вами.

— В тюрьме вместе с ним! — прошептала она. — О, не обманывайте меня. Могу ли я надеяться на такое блаженство?

— Каких клятв нужно тебе? Чего ты от меня хочешь? — вскричал Орденер. — Скажи мне, Этель, разве ты не жена моя?...

В увлечении страсти он крепко прижал ее к своей груди.

— Твоя, — слабо прошептала она.

Два благородных, чистых сердца отрадно бились друг против друга, делаясь еще благороднее, еще чище.

В эту минуту грубый взрыв хохота раздался позади их. Человек, закутанный в плащ, открыл потайной фонарь, который держал под полой, и вдруг осветил фигуру испуганной и смущенной Этели и надменно изумленное лицо Орденера.

— Смелей, смелей, прекрасная парочка! Но мне кажется, что слишком мало проблуждав в стране Нежности и не проследовав по всем изгибам ручья Чувств, вы чересчур кратким путем достигли хижины Поцелуя.

Читатели, без сомнение, узнали уже поручика, страстного поклонника мадмуазель Скюдери. Оторванный от чтение «Клелии» боем часов полночи, которых не слыхали наши влюбленные, он отправился сделать ночной обход башни.

Проходя в глубине восточного коридора, он услышал звук голосов и приметил два призрака, двигавшиеся в галерее на лунном свете. По природе смелый и любопытный, он спрятал под плащом свой фонарь, неслышными шагами приблизился к привидениям и своим грубым хохотом потревожил их сладостное упоение.

В первую минуту Этель хотела было бежать от Орденера, но затем, вернувшись к нему и как бы инстинктивно ища защиты, спрятала свое вспыхнувшее личико на груди молодого человека.

Орденер с величием короля поднял голову и сказал:

— Горе тому, кто осмелится потревожить и опечалить мою Этель!

— Вот именно, — сказал поручик, — горе мне, если я имел неловкость испугать нежную Маидану.

— Господин поручик, — сказал Орденер надменным тоном, — я советую вам молчать.

— Господин наглец, — отвечал офицер, — я советую вам молчать.

— Послушайте! — вскричал Орденер громовым голосом, — понимаете ли вы, что только молчанием вы можете заслужить себе прощение.

— Тibi tuа[[5]](#footnote-5), — отвечал поручик, — возьмите назад свои советы и сами молчанием заслужите мое прощение.

— Молчать! — вскричал Орденер голосом, от которого дрогнули оконные стекла и, опустив трепещущую молодую девушку в одно из старых кресел коридора, он крепко схватил руку офицера.

— О, мужик! — сказал поручик и насмешливо, и раздражительно. — Вы не примечаете, что рукава, которые вы так безбожно мнете, из самого дорогого авиньонского бархата.

Орденер пристально взглянул на него.

— Поручик, мое терпение гораздо короче моей шпаги.

— Понимаю, мой храбрый молодчик, — сказал офицер, иронически улыбаясь, — вам хотелось бы, чтобы я оказал вам эту честь. Но знаете ли кто я? Нет, нет, как хотите, князь против князя, пастух против пастуха, как говорил прекрасный Леандр.

— И если сказать трус против труса! — возразил Орденер. — То я все же не имел бы чести померяться с вами.

— Я рассердился бы, мой уважаемый пастушек, если бы только вы носили мундир.

— У меня нет ни галунов, ни эксельбантов, поручик, но за то у меня есть сабля.

Молодой человек, гордо откинув плащ за плечо, надел шляпу на голову и схватился за эфес своей сабли; но Этель, испуганная грозной опасностью, бросилась к нему на шею с криком ужаса и мольбы.

— Вы поступаете благоразумно, прекрасная девица, не желая, чтобы я проучил этого молодчика за его дерзость, — промолвил поручик, который бесстрашно принял оборонительную позу при угрожающем движении Орденера, — так, как Кир, поссорясь с Камбизом, хотя, быть может, я делаю слишком большую честь этому вассалу, сравнивая его с Камбизом.

— Ради самого неба, господин Орденер, — шептала Этель, — не делайте меня причиной подобного несчастия?.. Орденер, — прибавила она, подняв на него свои прекрасные глаза, — умоляю тебя!..

Орденер медленно вложил в ножны полуобнаженную саблю.

— Клянусь честью, рыцарь, — вскричал поручик, — я не знаю, имеете ли вы право на это звание, но даю вам этот титул, так как мне кажется, что вы его заслуживаете, — клянусь честью, мы поступаем согласно законам храбрости, но не рыцарства. Молодая девица права, поединок, который чуть было не завязался у нас, не должен происходить в присутствии дам, хотя не во гнев будь сказано прелестной девице, дамы могут быть причиной его. Теперь мы можем только условиться относительно duellum remotum[[6]](#footnote-6) и, как обиженный, вы имеете право назначить время, место и оружие. Мой острый толедский клинок или меридский кинжал к услугам вашей тяпки, вышедшей из кузниц Ашкрота, или охотничьего ножа, закаленного в озере Спарбо.

Отсроченный поединок, который офицер предложил Орденеру, пользуется правом гражданства на Севере, откуда, по мнению ученых, ведет свое начало обычай дуэли. Самые знатные вельможи предлагали и принимали duellum remotum. Поединок откладывался на несколько месяцев, иногда даже на несколько лет и в продолжение этого промежутка времени противники обязаны были ни словом, ни действием не касаться того, что послужило поводом к вызову.

Таким образом, например, в любовной интриге, соперники не имели права видеться с предметом их страсти, в виду того, чтобы обстоятельства дела оставались в одном и том же положении, — и в этом отношении полагались на рыцарскую честность. То же самое происходило и на древних турнирах, когда судьи поединка, считая закон рыцарства нарушенным, бросали жезл на арену, в ту же минуту сражающиеся останавливались, но, вплоть до разъяснение недоразумений, шпага победителя ни на волос не отделялась от шеи побежденного.

— Итак, рыцарь, — промолвил Орденер, после минутного раздумья, — мой секундант уведомит вас о месте.

— Прекрасно, — отвечал поручик, — тем более, что я до тех пор успею побывать на бракосочетании моей сестры и таким образом вы будете иметь честь драться с шурином благородного вельможи, сына вице-короля Норвегии, барона Орденера Гульденлью, который, по случаю этого блестящего союза, как говорит Артамена, получит титул графа Данескиольда, чин полковника и орден Слона; я же, как сын великого канцлера обоих королевств, без сомнение, буду произведен в капитаны.

— Хорошо, хорошо, поручик Алефельд, — терпеливо перебил Орденер, — но вы еще не капитан, сын вице-короля не полковник... а сабля всегда останется саблей.

— А мужик всегда мужиком, как бы вы его ни шлифовали, — пробормотал сквозь зубы офицер.

— Рыцарь, — произнес Орденер, — вам должны быть известны законы рыцарства. Вы не войдете более в эту башню и сохраните строжайшее молчание относительно сегодняшнего происшествия.

— Относительно молчание, вы можете положиться на меня, я буду нем, как Муций Сцевола, когда держал в огне свою руку. В башню тоже не будут ходить, ни я, ни один из аргусов гарнизона, так как я только-что получил приказание оставить впредь Шумахера без надзора, приказание, которое я обязан был сообщить ему сегодня же вечером, но не успел, провозившись с новыми краковскими сапожками... Приказание, сказать между нами, довольно неблагоразумное... Хотите вы посмотреть мои сапожки?

Во время этого разговора Этель, убедившись, что противники успокоились, и не понимая, что значит duellum remotum, исчезла, тихо шепнув на ухо Орденеру:

— До завтра.

— Я бы попросил вас, поручик Алефельд, чтобы вы помогли мне выйти из крепости.

— Охотно, — отвечал офицер, — хотя уже довольно поздно, или лучше сказать очень рано. Но каким образом раздобудете вы лодку?

— Это уж моя забота, — возразил Орденер.

Дружески разговаривая, они прошли сад, дворы круглый и квадратный, и Орденер, сопровождаемый дежурным офицером, нигде не был задержан. Миновав большую опускную решетку, артиллерийский парк, плац-парад, они достигли низкой башни, железная дверь которой была открыта по приказанию поручика.

— До свидания, поручик Алефельд, — сказал Орденер.

— До свидания, — отвечал офицер, — объявляю вас храбрым бойцом, хотя не знаю, кто вы и будут ли достойны титула секунданта те, которых вы приведете на место нашего поединка.

Разменявшись рукопожатием, они расстались. Железная дверь затворилась и поручик, напевая арию Люлли, возвратился в свою комнату восхищаться польскими сапогами и французским романом.

Орденер, оставшись один на пороге двери, скинул с себя одежду, завернул ее в свой плащ и привязал к голове сабельной портупеей. Затем, применяя на практике идеи Шумахера о независимости, он кинулся в холодные, спокойные воды залива и поплыл в темноте к берегу, направляясь в сторону Спладгеста, почти уверенный, что мертвый или живой он достигнет места своего назначения.

Дневные усталости до такой степени изнурили его, что лишь с большим трудом успел он выбраться на берег. Одевшись наскоро, он направился к Спладгесту, черная масса которого обрисовалась на портовой площади. Луны, закрытой облаками, не было видно.

Приблизившись к зданию, он услыхал как бы звук голосов; слабый свет выходил из верхнего отверстия. Изумленный, он сильно постучал в четырехугольную дверь, шум прекратился, свет исчез. Он снова постучался: свет вновь появился, позволив ему приметить что-то черное, проскользнувшее через верхнее отверстие и притаившееся на плоской крыше строения. Орденер, ударив в третий раз рукоятью сабли, закричал:

— Именем его величества короля, отворите! Именем его светлости вице-короля, отворите!

Дверь наконец медленно отворилась и Орденер очутился лицом к лицу с длинной, бледной и сухощавой фигурой Спиагудри. Одежда его была в беспорядке, глаза блуждали, волоса стояли дыбом. В окровавленных руках держал он надгробный светильник, пламя которого дрожало гораздо менее приметно, чем громадное тело Спиагудри.

### VI

Час спустя после ухода молодого путешественника из Спладгеста, сумерки сгустились и толпа зрителей мало-помалу разошлась. Оглипиглап запер лицевую дверь мрачного здание, а Спиагудри в последний раз окатил водой трупы, лежавшие на черных плитах.

Затем оба разошлись по своим неприхотливым каморкам и между тем как Оглипиглап заснул на своем жестком ложе, подобно трупам, вверенным его надзору, почтенный Спиагудри, усевшись за каменным столом, заваленным древними книгами, высушенными растениями и очищенными от мяса костями, углубился в свои ученые занятие, в сущности весьма невинного свойства, но которые составили ему в народе репутацию волшебника и чародея — жалкий удел науки в эту эпоху!

В течение нескольких часов он оставался погруженным в глубокомысленные размышление и прежде чем променять на постель свои книги, остановился на следующем мрачном афоризме Ториодуса Торфеуса:

«Когда человек зажигает светильник, смерть может настичь его раньше, чем он успеет его потушить...»

— Не во гнев будь сказано ученому доктору, — прошептал Спиагудри, — этого не случится сегодня с мною.

Он взял ночник, намереваясь его потушить.

— Спиагудри! — закричал чей-то голос, выходивший из мертвецкой.

Старый смотритель Спладгеста вздрогнул всем телом, однако не от мысли, которая пришла бы в голову быть может всякому другому на его месте, что печальные гости Спладгеста взбунтовались против своего хозяина. Он был довольно учен, чтобы не пугать себя такими воображаемыми ужасами. Его страх был не безоснователен, так как он отлично знал голос, назвавший его по имени.

— Спиагудри! — снова послышался неистовый голос. — Неужели, чтобы вернуть тебе слух, я должен прийти оторвать уши?

— Да хранит святой Госпиций не мою душу, но тело! — пробормотал в страхе старик.

Неверным, колеблющимся шагом направился он ко второй боковой двери, которую поспешил открыть. Читатели не забыли, что эта дверь вела в мертвецкую.

Ночник, находившийся у него в руках, осветил своеобразную, отвратительную картину. С одной стороны худощавая, длинная, слегка сгорбленная фигура Спиагудри; с другой — малорослый субъект, плотный и коренастый, одетый с ног до головы шкурами всевозможных зверей, еще покрытых пятнами подсохшей крови.

Он стоял у ног трупа Жилля Стадта, занимавшего вместе с молодой девушкой и капитаном глубину сцены. Эти три последние свидетеля, скрываясь в полутемноте, одни могли без содрогание ужаса смотреть на два живые существа, начавшие разговор.

Черты лица малорослого человека, которого свет ночника заставил быстро обернуться, были запечатлены какой-то особенной дикостью. Его борода была густая, рыжая; такого же цвета волосы стояли щетиной над его лбом, покрытым шапкой из лосиной кожи. Рот широкий, губы толстые, зубы белые, острые, редкие, нос загнутый, подобно орлиному клюву; серо-синие глаза, чрезвычайно подвижные, искоса смотрели на Спиагудри и свирепость тигра, сверкавшая в них, умерялась лишь злостью обезьяны.

Это необыкновенное существо было вооружено широкой саблей, кинжалом без ножен и опиралось на длинную рукоятку топора с каменным лезвием; на руках его были огромные перчатки из шкуры синей лисицы.

— Это старое привидение порядком заставило меня ждать, — пробормотал он, как бы говоря сам с собою, и подобно лесному зверю испустил дикий рев.

Спиагудри побледнел бы от ужаса, если бы только мог бледнеть.

— Знаешь ли ты, — продолжал малорослый человек, обращаясь непосредственно к нему, — что я пришел сюда с Урхтальских берегов? Может быть ты хотел, заставляя меня ждать, переменить свое соломенное ложе на одно из этих каменных?

Спиагудри дрожал как в пароксизме лихорадки; последние два зуба, которые у него оставались, сильно застучали один о другой.

— Простите, повелитель мой, — прошептал он, изгибая свое длинное туловище дугой к ногам малорослого незнакомца, — я крепко спал...

— Ты должно быть хочешь, чтобы я познакомил тебя с сном еще более крепким.

Лицо Спиагудри изобразило гримасу ужаса, которая одна была смешнее его веселых гримас.

— Это что такое? — продолжал малорослый человек. — Что с тобою творится? Может быть тебе не нравится мое посещение?

— О! Повелитель и государь мой, — простонал старик, — что может быть приятнее для меня лицезрение вашего превосходительства?

Усилие, с каким он пытался придать своей испуганной физиономии радостное выражение, рассмешило бы даже мертвеца.

— Старая бесхвостая лисица, мое превосходительство приказывает тебе принести сюда одежду Жилля Стадта.

При этом имени на свирепом, насмешливом лице малорослого незнакомца появилось выражение мрачной тоски.

— О! Повелитель мой, простите меня, но это невозможно, — отвечал Спиагудри. — Вашей светлости известно, что мы обязаны доставлять в королевскую казну пожитки умерших рудокопов, так как король наследует им в качестве опекуна.

Малорослый человек обернулся к трупу, скрестил руки на груди и произнес глухим голосом:

— Он прав. Эти несчастные рудокопы похожи на гагу[[7]](#footnote-7). Им делают гнезда, чтобы потом воспользоваться их пухом.

Подняв на руки труп и сильно прижав его к своей груди, он испустил дикий крик любви и горести, подобный ворчанию медведя, ласкающего своего детеныша. К этим бессвязным звукам примешивались иногда слова на каком-то наречии, непонятном для Спиагудри.

Снова опустив труп на гранитную плиту, он обратился к смотрителю Спладгеста:

— Известно тебе, проклятый колдун, имя солдата, родившегося под злосчастной звездою и которого эта женщина имела несчастие предпочесть Жиллю?

С этими словами он толкнул холодные останки Гут Стерсен.

Спиагудри отрицательно покачал головой.

— Ну, клянусь топором Ингольфа, родоначальника моего поколение, я сотру с лица земли всех, носящих этот мундир, — вскричал он, указывая на одежду офицера. — Тот, кому я хочу отомстить, попадется в числе их. Я сожгу целый лес, чтобы уничтожить растущий в нем ядовитый кустарник. В этом поклялся я в день смерти Жилля и уже доставил ему товарища, который должен развеселить его труп... О, Жилль! Ты лежишь теперь здесь бессильный, бездыханный, когда так недавно ты настигал тюленя вплавь, серну на бегу, задушил в борьбе медведя Кольских гор. Ты теперь недвижим, между тем как в один день пробегал Дронтгеймский округ, от Оркеля до Смиазенского озера, взбирался на вершины Дофрфильда подобно белке, карабкающейся на дуб. Ты теперь нем, Жилль, а давно ли своим пением заглушал раскаты грома, стоя на бурных утесах Конгсберга. О, Жилль! Напрасно засыпал я для тебя шахты Фарёрские, напрасно поджог Дронтгеймский собор. Все старание мои пошли прахом, мне не суждено было видеть в тебе продолжение поколение детей Исландии, потомства Ингольфа Истребителя. Ты не наследуешь моего каменного топора, напротив, ты завещал мне свой череп, чтобы отныне я пил из него морскую воду и человеческую кровь.

С этими словами, схватив голову трупа, он закричал:

— Спиагудри, помоги мне!

Сбросив перчатки, он обнажил свои широкие руки, вооруженные длинными ногтями, крепкими и загнутыми, как у красного зверя.

Спиагудри, увидев, что он уже готов был сорвать саблей череп трупа, вскричал с ужасом, которого не мог подавить:

— Праведный Боже! Повелитель мой!.. Мертвого!..

— Что же, — спокойно возразил малорослый незнакомец, — ты предпочитаешь, чтобы этот клинок вонзился в живого?

— О! Дозвольте мне умолять ваши рыцарские чувства... Разве может ваша честь решиться на такое святотатство?.. Ваше превосходительство... Государь мой, ваша светлость не захочет...

— Скоро ли ты кончишь? Разве нужны мне эти титулы, живой скелет, чтобы убедиться в твоем глубоком уважении к моей сабле.

— Именем святого Вальдемара, святого Усуфа, святого Госпиция, заклинаю вас, пощадите мертвеца!..

— Помоги мне и не толкуй дьяволу про святых.

— Государь мой, — продолжал Спиагудри умоляющим тоном, — ради вашего знаменитого предка, святого Ингольфа!..

— Ингольф Истребитель был такой же отверженный, как и я.

— Заклинаю вас небом, — простонал старик, падая перед ним ниц, — не навлекайте на себя его гнева.

Малорослый незнакомец вышел из терпения. Его тусклые серые глаза горели как два раскаленных угля.

— Помоги мне! — повторил он, взмахнув саблей.

Эти два слова сказаны были таким голосом, каким произнес бы их лев, если бы мог говорить.

Смотритель Спладгеста, дрожащий и полумертвый от ужаса, опустился на черную плиту и поддерживал руками холодную и влажную голову Жилля, в то время, как малорослый человек с изумительным проворством снимал череп с помощью кинжала и сабли.

Когда эта операция была кончена, несколько времени рассматривал он окровавленный череп, произнося странные слова. Затем он вручил его Спиагудри, приказав вымыть и вычистить, и с стоном, похожим на вой, сказал:

— А я, умирая, я не найду утешение в мысли, что наследник духа Ингольфа будет пить человеческую кровь и морскую воду из моего черепа.

После минутного мрачного размышление он продолжал:

— Ураган следует за ураганом, лавина влечет за собою лавину, а я, я буду последним в роде. Зачем Жилль, подобно мне, не возненавидел все, что только носит человеческий облик. Какой демон, враждебный демону Ингольфа, толкнул его в эти роковые шахты за крупинкой золота?

Спиагудри, возвращая ему череп Жилля, осмелился вставить свое замечание:

— Ваше превосходительство правы: по словам Снорро Стурлесона, золото часто покупается слишком дорогою ценой.

— Ты напомнил мне, — сказал малорослый незнакомец, — поручение, которое я должен возложить на тебя. Вот железная шкатулка, которую я нашел у этого офицера, так что ты видишь, что тебе достались не все его пожитки. Шкатулка так крепко заперта, что, должно быть, заключает в себе золото — единственная ценная вещь в глазах людей. Отнеси ее вдове Стадт в деревушку Токтре, как плату за сына.

С этими словами он вынул из своей кожаной котомки маленький железный ящик. Спиагудри взял его и поклонился.

— Выполни в точности мое приказание, — сказал малорослый человек, пронизывая его пристальным взглядом. — Подумай, что ничто не в силах воспрепятствовать свиданию двух демонов. На мой взгляд, ты более подл, чем жаден. Ты отвечаешь мне за этот ящик...

— О, повелитель, моей душой...

— О, нет! Твоими костями и мясом.

В эту минуту в лицевую дверь Спладгеста раздался сильный удар.

Малорослый незнакомец удивился, Спиагудри зашатался и закрыл рукою ночник.

— Что это значит? — заворчал малорослый человек. — А ты, презренный, как задрожишь ты, услышав трубный глас страшного суда?

Послышался второй более сильный удар.

— Это какой-нибудь мертвец торопится войти, — заметил собеседник Спиагудри.

— Нет, повелитель, — пробормотал смотритель Спладгеста, — после полуночи сюда не приносят покойников.

— Мертвый это или живой, а он меня прогоняет. Спиагудри, будь верен и нем. Клянусь тебе духом Ингольфа и черепом Жилля, ты увидишь на смотру в своей гостинице трупов весь Мункгольмский полк.

Малорослый незнакомец, привязав к поясу череп Жилля и надев перчатки, с легкостью серны прыгнул с плеч Спиагудри в верхнее отверстие и исчез.

Третий удар в дверь потряс до основание здание Спладгеста. Голос извне приказывал отворить именем короля и вице-короля. Старый смотритель, волнуемый в одно и то же время двумя различными страхами, из которых один может назваться страхом воспоминание, а другой — страхом надежды, направился к четырехугольной двери и поспешил ее открыть.

### VII

Оставив Поэля, дронтгеймский губернатор возвратился в свой кабинет и опустился в широкое кресло. Чтобы рассеять свою озабоченность, он приказал одному из секретарей доложить ему о прошениях, поступивших на его имя.

Секретарь, поклонившись, начал:

«1. Преподобный доктор Англивиус просит определить его на место преподобного доктора Фокстиппа, директора епископальной библиотеки, за неспособностью последнего. Просителю неизвестно, кто бы другой мог заместить упомянутого неспособного доктора; он же, доктор Англивиус, надо заметить, уже с давних пор исправлял должность библиотек...»

— Направьте этого чудака к епископу, — перебил генерал.

«2. Пастор Атанас Мундер, тюремный духовник, просит о помиловании двенадцати раскаявшихся осужденных, по случаю именитой свадьбы его высочества Орденера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, сына вице-короля, с благородной Ульрикой Алефельд, дочерью его сиятельства великого канцлера обоих королевств».

— Отложите, — заметил генерал. — Мне жаль этих осужденных.

«3. Фауст-Пруденс Дестромбидес, подданный норвежский, поэт латинский, просит соизволение написать свадебную оду в честь благородных супругов».

— А! а! Этот поэт должно быть очень стар, потому что еще в 1674 году готовил оду в честь союза, предполагавшегося, но не состоявшегося между Шумахером, тогда графом Грифенфельдом, и принцессой Луизой-Шарлотой Гольштейн-Аугустенбургской... Боюсь, — пробормотал губернатор сквозь зубы, — чтобы Фауст-Пруденс не оказался поэтом расторгнутых браков... Отложите и продолжайте. Надо справиться, не найдется ли для этого поэта свободной кровати в дронтгеймском госпитале.

«4. Рудокопы Гульдбрансгаля, островов Фа-Рёрских, Сунд-Мёра, Губфалло, Рёрааса и Конгсберга просят освободить их от королевской опеки».

— Эти рудокопы самый беспокойный народ. Говорят, что они начинают роптать, не получая скорого ответа на их прошение. Надо подвергнуть его зрелому обсуждению.

«5. Брааль, рыбак, заявляет в силу Одельсрехта[[8]](#footnote-8) о непреклонном намерении выкупить свое родовое имение.

6. Синдики Нёса, Лёвига, Индаля, Сконгена, Стода, Спарбо и других городов и деревень Дронтгеймского северного округа просят, чтобы назначена была премия за голову разбойника, убийцы и поджигателя Гана, родом, как говорят, из Клипстадуры в Исландии.

Протестует против этой просьбы Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа, предъявляя свои права на Гана. Поддерживает эту просьбу Бенигнус Спиагудри, смотритель Спладгеста, который должен получить труп».

— Этот разбойник очень опасен, — заметил генерал, — особенно ввиду брожения среди рудокопов. Надо объявить за его голову премию в тысячу королевских экю.

«7. Бенигнус Спиагудри, медик, антикварий, скульптор, минералог, натуралист, ботаник, юрист, химик, механик, физик, астроном, теолог, грамматик...»

— Но разве это не тот Спиагудри, который занимает место смотрителя Спладгеста? — перебил генерал.

— Он сам, ваше превосходительство, — ответил секретарь и продолжал: — «...смотритель, по воле Его Величества, учреждение, именуемого Спладгест, в королевском городе Дронтгейме, считает долгом поставить на вид, что именно он, Бенигнус Спиагудри, открыл, что так называемые неподвижные звезды не освещаются звездою, именуемою Солнцем; itеm[[9]](#footnote-9), что настоящее имя Одина Фригге, сын Фридульфа; itеm, что морская змея питается песком; itеm, шум народонаселения отгоняет рыбу от берегов Норвегии, так что средства к пропитанию уменьшаются пропорционально возрастанию числа жителей; itеm, что залив, называемый Отте-Сунд, прежде известен был под именем Лимфиорда и получил название Отте-Сунда, после того как Отон Рыжий бросил в него свое копье; itеm, что по его указаниям и под его надзором старая статуя Фрейя переделана в статую Правосудия, украшающую главную площадь Дронтгейма, а Лев, находившийся у ног статуи, в дьявола — олицетворение преступления; itеm...»

— Ну, довольно об его важных заслугах. Что ему нужно?

Секретарь перелистал много страниц и продолжал:

«...Принимая во внимание свои столь полезные труды в науках и искусствах, проситель решается всеуниженно умолять его превосходительство увеличить таксу за каждый мужской и женский труп на десять аскалонов, что не может быть неприятно мертвецам, доказывая им...»

В эту минуту дверь кабинета отворилась и лакей доложил громким голосом:

— Ее сиятельство, графиня Алефельд.

В кабинет вошла знатная дама, с маленькой графской короной на голове, роскошно разодетая, в платье из красного атласа, обшитом горностаем и золотой бахромой. Пожав руку генерала, она опустилась возле него в кресло.

Графиня была женщина лет пятидесяти, но возраст не прибавил ей морщин, уже давно проведенных на ее лице заботами гордости и честолюбия. Она обратилась к старому губернатору с гордым взором и принужденной улыбкой.

— Однако, генерал, ваш воспитанник заставляет себя ждать. Он должен был прибыть сюда еще до восхода солнца.

— Он и прибыл, графиня, но тотчас же отправился в Мункгольм.

— В Мункгольм! Надеюсь не к Шумахеру?

— Весьма возможно.

— Первый визит барона Торвика будет сделан Шумахеру!

— Отчего же нет, графиня? Шумахер несчастлив.

— Как! генерал, сын вице-короля имеет сношение с государственным преступником!

— Фредерик Гульденлью, поручая мне своего сына, просил меня, графиня, воспитать его как своего родного. Я полагал, что знакомство с Шумахером принесет пользу Орденеру, который со временем достигнет такого же могущества. В виду этого, с соизволение вице-короля, я получил от моего брата Груммонда Кнуда пропуск во все тюрьмы и вручил его Орденеру. Он им воспользовался.

— А давно ли, генерал, барон Орденер завел это полезное знакомство?

— Не более года, графиня. Кажется, общество Шумахера пришлось ему по душе, так как он часто посещал его, живя в Дронтгейме, и лишь с большим сожалением, вследствие моих настояний, предпринял год тому назад поездку по Норвегии.

— А Шумахер, знает он, что утешитель его сын одного из-заклятых его врагов?

— Он знает, что это его искренний друг, и этого для него достаточно, как и для нас.

— А вы, генерал, — спросила графиня, бросая на губернатора испытующий взгляд, — покровительствуя и укрепляя это знакомство, знали вы, что у Шумахера есть дочь?

— Я это знал, графиня.

— И это обстоятельство казалось вам малозначащим в отношении вашего воспитанника?

— Воспитанник Левина Кнуда, сын Фредерика Гульденлью человек честный. Орденеру известна преграда, отделяющая его от дочери Шумахера. Он не способен увлечь без серьезного намерения девушку и притом дочь несчастного человека.

Графиня Алефельд вспыхнула и побледнела. Она отвернулась, как бы желая избегнуть спокойного взора старого генерала, как бы чуя в нем обвинителя.

— Все таки, генерал, — проговорила она, — это знакомство кажется мне, извините за выражение, странным и неблагоразумным. Носится слух о мятеже рудокопов и северных поселенцев. Имя Шумахера замешено в этом деле.

— Графиня, вы удивляете меня! — вскричал губернатор. — Шумахер до сих пор спокойно переносил свое несчастие. Этот слух, без сомнение, неоснователен.

В эту минуту дверь отворилась и слуга доложил, что посланный от его сиятельства великого канцлера просит дозволение говорить с графиней.

Графиня поспешно поднялась, простилась с губернатором, который снова занялся рассмотрением прошений, и торопливо удалилась в апартаменты, занимаемые ею в одном из флигелей губернаторского дома, приказав прислать туда посланца.

Уже несколько минут сидела она на роскошной софе, среди приближенных к ней дам, когда вошел посланец. Графиня при виде его не могла сдержать жеста отвращение, который тотчас же скрыла под благосклонной улыбкой. Внешность посланца, однако, на первый взгляд не представляла ничего отталкивающего: это был скорее низенький, чем высокий человек, дородство которого мало гармонировало с его должностью. Но при более внимательном осмотре на открытом лице его можно было приметить выражение наглости, а в веселых взорах что-то дьявольское, коварное.

Отдав графине глубокий поклон, он вручил ей пакет с печатью и шелковым шнурком.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — дозвольте мне осмелиться положить к вашим стопам драгоценное послание вашего именитого супруга, моего высокочтимого господина.

— Разве он не прибудет сюда сам? И зачем послал он с письмом вас? — спросила графиня.

— Важные дела, о которых сообщит вам письмо, воспрепятствовали прибытию его сиятельства. Что же касается меня, графиня, то по приказанию моего благородного господина я удостоен величайшей чести иметь с вами конфиденциальный разговор.

Графиня побледнела и вскричала дрожащим голосом:

— Со мной! Конфиденциальный разговор с вами, Мусдемон?

— Если это хоть на миг огорчает вас, высокородная графиня, ваш недостойный слуга придет в отчаяние.

— Огорчает меня! Вовсе нет, — возразила графиня, пытаясь улыбнуться, — но разве этот разговор так необходим?

Посланец поклонился до земли.

— Решительно необходим! Письмо, которое сиятельная графиня удостоила принять из моих рук, должно содержать точные указание на этот счет.

Странно было видеть, как дрожала и бледнела гордая графиня Алефельд перед служителем, который так раболепствовал перед ней. Она медленно распечатала конверт и прочла письмо.

— Оставьте нас одних, — сказала она слабым голосом, обращаясь к окружающим ее дамам.

— Да соблаговолит сиятельная графиня, — сказал посланец, преклоняя колено, — извинить мою смелость за неудовольствие, которое я, кажется, причинил ей.

— Напротив, будьте уверены, что ваше присутствие доставляет мне величайшее удовольствие, — возразила графиня с принужденной улыбкой.

Дамы удалились из комнаты.

— Эльфегия, ты забыла то время, когда наши свидание не внушали тебе отвращения.

С этими словами обратился посланец к благородной графине, сопровождая их смехом подобным тому, каким смеется дьявол, завладевая душой, продавшейся ему по договору.

Знатная женщина униженно поникла головой.

— О, зачем я действительно не забыла его! — пробормотала она.

— Глупая! К чему краснеть из-за того, чего не видит ни один человеческий глаз?

— Чего не видят люди, то видит Бог.

— Бог, слабая женщина! Ты не достойна была чести обманывать своего мужа, так как он менее легковерен, чем ты.

— Вы низко издеваетесь над угрызениями моей совести, Мусдемон.

— Прекрасно! Но, Эльфегия, если ты чувствуешь угрызения совести, зачем же ты сама издеваешься над ними ежедневно, совершая новые преступления?

Графиня Алефедьд закрыла лицо руками.

— Эльфегия, — продолжал Мусдемон, — надо выбрать что-нибудь одно: или угрызения, отказавшись от преступлений, или преступление, отказавшись от угрызений. Бери пример с меня и выбери последнее; так будет лучше, по крайней мере веселее.

— Дай Бог, — прошептала графиня, — чтобы эти слова не припомнились вам на том свете.

— Ну, милая моя, теперь шутки в сторону, — сказал Мусдемон, садясь возле графини и обвивая руками ее шею.

— Эльфегия, — продолжал он, — постарайся по крайней мере духовно остаться такою, какой была двадцать лет тому назад.

Несчастная графиня, раба своего сообщника, пыталась ответить на его отвратительные ласки. В позорных объятиях этих двух существ, которые взаимно презирали и проклинали друг друга, было нечто чересчур возмутительное даже для их развращенных душ. Преступные ласки, в былое время составлявшие для них наслаждение, и которые неизвестно какое ужасающее приличие заставляло их расточать и теперь, превратились в их пытку. Странное и справедливое превращение преступных страстей! Их преступление стало для них наказанием.

Чтобы положить конец этой мучительной пытке, графиня, вырвавшись из объятий своего ненавистного любовника, спросила его, с каким словесным поручением прислал его ее муж.

— Алефельд, — отвечал Мусдемон, — предвидя, как усилится его могущество через брак Орденера Гульденлью с нашей дочерью...

— Нашей дочерью! — высокомерно вскричала графиня, бросая на Мусдемона взор, полный гордости и презрения.

— Да, — холодно продолжал Мусдемон, — мне кажется, Ульрика с полным правом может считаться и моей дочерью. Я хотел сказать, что этот брак не вполне удовлетворит твоего мужа, если в то же время не будет окончательно уничтожен Шумахер. Этот старый временщик в глубине своей тюрьмы почти столь же опасен, как и в своем дворце. Он имеет при дворе друзей не знатных, но могущественных, быть может, именно потому, что они незнатны. Месяц тому назад, узнав, что переговоры великого канцлера с герцогом Голштейн-Плёнским не двигаются вперед, король нетерпеливо вскричал: Гриффенфельд один знал больше, чем все они вместе взятые. Какой-то проныра Диспольсен приезжал из Мункгольма в Копенгаген, сумел добиться нескольких секретных аудиенций, после чего король потребовал хранившиеся у канцлера документы и дипломы Шумахера. Неизвестно, чего добивается Шумахер; по всей вероятности — свободы, что для государственного преступника равнозначуще с стремлением к могуществу. Необходимо, чтобы он умер, умер, так сказать, судебным порядком, и мы стараемся теперь взвалить на него какое-нибудь преступление.

Твой муж, Эльфегия, под предлогом обревизовать инкогнито северные округа, отправится лично убедиться в результатах, которыми увенчались наши происки среди рудокопов. Мы хотим именем Шумахера поднять мятеж в их среде, мятеж, который потом не трудно будет подавить. В настоящее время нас озабочивает только пропажа нескольких весьма важных бумаг, относящихся к этому делу, тем более, что есть полное основание подозревать, что они попали в руки Диспольсена. Зная, что он уехал из Копенгагена в Мункгольм, везя Шумахеру его бумаги, дипломы и, быть может, те документы, которые могут погубить или, по меньшей мере, скомпрометировать нас, мы разместили в Кольских ущельях несколько надежных клевретов, поручив им убить Диспольсена и захватить его бумаги. Однако, если Диспольсен, как уверяют, возвратился из Бергена морем, все наши старание пойдут прахом... Теперь одна надежда, что оправдается слух, ходящий по городу, об убийстве какого-то капитана по имени Диспольсена... Увидим, что-то будет... а пока надо разыскать знаменитого разбойника Гана Исландца, которого нам бы хотелось поставить во главе взбунтовавшихся рудокопов. А ты, моя милая, какие добрые вести можешь ты сообщить мне? Поймана ли в клетке красивая мункгольмская птичка? Попала ли, наконец, дочь старого министра в лапки нашего сына Фредерика?..

Гордость графини снова возмутилась.

— Нашего сына! — вскричала она презрительно.

— Конечно, который ему теперь год? Двадцать четвертый. А мы знакомы с тобой, Эльфегия, вот уж двадцать шесть лет.

— Богу известно, — продолжала графиня, — что мой Фредерик законный наследник великого канцлера.

— Что Богу известно, — отвечал Мусдемон, смеясь, — то диавол может не знать. Впрочем, твой Фредерик вертопрах, недостойный меня, и из-за такого вздора не стоит нам пререкаться. Он годен лишь для обольщения простушек. Успел ли он в этом по крайней мере?

— Нет еще, сколько мне известно.

— Однако, Эльфегия, постарайся принять более деятельное участие в наших делах. До сих пор мы трудимся только вдвоем с графом. Завтра я возвращусь к твоему мужу, ты же, пожалуйста, не ограничивайся только молитвами за наши грехи, подобно мадонне, к которой взывают итальянцы, убивая кого-нибудь... Необходимо также постараться, чтобы Алефельд пощедрее вознаграждал мои труды, чем до сих пор. Хотя моя судьба связана с вашей, мне надоело быть слугой супругов, когда я любовник жены, быть гувернером, наставником, педагогом, когда я почти отец...

В эту минуту пробило полночь, и в комнату вошла служанка напомнить графине, что согласно дворцовым правилам все огни должны быть погашены в этот час. Графиня, радуясь, что может прекратить этот тяжелый разговор, приказала позвать своих горничных.

— Да, позволит мне милостивая графиня, — сказал Мусдемон, уходя из комнаты, — сохранить надежду снова свидеться с нею завтра и повергнуть к ее стопам уверения в моем глубочайшем уважении.

### VIII

— Правду сказать, старик, — заметил Орденер Спиагудри, — я уж начал думать, что обязанность отпирать дверь возложена тобою на трупы, находящиеся в этом здании.

— Простите, милостивый господин, — пробормотал смотритель Спладгеста, у которого еще раздавались в ушах имена короля и вице-короля, и повторил свое банальное извинение. — Я... я крепко заснул.

— Ну, значит не спали твои мертвецы, так как я только что явственно слышал их разговор.

Спиагудри смутился.

— Вы, милостивый господин, вы слышали?..

— Само собою разумеется, но дело не в том. Я пришел сюда не для того, чтобы заниматься твоими делами, а чтобы занять тебя моими собственными. Войдем.

Спиагудри вовсе не хотелось пускать вновь прибывшего к трупу Жилля, но последние слова несколько успокоили его, и притом мог ли он воспротивиться?

Он пропустил молодого человека и запер за ним дверь.

— Бенигнус Спиагудри, — сказал он, — к вашим услугам во всем, что касается человеческих знаний. Но, судя по вашему ночному посещению, если вы рассчитывали встретить здесь колдуна, вы ошиблись, nе fаmаm сredas[[10]](#footnote-10). Я не более как ученый... Пройдемте, милостивый господин, в мою лабораторию.

— Незачем, — возразил Орденер, — мы остановимся у этих трупов.

— У этих трупов! — вскричал Спиагудри, вздрогнув от испуга. — Но, милостивый господин, вам нельзя их видеть.

— Как! Мне нельзя видеть трупы, которые нарочно для того и выставляются здесь! Повторяю тебе, мне необходимо собрать сведение об одном из твоих клиентов и ты должен сообщить мне их. Повинуйся добровольно, старик, если не хочешь, чтобы я употребил насилие.

Спиагудри питал глубокое уважение к сабле и видел, как она сверкала на боку Орденера.

— Nihil nоn аrrоgаt аrmis[[11]](#footnote-11), — пробормотал он и порывшись в связке ключей, отпер решетку и ввел посетителя во второе отделение мертвецкой.

— Покажи мне одежду капитана, — сказал ему Орденер.

В эту минуту луч света упал на окровавленную голову Жилля Стадта.

— Милосердый Боже! — вскричал Орденер. — Какое гнусное святотатство!

— Ради святого Госпиция, сжальтесь надо мною! — простонал старый смотритель.

— Старик, — продолжал Орденер грозным голосом, — неужели ты так далек от смерти, что решаешься издеваться над нею! Неужели, несчастный, ты думаешь, что живые не сумеют заставить тебя уважать мертвых!

— О! — вскричал злополучный смотритель. — Сжальтесь надо мною, я не виноват!.. Если бы вы только знали!..

Он вдруг замолчал, вспомнив слова малорослого человека: «Будь верен и нем».

— Не видали ли вы кого-нибудь, проскользнувшего в это отверстие? — спросил он слабым голосом.

— Да, это твой сообщник?

— Нет, это преступник, единственный преступник, клянусь вам всеми муками ада, всеми блаженствами неба, даже этим столь недостойно поруганным телом!..

С этими словами он бросился к ногам Орденера.

Несмотря на всю гнусность Спиагудри, его отчаяние, его протесты звучали так правдиво, что молодой человек был убежден.

— Встань, старик, — сказал он, — если ты не издевался над смертью, не унижай по крайней мере старости.

Спиагудри поднялся на ноги, Орденер продолжал:

— Кто же виновник?

— О! Не спрашивайте, милостивый господин, вы не знаете, о ком говорите! Не спрашивайте! — вскричал Спиагудри, внутренно повторяя про себя: «Будь верен и нем».

— Кто преступник? Я хочу знать его имя, — холодно возразил Орденер.

— Заклинаю вас именем неба, милостивый господин! Не спрашивайте о нем, страх...

— Страх не заставит меня молчать, скорее он заставит тебя говорить.

— Простите меня, — простонал Спиагудри, вне себя от отчаяния, — я не могу...

— Можешь, если я того хочу. Назови мне имя святотатца.

Спиагудри попытался еще раз увильнуть.

— Милостивый господин, человек, надругавшийся над трупом — убийца этого офицера.

— Так этот офицер был убит? — спросил Орденер, вспомнив при этих словах цель своего посещения.

— Без сомнения.

— Но кем? кем?

— Во имя святой, которую призывала ваша мать, рождая вас на свет, не старайтесь узнать это имя, не принуждайте меня открывать его.

— Старик, твои слова только увеличивают мое любопытство. Я приказываю тебе назвать этого злодея.

— Ну, — вскричал Спиагудри, — посмотрите на эти глубокие следы на теле несчастного длинными, кривыми ногтями... Они назовут вам убийцу.

С этими словами старик указал Орденеру длинные глубокие царапины на голом обмытом трупе.

— Как! — вскричал Орденер. — Неужели красный зверь?..

— Нет.

— Но если это не дьявол...

— Шш, не спешите угадывать. Неужели вам не приходилось слышать, — продолжал смотритель, понизив голос, — о человеке, или чудовище во образе человеческом, ногти которого так же длинны, как у Астарота, который нас погубил, или у Антихриста, который нас погубит?..

— Говори яснее.

— Горе! Гласит Апокалипсис...

— Я спрашиваю у тебя имя убийцы.

— Убийцы... имя... милостивый господин, сжальтесь надо мною, пожалейте себя.

— Вторая из этих просьб уничтожила бы первую, если бы даже не было у меня серьезных причин вырвать у тебя это имя. Не испытывай далее...

— Хорошо, вы сами того хотели, молодой человек, — вскричал Спиагудри громким голосом, выпрямляясь, — этот преступник, этот святотатец — Ган Исландец.

Орденеру было известно это страшное имя.

— Как! — вскричал он. — Ган! Этот гнусный бандит!

— Не называйте его бандитом, он действует всегда один.

— Но, несчастный, почему ты знаешь его? Какие преступление сблизили вас друг с другом?

— О! Благородный господин, не верьте наружности. Разве дуб становится ядовитым, когда змея укроется в его листве?

— Довольно болтовни! Злодей имеет друга только в сообщнике.

— Я совсем не друг его, а тем менее сообщник. Если мои клятвы не были для вас убедительны, вспомните, что это гнусное преступление подвергнет меня через двадцать четыре часа, когда придут хоронить труп Жилля Стадта, наказанию за святотатство. В таком ужасном положении вряд ли когда находился невинный!

Эти доводы личной ответственности показались Орденеру убедительнее умоляющих возгласов несчастного смотрителя. Эти доводы вероятно в значительной степени воодушевляли его, в его патетическом, хотя и бесполезном сопротивлении святотатству малорослого человека.

Орденер на минуту погрузился в размышление, между тем как Спиагудри пытался прочесть на его лице возвещает ли эта тишина мир или угрожает бурей.

Наконец, Орденер сказал суровым, но спокойным голосом:

— Старик, говори правду. Нашел ты бумаги у этого офицера?

— Ни клочка, клянусь честью.

— Но может быть их нашел Ган Исландец?

— Клянусь святым Госпицием, я не знаю.

— Не знаешь! Но может быть ты знаешь, где скрывается Ган Исландец?

— Он никогда не скрывается, он постоянно блуждает.

— Хорошо, но где же его убежище?

— У этого язычника, — ответил старик, понизив голос, — столько убежищ, сколько подводных камней у острова Гиттерена, сколько лучей у звезды Сириуса.

— Еще раз повторяю тебе, выражайся яснее, — перебил Орденер, — я хочу показать тебе пример, слушай. Какая то таинственная связь соединяет тебя с этим разбойником, хотя ты и уверяешь, что ты ему не сообщник. Если ты знаешь его, ты должен также знать куда он теперь отправился... Не перебивай меня... Если ты не сообщник его, ты не колеблясь поможешь мне разыскать его...

Спиагудри не мог сдержать движение ужаса.

— Вы, благородный господин; великий Боже! Вы, юноша, полный сил и здоровья, хотите накликать на себя, разыскать этого злого духа! Когда четырехрукий Ингиальд сразился с великаном Никтольмом, он обладал по крайней мере четырьмя руками....

— Что же, — заметил Орденер, улыбаясь, — если так необходимы четыре руки, разве ты не будешь моим проводником?..

— Я! Вашим проводником?.. Как можете вы издеваться над бедным стариком, который сам уже нуждается в проводнике?

— Послушай, — перебил его Орденер, — не издевайся ты надо мною. Если это преступление, в котором мне не хотелось бы считать тебя виновным, повлечет за собой наказание за святотатство, ты не можешь остаться здесь более. Тебе необходимо бежать, и я беру тебя под свою защиту, но с условием, что ты проводишь меня в логовище злодея. Будь моим проводником, я же буду твоим покровителем; даже более, если я разыщу Гана Исландца, я доставлю его сюда мертвого или живого. Ты можешь тогда доказать свою невинность, а я обещаю тебе выхлопотать прежнюю должность... А пока, вот тебе столько королевских экю, сколько не выработать тебе в целый год.

Орденер, приберегая кошелек под конец, наблюдал в своих аргументах последовательность, предписываемую законами здравого смысла. Но и без того каждый из этих аргументов сам по себе мог заставить Спиагудри призадуматься. Он начал с того, что взял деньги.

— Благородный господин, вы правы, — сказал он затем, и взор его, до сих пор нерешительный, устремился на Орденера. — Если я пойду с вами, то подвергнусь со временем мщению страшного Гана. Если я останусь, завтра же попаду в лапы палача Оругикса... Все равно... в обоих случаях опасность грозит моей бедной голове; но так как, согласно справедливому замечанию Семонд-Сигфуссона, прозванного Мудрым, inter duо реriсulа аеquаliа, minus imminеns еligеndum еst[[12]](#footnote-12), я следую за вами... Да, милостивый господин, я буду вашим проводником; только во всяком случае не забудьте, что я употребил все зависящие от меня старание, чтобы отвратить вас от столь смелого замысла.

— И так, — сказал Орденер, — ты будешь моим проводником. Но, старик, — добавил он с выразительным взглядом, — я полагаюсь на твою честность.

— Ах, милостивый господин, — возразил смотритель Спладгеста, — честь Спиагудри так же чиста, как и золото, которым вы так щедро одарили меня.

— Пусть она навсегда останется такою, в противном случае я докажу тебе, что и сталь моя ничуть не хуже золота... Где, ты думаешь, находится теперь Ган Исландец?

— Так как южный дронтгеймский округ занят в настоящее время войсками, посланными туда неизвестно с какой целью великим канцлером, Ган, по всей вероятности, направился к Вальдергогской пещере или к Смиазенскому озеру. Нам надо идти через Сконген.

— Когда же ты можешь отправиться со мною?

— День уже занялся; так вот, когда наступит ночь и Спладгест будет заперт, ваш бедный служитель примет на себя обязанности проводника, ради которых мертвецы лишены будут его попечений. В течении дня мы постараемся скрыть от народа изуродованную голову рудокопа.

— А где я найду тебя вечером?

— На главной площади Дронтгейма, если вам угодно, у статуи Правосудия, бывшей некогда Фрейей. Она, без сомнение, укроет меня в своей тени, в благодарность за великолепного дьявола, которого я вылепил у ее подножия.

Спиагудри, быть может, повторил бы Орденеру слово в слово все доводы своей просьбы к губернатору, если бы тот не поспешил его перебить.

— Итак, старик, договор заключен.

— Заключен, — повторил смотритель Спладгеста.

Когда он произносил это слово, звук, похожий на рычанье, послышался над ними. Спиагудри затрясся всем телом.

— Что это такое? — прошептал он.

— Нет ли тут какого-нибудь другого живого существа, кроме нас? — спросил Орденер, удивленный не менее его.

— Вы напомнили мне о моем помощнике Оглипиглапе, — возразил Спиагудри, успокоенный этой мыслью, — без сомнение, это он спит так громко. По мнению епископа Арнгрима, спящий лапландец шумит не менее старой бабы.

С этими словами они подошли к двери Спладгеста. Спиагудри тихо открыл ее.

— Прощайте, милостивый господин, — сказал он Орденеру, — и да благословит вас небо. До вечера! Если вы пройдете мимо церкви святого Госпиция, помолитесь за вашего несчастного служителя Бенигнуса Спиагудри.

Поспешно захлопнув дверь, боясь, чтобы его не приметили, и чтобы утренний ветер не задул ночника, он вернулся к трупу Жилля Стадта и принялся укладывать его голову таким образом, чтобы раны не было видно.

Серьезные причины заставили трусливого смотрителя принять смелое предложение незнакомца. Мотивами, побудившими его на такое отважное решение, были: во-первых, страх, внушаемый Орденером; во-вторых, страх, внушаемый палачом Оругиксом; в-третьих, старинная ненависть к Гану Исландцу, ненависть, в которой он едва осмеливался признаться самому себе, до такой степени умерялась она ужасом; в-четвертых, любовь к наукам, которым это путешествие могло принести пользу; в-пятых, надежда на свою хитрость, чтобы отвести глаза Гану; в-шестых, затаенное влечение к известному металлу, наполнявшему кошелек молодого искателя приключений и которым, по его мнению, был наполнен железный ящик, украденный у капитана и предназначавшийся вдове Стадт, посылка, которая теперь имела все шансы никогда не расставаться с посыльным.

Наконец, последняя причина — более или менее основательная — надежда снова занять, рано ли, поздно ли, ту должность, которую он теперь покидал. А затем ему было совершенно безразлично, разбойник ли убьет незнакомца или незнакомец разбойника. При этой мысли он не мог удержаться от восклицания:

— Во всяком случае я получу труп!

В эту минуту послышалось новое рычанье, и несчастный смотритель вздрогнул всем телом.

— Нет, это не может быть храпенье Оглипиглапа, — пробормотал он, — этот шум слышится сверху.

— Как глупо пугать себя такими пустяками, — добавил он после минутного размышления, — по всей вероятности, это собака проснулась на пристани и залаяла.

Уложив обезображенные члены Жилля и заперев все двери, он лег на постель отдохнуть от усталости минувшей ночи и собраться с силами к предстоящей.

### IX

Фонарь Мункгольмской крепости был потушен и матрос, проводящий судно в Дронтгеймский залив, видел вместо него каску часового, сверкавшую подобно подвижной звезде на лучах восходящего солнца, когда Шумахер, опираясь на руку дочери, сошел на свою обычную прогулку в сад, окружающий его тюрьму. Оба они провели беспокойную ночь: старик от бессонницы, молодая девушка от сладостных грез. Уже несколько минут прогуливались они молча, как вдруг старый узник устремил на свою прекрасную дочь печальный и серьезный взгляд:

— Ты краснеешь и улыбаешься сама себе, Этель; ты счастлива, так как не краснеешь за прошлое, но улыбаешься будущему.

Этель покраснела еще более и подавила улыбку.

— Батюшка, — сказала она, застенчиво обнимая отца. — я принесла с собой книгу Эдды.

— Читай, дочь моя, — ответил Шумахер, снова погружаясь в задумчивость.

Мрачный узник, опустившись на скалу, осененную черною елью, прислушивался к нежному голосу молодой девушки, не слушая ее чтение, подобно истомленному путнику, наслаждающемуся журчанием ручейка, который оживил его силы.

Этель читала ему историю пастушки Атланги, которая отказывала королю до тех пор пока он не доказал ей, что он воин. Принц Регнер Ледброг женился на пастушке, только победив Клипстадурского разбойника, Ингольфа Истребителя.

Вдруг шум шагов и раздвигаемой листвы прервал ее чтение и вывел Шумахера из-задумчивости. Поручик Алефельд вышел из-за скалы, на которой они сидели. Узнав его, Этель потупила голову.

— Клянусь честью, прекрасная девица, — вскричал офицер, — ваш очаровательный ротик только что произнес имя Ингольфа Истребителя. Должно быть, вы заговорили о нем, беседуя о его внуке, Гане Исландце. Молодые девицы вообще любят разговаривать о разбойниках, и в этом отношении Ингольф и его потомки доставляют тему весьма занимательную и страшную для слушателей. Истребитель Ингольф имел лишь одного сына, рожденного колдуньей Тоаркой; сын этот, в свою очередь, тоже имел одного сына, и тоже от колдуньи. И вот уж в течение четырех столетий род этот продолжается, к отчаянию Исландии, всегда одним отпрыском, не производящим более одной отрасли. Этим-то последовательным рядом наследников адский дух Ингольфа перешел ныне в целости и неприкосновенности к знаменитому Гану Исландцу, который имел счастие сию минуту занимать девственные мысли молодой девицы.

Офицер остановился на мгновение. Этель хранила молчание от замешательства, Шумахер — от скуки. В восторге от их расположение, если не к ответам, то, по крайней мере, к вниманию, он продолжал:

— У Клипстадурского разбойника одна лишь страсть — ненависть к людям, одна лишь забота, — как бы насолить им...

— Умен, — резко перебил старик.

— Он живет всегда один, — продолжал поручик.

— Счастлив, — заметил Шумахер.

Поручик был обрадован этим двойным замечанием, которое, казалось ему, поощряло к дальнейшей беседе.

— Да сохранит вас бог Митра, — вскричал он, — от таких умников и счастливцев! Да будет проклят злонамеренный зефир, занесший в Норвегию последнего из демонов Исландии. Впрочем, я напрасно сказал: злонамеренный, так как уверяют, что счастием иметь в среде своей Гана Клипстадурского обязаны мы епископу. Если верить преданию, несколько исландских крестьян, изловив на Бессестедтских горах маленького Гана, хотели убить его, подобно тому как Астиаг умертвил Бактрийского львенка; но Скальголтский епископ воспротивился этому и взял медвежонка под свое покровительство, рассчитывая превратить дьявола в христианина. Добрый епископ употребил тысячу средств, чтобы развить этот адский ум, забывая, что цикута не превратилась в лилию в теплицах Вавилона. В одну прекрасную ночь дьяволенок отплатил за все его заботы, убежав по морю на бревне и осветив себе дорогу пожаром епископской обители. Вот каким образом переправился в Норвегию этот исландец, который, благодаря своему воспитанию, в настоящее время являет собою идеал чудовища. С тех пор Фа-Рёрские шахты засыпаны и триста рудокопов погребено под их развалинами; висячая скала Гола сброшена ночью на деревню, над которой она высилась; Гальфбрёнский мост низвергнут с высоты скал вместе с путешественниками; Дронтгеймский собор сожжен; береговые маяки тухнут в бурные ночи и целая масса преступлений и убийств, погребенных в водах озер Спарбо или Смиазенского, или скрытых в пещерах Вальдергога и Риласса и в Дофре-Фильдском ущелье, свидетельствуют о присутствии в Дронтгеймском округе этого воплощенного Аримана. Старухи утверждают, что после каждого преступление у него вырастает волос на бороде, и в таком случае эта борода должна быть так же густа, как у самого почтенного ассирийского мага. Однако, прекрасная девица должна знать, что губернатор не раз пытался остановить необычайный рост этой бороды...

Шумахер еще раз прервал молчание.

— И все усилие захватить этого человека не увенчались успехом? — спросил он с торжествующим взглядом и иронической улыбкой. — Поздравляю великого канцлера.

Офицер не понял сарказма бывшего великого канцлера.

— До сих пор Ган так же непобедим, как Гораций Коклес. Старые солдаты, молодые милиционеры, поселяне, горцы, все гибнут или бегут при встрече с ним. Это демон, от которого ничто не убережет, которого не изловишь. Самым счастливым из искавших его оказывается тот, кто его не находил. Прекрасная девица, быть может, удивлена, — продолжал он, бесцеремонно усаживаясь возле Этели, которая придвинулась к отцу, — что я знаю всю подноготную этого сверхъестественного существа. Но я не без цели собрал эти замечательные предания. По моему мнению — я буду в восторге, если прелестная девица согласится с ним — из приключений Гана вышел бы превосходный роман в роде замечательных произведений мадмуазель Скюдери, «Амаранты» или «Клелии», которая, хотя я прочел лишь шесть томов, на мой взгляд, представляет образцовое творение. Необходимо будет, например, смягчить наш климат, изукрасить предание, изменить наши варварские имена. Таким образом Дронтгейм, превращенный в Дуртинианум, увидит, как под моим магическим жезлом его леса изменятся в восхитительные боскеты, орошаемые тысячью маленьких ручейков, более поэтичных, чем наши отвратительные потоки. Наши черные, глубокие пещеры сменятся прелестными гротами, разукрашенными золотистыми и лазурными раковинами. В одном из этих гротов будет обитать знаменитый волшебник Ганнус Тулийский... согласитесь, что имя Гана Исландца неприятно режет ухо. Этот великан... вы понимаете, было бы абсурдом, если бы великан не был героем такого творения... этот великан происходил бы по прямой линии от бога Марса... имя Ингольфа Истребителя ровно ничего не говорит воображению... и от волшебницы Теоны... не правда ли, как удачно заменил я имя Тоарки?.. дочери Кумской сивиллы. Ганнус, воспитанный великим Тулийским магом, улетит в конце концов из дворца первосвященника на колеснице, влекомой двумя драконами... Надо обладать весьма невзыскательной фантазией, чтобы удержать прозаичное предание о бревне... Очутившись под небом Дуртинианума и прельстившись этой очаровательной страной, он избирает ее местом для своей резиденции и ареной своих преступлений. Нелегко будет нарисовать картину злодеяний Гана так, чтобы она не оскорбила вкуса читателя. Можно будет смягчить ее ужас искусно введенною любовною интрижкой. Пастушка Альциппа, пася однажды свою овечку в миртовой и оливковой роще, может быть примечена великаном, которого пленит могущество ее очей. Но Альциппа души не чает в Ликиде, офицере милиции, расположенной гарнизоном в ее деревушке. Великан раздражен счастием центуриона, центурион ухаживаньями великана. Вы понимаете, любезная девица, сколько прелести придал бы подобный эпизод приключениям Ганнуса. Готов прозакладывать мои краковские сапожки против пары женских ботинок, что эта тема, обработанная девицей Скюдери, свела бы с ума всех дам в Копенгагене...

Это слово вывело Шумахера из мрачной задумчивости, в которую он был погружен в то время, как поручик бесполезно расточал перлы своей фантазии.

— Копенгаген? — резко перебил он. — Господин офицер, нет ли чего нового в Копенгагене?

— Ничего, сколько мне известно, — отвечал поручик, — за исключением согласие, данного королем, на брак, интересующий в настоящий момент оба королевства.

— Брак! — спросил Шумахер. — Чей брак?

Появление четвертого собеседника помешало поручику отвечать.

Все трое устремили взор на вновь прибывшего. Мрачное лицо узника просветлело, веселая физиономия поручика приняла напыщенное выражение, а нежная фигура Этели, бледная и смущенная во все время длинного монолога офицера, оживилась от радостного чувства. Она глубоко вздохнула, как будто с сердца ее свалилась непосильная тяжесть, и печально улыбнулась Орденеру.

Старик, молодая девушка и офицер очутились в странном положении относительно Орденера; каждый из них имел с ним общую тайну, и потому они тяготились друг другом.

Возвращение Орденера в башню не удивило ни Шумахера, ни Этели, так как оба ждали его; но оно изумило поручика столько же, сколько встреча с Алефельдом изумила Орденера, который мог бы опасаться нескромности офицера относительно вчерашней сцены, если бы не разубеждало его в том молчание, предписываемое законами рыцарства. Он мог только удивляться, видя его в мирной беседе с обоими узниками.

Эти четыре человека, находясь вместе, не могли говорить, именно потому, что имели многое сказать друг другу наедине. Таким образом, за исключением радушных, смущенных взглядов, Орденер встретил совершенно молчаливый прием.

Поручик расхохотался.

— Клянусь шлейфом королевской мантии, любезный посетитель, наше молчание ужасно походит на молчание галльских сенаторов, когда римлянин Бренн... Право, не помню хорошенько, кто был римлянин, кто галл, кто сенатор и кто полководец. Но все равно! Так как вы здесь, помогите мне сообщить этому почтенному старику самые последние новости. До вашего неожиданного появление на сцену, я начал рассказывать о блестящем браке, занимающем в настоящее время мидян и персов.

— О каком браке? — спросили в один голос Орденер и Шумахер.

— При взгляде на ваш костюм, господин иностранец, — вскричал поручик, всплеснув руками, — я уже предчувствовал, что вы явились из какой-то неведомой страны. Ваш вопрос вполне подтверждает мое предположение. По всей вероятности, вы вчера сошли на берегах Ниддера с колесницы феи, влекомой двумя крылатыми грифами, так как вы не могли проехать по Норвегии, не услышав о блистательном союзе сына вице-короля с дочерью великого канцлера.

Шумахер обернулся к поручику.

— Как! Орденер Гульденлью женится на Ульрике Алефельд?

— Вот именно, — ответил офицер, — и свадьба будет сыграна раньше, чем французские фижмы выйдут из моды в Копенгагене.

— Сыну Фредерика должно быть теперь около двадцати двух лет, так как я провел уже год в Копенгагенской крепости, когда дошел до меня слух о его рождении. Пусть лучше женится в молодости, — продолжал Шумахер с горькой улыбкой, — когда попадет в немилость, по крайней мере, его не станут упрекать в домогательстве кардинальской шапки.

Старый временщик намекал на свои собственные несчастия, но поручик не понял его.

— Конечно нет, — возразил он, расхохотавшись, — барон Орденер получит графский титул, цепь ордена Слона и аксельбанты полковника, что ничуть не похоже на кардинальскую шапку.

— Тем лучше, — заметил Шумахер.

Затем, помолчав с минуту, он добавил, качая головой, как будто уже видел пред собою мщение:

— А через несколько дней, быть может, почетную цепь превратят в железный ошейник, графскую корону разобьют на его лбу, ударят по щекам полковничьими аксельбантами.

Орденер схватил руку старика.

— Ради вашей ненависти, не проклинайте счастие врага, не убедившись прежде, действительно ли он счастлив.

— Э! Что за дело барону Торвику до проклятий старика, — сказал поручик.

— Поручик! — вскричал Орденер. — Как знать... может быть, они важнее для него, чем вы думаете. И при том, — добавил он после минутного молчания, — ваш блистательный союз совсем не так верен, как вы предполагаете.

— Fiаt quod vis[[13]](#footnote-13), — отвечал поручик с ироническим поклоном. — Хотя король, вице-король, великий канцлер все приготовили к этому браку, хотя они одобрили и желают его, но так как он не нравится господину незнакомцу, то что значат великий канцлер, вице-король и король!

— Быть может, вы правы, — серьезно заметил Орденер.

— О! Клянусь честью, — вскричал поручик, покатившись со смеху, — это чересчур комично! Мне ужасно хотелось бы, чтобы барон Торвик пришел сюда послушать колдуна, который так отлично угадывает будущее, что может предрешить его судьбу. Поверьте мне, мудрый пророк, ваша борода еще слишком коротка для хорошего колдуна.

— Господин поручик, — холодно возразил Орденер, — я не думаю, чтобы Орденер Гульденлью мог жениться на девушке, не любя ее.

— Э! э! Вот мудрое изречение. Да кто же это вам сказал, господин в зеленом плаще, что барон не любит Ульрики Алефельд?

— Но в таком случае, позвольте узнать, кто вам сказал, что он ее любит?

Тут поручик, как обыкновенно бывает в пылу разговора, принялся утверждать то, в чем сам не был хорошенько уверен.

— Кто мне сказал, что он ее любит? Смешной вопрос! Мне жаль ваших прорицаний; всем известно, что этот брак столько же по страсти, сколько и по расчету.

— За исключением, по крайней мере, меня, — сказал Орденер серьезным тоном.

— Пожалуй, за исключением вас. Но что за беда! Вы не можете воспрепятствовать сыну вице-короля быть влюбленным в дочь канцлера!

— Влюбленным?

— До безумия!

— Действительно, ему надо быть безумным, чтобы влюбиться.

— Что! Не забывайте, кому вы это говорите. Право можно подумать, что сын вице-короля не посмеет влюбиться без одобрение этого вахлака.

С этими словами офицер поднялся с своего места.

Этель, приметив вспыхнувшие взоры Орденера, бросилась к нему.

— Ради Бога, — вскричала она, — успокойтесь, не обращайте внимание на эти оскорбления. Что нам за дело, любит ли сын вице-короля дочь канцлера, или нет.

Эта нежная ручка, положенная на сердце молодого человека, утишила в нем бурю; взор его с упоением остановился на Этели, он не слушал более поручика, который, снова предавшись веселости, вскричал:

— Девица с замечательной грацией исполняет роль сабинянок между их отцами и мужьями. Я выразился несколько неосторожно и забыл, — продолжал он, обращаясь к Орденеру, — что между нами заключен союз братства, что мы не имеем более права вызывать друг друга. Рыцарь, вот вам моя рука. Признайтесь с своей стороны, что вы забыли, что говорите о сыне вице-короля его будущему шурину, поручику Алефельду.

При этом имени Шумахер, который до сих пор то равнодушно, то нетерпеливо наблюдал за обоими, вскочил со скалы, испустив крик негодования.

— Алефельд! Один из Алефельдов передо мною! Змея! Как это в сыне не узнал я гнусного отца? Оставьте меня в покое в моей тюрьме, я не был приговорен к наказанию видеть вас. Теперь недостает только, чтобы возле сына Алефельда я увидел сына Гульденлью... Низкие предатели! Зачем не явятся они сюда сами издеваться над моими слезами исступление и бешенства? Отродье! Проклятое отродье Алефельда, оставь меня!

Офицер, ошеломленный сперва пылкостью проклятий, вскоре вернул к себе самообладание и гневно вскричал:

— Молчи, старый безумец! Скоро ли ты кончишь свои демонские заклинания?

— Оставь, оставь меня, — продолжал старик, — неси с собой мое проклятие твоему роду и презренному роду Гульденлью.

— Чорт возьми, — вскричал офицер с бешенством, — ты наносишь мне двойное оскорбление!..

Орденер остановил поручика, который вышел из себя.

— Не забывайте уважение к возрасту даже в своем враге, поручик. У нас есть с вами счеты и я дам вам удовлетворение за обиды, нанесенные узником.

— Все равно, — отвечал Алефельд, — если вы берете на себя двойную ответственность. Поединок наш будет не на живот, а на смерть, так как мне придется отмстить и за самого себя и за моего зятя. Не забудьте, что подняв мою перчатку, вы в то же время подняли перчатку Орденера Гульденлью.

— Поручик Алефельд, — ответил Орденер, — вы заступаетесь за отсутствующих с жаром, свидетельствующим о вашей великодушной натуре. Отчего же вы так мало имеете сострадание к злополучному старцу, которому несчастия дают некоторое право быть несправедливым?

Алефельд обладал одной из тех натур, добрые качества которых пробуждаются похвалой. Пожав руку Орденера, он подошел к Шумахеру, который, обессиленный своей страстной вспышкой, упал на утес в объятие плачущей Этели.

— Господин Шумахер, — сказал офицер, — вы употребили во зло вашу старость, а я, быть может, употребил бы во зло мою молодость, если бы вы не нашли себе защитника. В это утро я в последний раз зашел в вашу тюрьму, чтобы объявить вам, что отныне, по особенному приказанию вице-короля, вы будете свободны и без надзора в этой башне. Примите эту добрую весть из уст врага.

— Уйдите, — сказал старый узник глухим голосом.

Поручик поклонился и ушел, внутренно довольный одобрительным взглядом Орденера.

Несколько минут Шумахер, потупив голову и, скрестив руки на груди, оставался погруженным в глубокую задумчивость; и потом вдруг устремил взор свой на Орденера, который молча стоял перед ним.

— Ну-с, — сказал он.

— Граф, Диспольсен был убит.

Голова старика снова упала на грудь. Орденер продолжал:

— Его убийца знаменитый разбойник Ган Исландец.

— Ган Исландец! — вскричал Шумахер.

— Ган Исландец! — повторила Этель.

— Он ограбил капитана, — продолжал Орденер.

— Итак, — спросил старик, — вы ничего не слыхали о железной шкатулке, запечатанной гербом Гриффенфельда?

— Нет, граф.

Шумахер опустил голову на руки.

— Я доставлю его вам, граф; положитесь на меня. Убийство произошло вчера утром, Ган бежал к северу. У меня есть проводник, знающий все его убежища, я сам часто проходил по горам Дронтгеймского округа. Я отыщу разбойника.

Этель побледнела. Шумахер встал, его взоры радостно сверкнули, как будто он убедился, что еще есть добродетель в людях.

— Прощай, благородный Орденер, — сказал он и, подняв руку к небу, исчез в чаще кустарника.

Обернувшись, Орденер увидал на утесе, потемневшем от моха, бледную Этель подобно алебастровой статуе на черном пьедестале.

— Боже мой, Этель! — вскричал он, бросившись к ней и поддерживая ее. — Что с вами?

— О! — отвечала трепещущая молодая девушка едва слышным голосом. — Если вы имеете хоть сколько-нибудь, не любви, но сожаление ко мне, если вы вчера не обманывали меня, если вы удостоили войти в эту тюрьму не для того, чтобы погубить меня, г. Орденер, мой Орденер, откажитесь, именем неба, именем ангелов заклинаю вас, откажитесь от вашего безумного намерения! Орденер, дорогой Орденер, — продолжала она, заливаясь слезами и склонив голову на грудь молодого человека, — принеси для меня эту жертву. Не преследуй этого разбойника, этого страшного демона, с которым ты намерен бороться. Зачем тебе преследовать его, Орденер? Скажи мне, разве не дороже для тебя всего на свете счастие злополучной девушки, которую ты еще вчера назвал своей возлюбленной супругой?..

Она замолчала. Рыдание душили ей горло. Обвив руками шею Орденера, она устремила свои молящие взоры в его глаза.

— Дорогая Этель, вы напрасно так убиваетесь. Бог покровительствует добрым стремлениям, я же руковожусь единственно только вашим благом. Эта железная шкатулка заключает в себе...

Этель с жаром перебила его:

— Моим благом! Твоя жизнь — мое единственное благо. Что станется со мною, если ты умрешь, Орденер?

— Но почему же ты думаешь, Этель, что я умру?..

— О! Ты не знаешь Гана, этого адского злодея! Знаешь ли ты, какое чудовище ждет тебя? Знаешь ли ты, что ему повинуются все силы тьмы? Что он опрокидывает горы на города? Что под его ногами рушатся подземные пещеры? Что от его дыхание тухнут маяки на скалах? И ты надеешься, Орденер, своими белыми руками, своей хрупкой шпагой восторжествовать над этим великаном, которого оберегают демоны?

— Но ваши молитвы, Этель, мысль, что я вступаю в борьбу за вас? Поверь, дорогая Этель, тебе чересчур преувеличили силу и могущество этого разбойника. Это такой же человек, как и мы, он убивает до тех пор, пока сам не будет убит.

— Ты не хочешь слушать меня? Ты не обращаешь внимание на мои слова? Но, подумай, что станется со мною, когда ты отправишься, когда ты будешь блуждать из одной опасности в другую, рискуя, Бог знает для чего, своей жизнью, которая принадлежит мне, выдавая свою голову чудовищу...

Тут повествование поручика с новой силой возникли в голове Этели; любовь и ужас придали им фантастические размеры. Голосом, прерывающимся от рыданий, она продолжала:

— Уверяю тебя, мой возлюбленный, тебя обманули, сказав, что это обыкновенный смертный. Орденер, ты должен больше верить мне, ты знаешь, что я не стану тебя обманывать. Тысячу раз пытались бороться с ним, и он уничтожал целые батальоны. О! Как хотелось бы мне, чтобы тебе сказали это другие, ты поверил бы им и не пошел бы.

Просьбы бедной Этели, без сомнение, поколебали бы отважную решимость Орденера, если бы она не была принята бесповоротно. Отчаянные слова, вырвавшиеся накануне у Шумахера, пришли ему на память и еще более укрепили его решимость.

— Дорогая Этель, я мог бы сказать вам, что не поеду и, тем не менее, исполнил бы мое намерение. Но я никогда не стану обманывать вас даже для того, чтобы успокоить. Повторяю, я ни минуты не должен колебаться в выборе между вашими слезами и вашим благом. Дело идет о вашей будущности, вашем счастье, вашей жизни, быть может, о твоей жизни, дорогая Этель...

Он нежно прижал ее к своей груди.

— Но что это значит для меня? — возразила Этель со слезами на глазах. — Дорогой мой Орденер, радость моя, ты знаешь, что ты составляешь для меня все, не накликай на нас ужасных, неизбежных бедствий из-за несчастий пустых и сомнительных. Что значит для меня счастье, жизнь?...

— Этель, дело идет также о жизни вашего отца.

Она вырвалась из его объятий.

— Моего отца? — повторила она упавшим голосом и бледнея.

— Да. Этель, этот разбойник, подкупленный, без сомнение врагами графа Гриффенфельда, захватил бумаги, потеря которых грозит жизни вашего отца и без того уже столь ненавистного его врагам. Я намерен отнять эти бумаги, а с ними и жизнь у этого разбойника.

Несколько минут бледная Этель не могла выговорить слова. Она больше не плакала; ее грудь высоко вздымалась от глубоких дыханий, она смотрела на землю мрачным, безучастным взором, каким смотрит осужденный на казнь в минуту, когда топор занесен над его головой.

— Моего отца! — прошептала она.

Медленно переведя взор свой на Орденера, она сказала:

— То, что ты замышляешь, не принесет пользы; но поступай, как приказывает тебе твой долг.

Орденер прижал ее к своей груди.

— О, благородная девушка, пусть сердца наши бьются вместе. Великодушный друг! Я скоро вернусь к тебе. Ты будешь моей; я хочу спасти твоего отца, чтобы заслужить от него название сына. Этель, возлюбленная Этель!..

Кто в состоянии изобразить то, что творится в благородном сердце, чувствующем, что оно понято другим, столь же благородным? И если любовь неразрывными узами скрепляет эти две великих души, кто может описать их невыразимое наслаждение? Кажется, соединившись в это краткое мгновение, они испытывают все счастье, все радости бытие, увенчанного прелестью великодушной жертвы.

— Иди, мой Орденер, и если ты не вернешься, безнадежная тоска убивает. У меня останется это горькое утешение.

Оба поднялись. Взяв под руку Этель, Орденер молча направился по извилистым аллеям мрачного сада.

Печально дошли они до двери башни, служившей выходом, и тут Этель, вынув маленькие золотые ножницы, отрезала прядь своих прекрасных черных волос.

— Возьми ее, Орденер; пусть она сопровождает тебя, пусть будет счастливее меня.

Орденер благоговейно прижал к губам этот подарок своей возлюбленной.

Этель продолжала:

— Думай обо мне, Орденер, я же стану молиться за тебя. Моя молитва, быть может, будет столь же могущественна пред Богом, как твое оружие над демоном.

Орденер стал на колени перед этим ангелом. Его сердце было чересчур полно чувств, чтобы он мог выговорить слово. Несколько минут сердца их бились одно подле другого. В минуту, может быть, вечной разлуки Орденер с печальным восторгом наслаждался счастьем обняв еще раз свою дорогую Этель. Наконец, запечатлев на бледном лбу молодой девушки целомудренный долгий поцелуй, он поспешно бросился под темные своды винтовой лестницы, услышав в последний раз это грустное и сладостное «прости»!

### X

После бессонно проведенной ночи, графиня Алефельд встала и полулежа на софе, размышляла о горьких плодах порочной страсти, преступлении, которое подтачивает жизнь наслаждениями без счастья, горем без утешения.

Она думала о Мусдемони, который некогда рисовался в ее воображении столь обольстительным и столь отвратительным теперь, когда она поняла его, когда узнала душу, скрываемую телом. Несчастная плакала не о том, что обманулась, но о том, что не могла более обманывать себя; плакала от сожаления, а не раскаяния, и слезы не облегчали ее.

В эту минуту дверь отворилась. Она поспешно отерла глаза и с раздражением обернулась, так как никого не велела пускать к себе. При виде Мусдемона, гнев ее сменился ужасом, который смягчился, когда она приметила с ним своего сына Фредерика.

— Матушка! — вскричал поручик. — Каким образом вы здесь? Я думал, что вы в Бергене. Разве наших прекрасных дам снова обуяла страсть к путешествиям?

Графиня заключила Фредерика в свои объятие, на которые, как все избалованные дети, он отвечал довольно холодно. Быть может, это было наиболее чувствительным наказанием для этой несчастной. Фредерик был ее любимое детище, единственное существо в мире, к которому она питала бескорыстную привязанность. Часто в падшей женщине, в которой заглохли все чувства супруги, сохраняется еще нечто материнское.

— Я вижу, сын мой, что, узнав о моем присутствии в Дронтгейме, вы поспешили увидеться со мною.

— О! Совсем нет. Мне наскучила крепость, и я прибыл в город, где встретил Мусдемона, который привел меня сюда.

Бедная мать глубоко вздохнула.

— Кстати, матушка, — продолжал Фредерик, — я рад, что увиделся с вами. Скажите, в моде ли еще банты из розовых лент у подола камзола? Привезли ли вы мне флакон с «Маслом Молодости», которое белит кожу? Вы, конечно, не забыли захватить с собой последний переводный роман, галуны чистого золота, которые я просил у вас для моего дорожного плаща огненного цвета, маленькие гребенки, которые употребляются теперь в прическе для поддержки буклей...

Несчастная женщина привезла сыну только свою любовь.

— Дорогой сын, я была больна, мои страдание помешали мне позаботиться о твоих прихотях.

— Вы были больны, матушка? Ну, а теперь вы себя лучше чувствуете?.. Кстати, как поживает стая моих нормандских псов? Готов побиться об заклад, что мою обезьяну не купают каждый вечер в розовой воде, и, наверно, вернувшись, я найду моего бильбаоского попугая мертвым... Без меня некому позаботиться о моих животных.

— По крайней мере ваша мать заботится о вас, сын мой, — сказала мать дрогнувшим голосом.

В эту минуту ангел-истребитель, ввергающий души грешников в вечные муки ада, и тот сжалился бы над скорбью, которая сжимала сердце злополучной графини.

Мусдемон смеялся в углу комнаты.

— Господин Фредерик, — сказал он, — я вижу, что ваша стальная шпага не хочет ржаветь в железных ножнах. Вы не утратили, не забыли в Мункгольмских башнях добрые предание Копенгагенских салонов. Но удостойте меня ответом, к чему все эти «Масла Молодости», розовые ленточки, эти маленькие гребенки, к чему все эти орудие осады, когда единственная женская крепость, заключенная в Мункгольмских башнях, неприступна?

— Клянусь честью, вы правы, — ответил Фредерик, смеясь. — Но, где не имел успеха я, там и сам генерал Шак потерпел бы крушение. Да разве возможно взять крепость, все части которой прикрыты и неусыпно охраняются? Что прикажете делать против нагрудника, который позволяет видеть только шею, против рукавов, скрывающих руки, так что только по лицу и кистям можно судить, что молодая девушка не черна, как мавританский император? Дорогой наставник, вы сами стали бы школьником. Поверьте, крепость неприступна, когда роль гарнизона исполняет у ней стыдливость.

— Правда, — согласился Мусдемон, — но нельзя ли заставить стыдливость сдаться на капитуляцию, пустив любовь на приступ, вместо того, чтобы ограничивать блокаду волокитством.

— Напрасный труд, мой милейший. Любовь уже засела в ней и подкрепляет стыдливость.

— А! Господин Фредерик, это новость. С любовью к вам...

— Кто вам сказал Мусдемон, что ко мне?..

— Так к кому же? — вскричали в один голос Мусдемон и графиня, которая до сих пор слушала молча их разговор и которой слова поручика напомнили об Орденере.

Фредерик хотел уже отвечать и обдумывал пикантный рассказ о вчерашней ночной сцене, как вдруг молчание, предписываемое законами рыцарства, пришло ему на ум и изменило веселость его на смущение.

— Право, не знаю к кому, — сказал он, запинаясь, — может быть к какому-нибудь мужику... вассалу...

— К какому-нибудь гарнизонному солдату? — спросил Мусдемон, покатываясь со смеху.

— Как, сын мой! — вскричала в свою очередь графиня. — Вы убеждены, что она любит крестьянина, вассала?.. Какое счастие, если бы вы были правы!

— О, я в этом нисколько не сомневаюсь, хотя он и не гарнизонный солдат, — добавил поручик обиженным тоном. — Но я настолько убежден в этом, что прошу вас, матушка, сократить мое бесполезное пребывание в этом проклятом замке.

Физиономия графини прояснилась, когда она узнала о падении молодой девушки. Поспешный отъезд Орденера Гульденлью в Мункгольм представился тогда ей совершенно в ином свете. Она предположила в нем честь, оказанную ее сыну.

— Фредерик, вы теперь же расскажете нам подробности любовных похождений Этели Шумахер. Это ничуть не изумляет меня: мужичка может любить только мужика. А пока не проклинайте зáмок, доставивший вам вчера случай видеться с известной личностью, сделавшей первый шаг к сближению с вами.

— Что, матушка! — вскричал поручик, широко раскрыв глаза. — Какой личностью?

— Оставь эти шутки, сын мой. Разве никто не посещал вас вчера? Вы видите, что мне все известно.

— Действительно, лучше чем мне, матушка. Чорт меня возьми, если я видел вчера какое другое лицо, кроме смешных рож, украшающих карниз старых башен.

— Как, Фредерик, вы никого не видели?

— Никого, матушка, ей Богу!

Фредерик, не упоминая о своем сопернике в башне, повиновался закону молчания; и притом какое значение мог иметь этот мужик.

— Как! — вскричала графиня. — Сын вице-короля не был вчера вечером в Мункгольме?

Поручик расхохотался.

— Сын вице-короля! Право, матушка, вы или бредите, или смеетесь надо мною.

— Ничуть, сын мой. Кто был вчера на карауле?

— Я сам, матушка.

— И вы не видели барона Орденера?

— И не думал! — ответил поручик.

— Но подумайте, сын мой, что он мог прибыть инкогнито, что вы никогда его не видали, так как воспитывались в Копенгагене, а он в Дронтгейме; вспомните, что говорят о его капризах, причудах. Убеждены ли вы, сын мой, что не видели никого?

Фредерик колебался несколько мгновений.

— Нет, — вскричал он, — никого! Мне нечего более прибавить.

— Но в таком случае, — возразила графиня, — барон, без сомнения, не был в Мункгольме?

Мусдемон, сперва изумленный не менее Фредерика, не проронил ни одного слова из разговора.

— Позвольте, благородная графиня, — перебил он мать молодого Алефельда, — господин Фредерик, скажите, пожалуйста, как зовут вассала, любовника дочери Шумахера?

Он повторил свой вопрос, так как Фредерик, погруженный в задумчивость, не слушал его.

— Я не знаю... или скорее... Да, я не знаю.

— Но почему вы знаете, что она любит вассала?

— Разве я это сказал? Вассала? Ну, положим, вассала...

Замешательство поручика росло с каждой минутой. Этот допрос, мысли, порождаемые им в нем, обет молчание приводили его в смущение, с которым он боялся не совладать...

— Клянусь честью, господин Мусдемон, и вы, достойная матушка, если страсть к допросам теперь в моде, забавляйтесь промеж себя, допрашивая друг друга. Мне же решительно нечего более вам прибавить.

Поспешно открыв дверь, он исчез, оставив их теряться в бездне догадок и предположений. Заслыша голос Мусдемона, который звал его, он опрометью бросился на двор.

Вскочив на лошадь, он направился к гавани, откуда решился снова переправиться в Мункгольм, надеясь застать там незнакомца, который заставил погрузиться в глубокие размышление один из самых легкомысленных умов одной из наиболее легкомысленных столиц.

— Если это действительно был Орденер Гульденлью, — рассуждал он сам с собой, — в таком случае моя бедная Ульрика... Но, нет, невозможно, чтобы он был так глуп, предпочтя бедную дочь государственного преступника богатой дочери всемогущего министра. Во всяком случае дочь Шумахера не более, как одна из его прихотей. Ничто не мешает, имея жену, завести в то же время и любовницу... это даже бонтонно. Но нет, это не Орденер. Сын вице-короля не нарядился бы в такой потасканный камзол; а это старое черное перо без пряжки, истрепанное ветром и дождем! А этот широкий плащ, из которого вышла бы палатка! Эти всклоченные волосы, незнакомые ни с гребенкой, ни с прической! Эти сапоги с железными шпорами, забрызганные грязью и пылью! Нет, решительно это на него не похоже. Барон Торвик, кавалер ордена Даннеброга; этот же незнакомец не имел никакого знака отличия. Будь я кавалером ордена Даннеброга, мне кажется, я даже спал бы в орденской цепи. О, нет! Он даже не слыхал о «Клелии». Нет, это не сын вице-короля.

### XI

— Ну, кто там еще? Ты, Поэль! Кто тебя послал?

— Ваше превосходительство забыли, что сами изволили приказать мне.

— Да? — пробормотал генерал. — А! Я хотел, чтобы ты подал мне этот картон.

Поэль передал губернатору картон, который тот сам легко мог достать, протянув только руку.

Генерал машинально отложил картон, не раскрывая его, и рассеянно перелистал несколько бумаг.

— Поэль, что это хотел я спросить... Который час?

— Шесть часов утра, — ответил слуга генералу, перед глазами которого висели часы.

— Что, бишь, я хотел сказать тебе, Поэль... Что нового во дворце?

Генерал продолжал рассматривать бумаги, с озабоченным видом надписывая несколько слов на каждой.

— Ничего, ваше превосходительство, не считая того, что все еще ждут моего барина, отсутствие которого, видно, беспокоит и генерала.

Генерал поднялся из-за стола, с досадой взглянув на Поэля.

— Ты плохо видишь, Поэль. Мне беспокоиться об Орденере! Мне известны причины его отсутствие, и пока я совсем не жду его.

Генерал Левин Кнуд так ревниво оберегал права своей власти, что они казались ему попранными, если какой-нибудь подчиненный дерзал угадать его тайную мысль и думать, что Орденер действовал без его ведома.

— Ступай, Поэль, — продолжал он.

Слуга вышел.

— Право, — вскричал губернатор, оставшись один, — Орденер заходит слишком далеко. Пытаясь согнуть клинок, ломает его. Заставить меня провести ночь в бессоннице и нетерпении! Подвергнуть генерала Левина сарказмам канцлерши, догадкам лакее! И все для того, чтобы старый враг получил первый объятие, на которые имеет право старый друг. Орденер! Орденер! Прихоти убивают свободу! Пусть только вернется, пусть только покажется, чорт меня побери, если я не встречу его как порох встречает огонь. Нет, каково! Подвергать губернатора Дронтгейма догадкам слуги, сарказмам канцлерши! Пусть только появится!..

Генерал продолжал помечать бумаги, не читая их, до такой степени он был раздосадован.

— Генерал, батюшка! — вскричал знакомый голос.

Орденер сжимал в своих объятиях старика, который не мог удержаться от радостного восклицания.

— Орденер, мой храбрый Орденер! Чорт побери! Как я рад!.. Я рад, барон, — продолжал генерал, вдруг переменив тон, — что вы умеете обуздывать свои чувства. Кажется, вы были рады свидеться со мною и если воздержались от этого в течение суток, то лишь для того, чтобы уметь сдерживать свои порывы.

— Батюшка, не вы ли часто говаривали мне, что враг в несчастии предпочтительнее счастливого друга. Я прибыл сюда из Мункгольма.

— Не спорю, — возразил генерал, — если несчастие действительно грозит врагу. Но будущность Шумахера...

— В большей опасности, чем когда-либо. Достойный генерал, гнусный заговор составлен против несчастного. Его бывшие друзья хотят погубить его. Его исконный враг должен его спасти...

Генерал, выражение лица которого постепенно смягчалось, перебил Орденера:

— Прекрасно, мой милый, но о чем ты толкуешь? Шумахер находится под моей защитой. Какие друзья? Какие заговоры?..

Орденеру затруднительно было дать определенный ответ на этот вопрос. Он обладал крайне скудными, слишком недостаточными сведениями о положении человека, для которого рисковал своей жизнью. Многие нашли бы, что он поступает неразумно, но молодежь поступает так, как она считает справедливым инстинктивно, а не по расчету; и при том на этом свете, где благоразумие так сухо, где мудрость так иронична, кто станет отрицать, что великодушие не есть безумие? Все относительно на земле, где все имеет свои границы; сама добродетель почиталась бы величайшей глупостью, если бы над людьми не было Бога. Орденер был в том счастливом возрасте, который еще не утратил веры и доверия к себе; ради последнего он рисковал своей жизнью. Генерал принял его доводы, которые не выдержали бы холодной критики.

— Какие заговоры? Какие друзья? Дорогой батюшка. В несколько дней я все это разузнаю и поспешу вам сообщить. Я намерен отправиться сегодня вечером.

— Что! — вскричал старик. — Ты уделишь мне только несколько часов! Но куда и зачем ты отправляешься, мой милый сын?

— Добрый батюшка, вы иногда позволяли мне делать добро в тайне.

— Да, мой храбрый Орденер; но ты уезжаешь, почти не зная зачем, и притом вспомни, какое важное обстоятельство требует твоего...

— Отец дал мне месяц на размышление, я посвящаю его на пользу другого. Доброе дело приносит доброе наставление. Впрочем, по возвращении мы посмотрим.

— Что! — возразил генерал с озабоченным видом. — Разве этот союз не нравится тебе? Говорят, Ульрика Алефельд так хороша собой! Скажи мне ты ее видел?

— Кажется, — ответил Орденер, — она действительно хороша собой.

— Ну-с! — спросил губернатор.

— Ну-с, — ответил Орденер, — она не будет моей женой.

Эти холодные, решительные слова как громом поразили генерала. Подозрение гордой графини пришли ему на память.

— Орденер, — сказал он, покачав головой, — мне надо быть умнее, так как я наглупил. Право, я выжил из ума от старости! Орденер! Узник имеет дочь...

— О! Генерал, — перебил молодой человек, — я хотел поговорить с вами о ней. Батюшка, я прошу вашего покровительства этой беспомощной, притесняемой девушке.

— Действительно, — серьезно заметил губернатор, — твои просьбы пылки.

Орденер несколько опомнился.

— О! Разве может быть иначе, когда просишь за злополучную узницу, которую хотят лишить жизни и, что еще дороже жизни, чести?..

— Жизни! Чести! Но ведь я губернатор города, а между тем пребываю в неведении об этих ужасах. Объясни, что ты хочешь сказать.

— Дорогой батюшка, жизнь узника и его дочери беззащитна, ей угрожает адский заговор...

— Но это очень важно; есть у тебя доказательства?

— Старший сын могущественного рода находится теперь в Мункгольме, чтобы обольстить графиню Этель... Он сам признался в этом.

Генерал попятился.

— Боже мой, бедная, злополучная девушка! Орденер! Этель и Шумахер под моим покровительством. Кто этот презренный, какой это род?

Орденер приблизился к генералу и сжал ему руку.

— Род Алефельдов.

— Алефельдов! — повторил старый губернатор. — Да, сомнение быть не может, поручик Фредерик находится теперь в Мункгольме. Дорогой Орденер, и тебя хотят породнить с этой семьей. Я понимаю твое отвращение, дорогой Орденер.

Скрестив руки, старик оставался несколько минут в задумчивости, затем, подойдя к Орденеру, он прижал его к своей груди.

— Молодой человек, ты можешь ехать; те, которым ты покровительствуешь, не останутся беззащитны в твое отсутствие; я заменю тебя. Да, поезжай, я одобряю все твои поступки. Эта адская графиня Алефельд теперь здесь, может быть ты знаешь об этом?

— Высокородная графиня Алефельд, — доложил слуга, растворяя дверь.

Услышав это имя, Орденер машинально отступил в глубину комнаты, и графиня не приметив его присутствие, вскричала:

— Генерал, ваш воспитанник издевается над вами. Он совсем не был в Мункгольме.

— Неужели! — сказал генерал.

— Ах, Боже мой! Мой сын Фредерик только что вышел из дворца; он был вчера на дежурстве в башне и не видел никого.

— Неужели, графиня? — повторил генерал.

— Так что, генерал, вам нечего ждать вашего Орденера, — продолжала графиня с торжествующим видом.

Губернатор оставался серьезен и холоден.

— Я действительно не жду его более, графиня.

— Генерал, — сказала графиня, обернувшись, — я думаю, что мы одни... Кто это?

Графиня устремила испытующий взор на Орденера, который поклонился ей.

— Неужели это... — продолжала она. — Я видела его только раз... но... если бы не этот костюм, можно было бы... Генерал, это сын вице-короля?

— Он сам, графиня, — ответил Орденер, снова поклонившись.

Графиня улыбнулась.

— В таком случае позвольте даме, которая вскоре получить над вами большие права, спросить, где вы были вчера, граф...

— Граф! Мне не верится, графиня, чтобы я потерял моего отца.

— О, вы не поняли меня. Гораздо лучше сделаться графом, женившись, чем потеряв отца.

— Ну, одно другого стоит, графиня.

Графиня, несколько смутилась, однако рассмеялась.

— О, мне правду сказали о его нелюдимости. Он привыкнет к дамским подаркам, когда Ульрика Алефельд повесит ему на шею цепь ордена Слона.

— Действительно цепь! — заметил Орденер.

— Вот увидите, генерал Левин, — продолжала графиня с принужденным смехом, — ваш несговорчивый воспитанник не захочет принять от дамы и чин полковника.

— Вы правы, графиня, — возразил Орденер, — человек, умеющий владеть шпагой, не должен быть обязан своими аксельбантами юбке.

Лицо графини совсем омрачилось.

— О! о! Но откуда вы явились, барон? Правда ли, что ваше высочество не были вчера в Мункгольме?

— Графиня, я не всегда отвечаю на все вопросы. Ну, генерал, мы увидимся...

С этими словами, пожав руку старику и поклонившись графине, Орденер вышел, оставив графиню, изумленную его выходкой, наедине с губернатором, раздраженным тем, что он узнал.

### XII

Если читатель перенесется теперь на дорогу, ведущую от Дронтгейма к Сконгену, дорогу узкую и каменистую, пролегающую вдоль Дронтгеймского залива вплоть до деревушки Вигла, он не замедлит услышать шаги двух путников, вышедших под вечер из так называемых Сконгенских ворот и довольно поспешно взбирающихся по уступчатым холмам, по которым извивается как змея дорога в Виглу.

Оба закутаны в плащи. Один шагает твердой юношеской поступью, держась прямо и подняв голову; наконечник сабли высовывается из под полы его плаща и, не смотря на сгустившиеся сумерки, на шляпе его заметно перо, развевающееся по ветру. Другой повыше ростом своего товарища, но слегка сгорблен; на спине его можно приметить горб, образованный очевидно котомкой, скрытой под большим черным плащом, чересчур зубчатый подол которого свидетельствует о долголетней, верной службе. Все вооружение его ограничивается длинной палкой, которою он облегчает свою неровную, торопливую походку.

Если ночная темнота препятствует читателю различить черты обоих путников, он быть может узнает их по разговору, который начал один из них после часового скучного пути, проведенного в молчании.

— Ну, молодой человек, мы находимся теперь в таком пункте, откуда можно видеть сразу и башню Виглы и колокольни Дронтгейма. Перед нами рисуется на горизонте черная масса, это башня; а позади нас кафедральный собор, стрельчатые колонны которого выдаются на более светлом небе на подобие ребер мамонтова скелета.

— Далеко ли от Виглы до Сконгена? — спросил другой путник.

— Нам надо еще миновать Ордальс, так что раньше трех часов утра мы не будем в Сконгене.

— Который это час пробило сию минуту?

— Праведный Боже, вы заставили меня содрогнуться. Да, это звук Дронтгеймского колокола доносится к нам по ветру. Это верный признак грозы. Северо-западный ветер нагоняет тучи.

— Действительно, звезд уж не видно позади нас.

— Ускорим шаги, благородный господин, прошу вас. Гроза приближается, а в городе быть может уже знают про обезображенный труп Жилля и о моем бегстве. Ускорим шаги.

— Пожалуй. Старик, твоя ноша, кажется, тяжела, давай-ка ее сюда, я моложе и сильнее тебя.

— Нет, благодарю вас, благородный господин; орлу не подобает носить панцирь черепахи. Я не достоин отягощать вас моей ношей.

— Но если она не под силу тебе, старик?.. Она кажется довольно увесистой. Что там у тебя? Когда ты сейчас споткнулся, там зазвенело точно железо.

Старик поспешно отошел от молодого человека.

— Зазвенело! О, нет, это вам почудилось. Там ничего нет... кроме съестного, белья... Нет, моя ноша нисколько не отягощает меня.

Доброжелательное предложение молодого человека, казалось, внушило его старому спутнику ужас, который он пытался скрыть.

— Ну, как знаешь, — ответил молодой человек, ничего не примечая.

Старик успокоился и поспешил переменить разговор.

— Да, господин, довольно скучновато беглецам брести ночью по дороге, которая днем представляется путнику столь занимательной. По берегу залива, влево от нас, находится гибель рунических камней, на которых можно изучать письмена, начертанные, как гласит предание, богами и великанами. Вправо от нас, позади скал, обрамляющих дорогу, простирается Скиольдское соляное болото, очевидно сообщающееся с морем каким-нибудь подземным каналом, так как в нем ловится морской червь, эта достопримечательная рыба, которая, по наблюдениям вашего слуги и проводника, питается песком. Мы приближаемся теперь к башне Виглы, в которой король-язычник Вермонд приказал изжарить груди святой великомученицы Этельреды на горящем истинном кресте, привезенном в Копенгаген Олаем III и отвоеванном норвежским королем. Говорят, что с тех пор тщетно пытались превратить эту проклятую башню в часовню; какие бы кресты там ни воздвигали, небесный огонь тотчас же истреблял их.

В это мгновение сильная молния осветила залив, холмы, скалы, башню и исчезла, прежде чем взоре путников мог различить какой-нибудь из этих предметов. Они невольно остановились и почти вслед за молнией раздался страшный громовой удар, эхо которого раскатилось с тучи на тучу на небе, с скалы на скалу по земле.

Наши спутники взглянули на небо: звезды померкли, тяжелые тучи быстро катились одна на другую и гроза, подобно лавине, разразилась над их головою. Сильный ветер, гнавший тучи, не коснулся еще деревьев, на листву которых, не волнуемую малейшим дуновением, еще не пало ни одной капли дождя. С высоты доносился бурный гул, который, сливаясь с ревом залива, один нарушал молчаливую ночную темноту, усилившуюся от мрака непогоды.

Это мятежное затишье вдруг было прервано каким-то рычаньем, послышавшимся невдалеке от обоих путников; старик весь затрясся от ужаса.

— Всемогущий Боже! — вскричал он, схватив руку молодого человека. — Это дьявольский смех бури, или голос...

Новый блеск молнии, новый раскат грома прервали его слова. Гроза забушевала яростно, как будто ожидала только этого сигнала. Путники еще плотнее завернулись в плащи, чтобы защититься от дождя, который потоками лил из туч, и от густого песка, вихрем вздымаемого с дороги.

— Старик, — произнес молодой путешественник, — при свете молнии я только что успел приметить вправо от нас башню Виглы; свернем с дороги и поищем там убежища.

— Убежище в проклятой башне! — вскричал старик. — Да хранит нас святой Госпиций! Подумайте, молодой человек, эта башня давно покинута.

— Тем лучше, старик. Нам не придется ждать у дверей.

— Подумайте, какое гнусное преступление осквернило ее!..

— Так что же, она очистится, дав нам убежище. Ну, старина, следуй за мною. Сказать откровенно, в такую ночь я попросил бы убежища в разбойничьем притоне.

Не обращая внимание на предвещание старика, он схватил его за руку и направился к зданию, которое при частом блеске молнии виднелось невдалеке.

Приблизившись к ней, они приметили свет в одной из бойниц башни.

— Посмотри, — заметил молодой путешественник, — эта башня обитаема. Теперь ты, без сомнение, успокоишься.

— Господи, Боже мой! — вскричал старик. — Куда вы ведете меня? Святой Госпиций! Не попусти мне войти в вертеп демона!

Путники находились у подножие башни. Молодой человек сильно постучал в новую дверь этой мрачной развалины.

— Успокойся, старина; должно быть какой-нибудь благочестивый отшельник поселился тут и своим присутствием освятил это оскверненное жилище.

— Нет, — отвечал ему спутник, — я не войду. Отвечаю вам, что никакой отшельник не может здесь жить, если только нет у него вместо четок одной из семи цепей Вельзевула.

Между тем, свет переходил из одной бойницы в другую и наконец блеснул сквозь замочную скважину двери.

— Ты запоздал, Николь! — закричал чей-то пронзительный голос. — Виселицу ставят в полдень, а шести часов достаточно, чтобы придти из Сконгена в Виглу. Разве еще подвернулась какая работа?

Вопрос был сделан в ту минуту, как дверь отворилась. Женщина, открывшая ее, приметив вместо того, которого ожидала, двух незнакомцев, с угрожающим и испуганным криком отступила назад.

Наружность женщины была мало успокоительна. Она была высокого роста и держала над головой железный ночник, освещавший ее физиономию. Синеватые черты ее лица, сухая, угловатая фигура сильно напоминали труп, а глубоко запавшие в орбиты глаза сверкали зловещим блеском, подобно погребальным факелам. На ней надета была красная саржевая юбка, из-под которой виднелись голые ноги и которая выпачкана была пятнами более яркой красноты. Ее исхудалую грудь прикрывала мужская куртка, с обрезанными по локоть рукавами.

Ветер, врываясь в открытые настежь двери, развевал на голове ее длинные, седые волосы, слегка сдерживаемые мочалкой, что придавало еще более дикости свирепому выражению ее физиономии.

— Добрая женщина, — сказал младший из путников, — дождь льет как из ведра, у тебя есть кровля, у нас найдется золото.

Его старый спутник дернул его за плащ и пробормотал тихим голосом:

— Милостивый господин! Что это вы говорите? Если это не дьявольское жилье, так наверно притон какого-нибудь разбойника. Наше золото не только не спасет нас, а скорее погубит.

— Молчи, — произнес молодой человек и, вытащив из кармана кошелек, блеснул им перед глазами женщины, повторяя свою просьбу.

Та, опамятовавшись несколько от удивление, рассматривала попеременно то одного, то другого пристальным, угрюмым взором.

— Чужестранцы! — вскричала она, как бы не слыша их слов. — Разве духи, покровительствовавшие вам, отшатнулись от вас? Что нужно вам от проклятых обитателей проклятой башни? Не люди указали вам на эти развалины для убежища, каждый сказал бы вам: «Лучше блеск молнии, чем очаг башни Виглы». Единственное живое существо, которое входит сюда, не имеет доступа в жилища других людей, оно покидает свое уединение только для народной толпы, живет только для смерти. Люди шлют ему проклятие, хотя оно мстит за них и существует лишь их преступлениями. Самый низкий злодей, в минуту казни, слагает на него всеобщее презрение и еще считает себя в праве прибавить к нему свое. Чужеземцы! Я считаю вас чужеземцами, так как вы не отшатнулись с ужасом от этой башни, не тревожьте долее волчицу с волчатами; вернитесь на дорогу, по которой ходят другие люди и если не хотите, чтобы вас избегали ваши братья, не говорите им, что ночник башни Виглы освещал ваше лицо.

С этими словами, указав жестом на дверь, она приблизилась к путникам.

Старик дрожал всеми членами и с умоляющим видом смотрел на своего молодого товарища, который, не поняв торопливых, загадочных слов старухи, счел ее помешанной и не имел ни малейшего желание вернуться под ливень, бушевавший с удвоенной силой.

— Клянусь честью, добрая хозяюшка, ты описала нам такую интересную личность, что я не хочу упустить случай познакомиться с ней.

— Молодой человек, знакомство с ним завязывается скоро, но еще скорее оканчивается. Если злой дух подстрекает вас, убейте живое существо, или оскверните мертвеца.

— Оскверните мертвеца! — повторил старик дрожащим голосом, прячась за своего спутника.

— К чему такие сильные средства, когда проще остаться здесь. Надо быть сумасшедшим, чтобы продолжать путь в такую погоду.

— Но еще безумнее искать убежища от непогоды в таком месте, — пробормотал старик.

— Несчастные! Не стучитесь в дверь того, кто отворяет только дверь могилы.

— Ну, старуха, если бы действительно для нас зараз отворилась дверь могилы, то и в таком случае я не испугался бы твоих зловещих слов. Я полагаюсь лишь на свою саблю. Ну, ветер холоден, закрывай двери и возьми себе это золото.

— Э! На что мне ваше золото! — возразила старуха. — Оно имеет цену в ваших глазах, для меня же не стоит и олова. Ну, оставайтесь за золото, оно может защитить вас от небесной грозы, но не спасет от людского презрения. Оставайтесь; вы платите за гостеприимство дороже, чем платят за убийство. Подождите меня тут минутку и давайте ваше золото. Право, еще в первый раз вижу я здесь человека, у которого руки полны золота и не запятнаны в крови.

С этими словами, поставив свой ночник и затворив дверь, она исчезла под сводами черной лестницы, видневшейся в глубине комнаты.

Между тем как старик дрожал от ужаса и, призывая на помощь святого Госпиция, от всей души тихо проклинал безрассудство своего молодого спутника, тот, взяв ночник, принялся рассматривать обширное круглое помещение, в котором они очутились.

То, что увидал он, подойдя ближе к стене, заставило его содрогнуться, и старик, следивший за ним взором, вскричал:

— Боже мой! Ведь это виселица!

Большая виселица действительно прислонена была к стене и упиралась в высокий сырой свод.

— Да, — согласился молодой человек, — а вот деревянные и железные пилы, цепи, железные ошейники, вот кобыла и висящие над нею огромные клещи.

— Святители! — застонал старик, — куда это мы попали.

Молодой человек хладнокровно продолжал свой осмотр.

— Вот сверток веревок, вот горны и котлы; эта часть стены увешана щипцами и ножами; вот кожаные кнуты с стальными наконечниками, топор, дубина...

— Это адская кладовая! — перебил старик, перепуганный этим страшным перечислением.

— А вот, — продолжал молодой человек, — медные насосы, колеса с бронзовыми зубцами, ящик с большими гвоздями, домкрат... Действительно, зловещая обстановка. Я раскаиваюсь, старик, что ты попал сюда из-за моей неосторожности.

— Теперь уж поздно раскаиваться.

Старик помертвел от страха.

— Не пугайся; что за беда, где ты, когда я с тобою.

— Хороша защита! — пробормотал старик, в котором сильнейший страх превозмог боязнь и уважение к его молодому спутнику. — Сабля в тридцать дюймов против виселицы в тридцать локтей.

Старуха возвратилась и, взяв ночник, сделала путникам знак следовать за нею. Они с трудом поднимались по узкой, полуразвалившейся лестнице, вделанной в толще башенной стены. У каждой бойницы, порыв ветра и дождя угрожал потушить колеблющееся пламя ночника, который старуха прикрывала своими длинными прозрачными руками. Не раз споткнувшись на камни, которые катились под их ногами и в тревожном воображении старика рисовались человеческими костями, разбросанными по ступеням, достигли они первого этажа здание, круглой комнаты, похожей на нижнее помещение.

Посредине комнаты топился очаг, дым которого, улетая в отверстие, проделанное в потолке, не портил слишком заметно воздуха. Пламя его, сливающееся с пламенем железного ночника, и было примечено путниками на дороге. Кусок еще сырого мяса жарился на вертеле пред огнем очага.

— На этом гнусном очаге, — проговорил старик, с ужасом обращаясь к своему спутнику, — на угольях истинного креста сожжены были члены мученицы.

Стол топорной работы находился невдалеке от очага. Старуха пригласила путников сесть за него.

— Чужестранцы, — сказала она, ставя перед ними ночник, — ужин скоро будет готов, а мой муж наверно торопится домой, чтобы не повстречаться с полуночным духом, проходя мимо проклятой башни.

Орденер — читатель без сомнение узнал его и его проводника Бенигнуса Спиагудри — мог на свободе рассмотреть странный костюм своего спутника, который, опасаясь быть узнанным и арестованным, изощрил на нем все богатство своей фантазии. Несчастный беглый смотритель Спладгеста переменил свою одежду из оленьей кожи на полный черный костюм, оставленный некогда в Спладгесте знаменитым дронтгеймским грамматиком, утопившемся с горя, что не мог добиться, почему Jupiter имеет в родительном падеже Jоvus. Его орешниковые башмаки сменились ботфортами почталиона, раздавленного лошадьми, в которых его тонкие ноги помещались так свободно, что он не мог бы ступить шагу, если бы не набил их сеном. Огромный парик молодого французского путешественника, убитого грабителями у Дронтгеймских ворот, покрывал его плешивую голову и расстилался по его узким и неравным плечам. Один из глаз залеплен был пластырем, а благодаря банке румян, найденной им в кармане старой девы, умершей от любви, его бледные впалые щеки покрылись необычайным румянцем, распространившимся от дождя до самого подбородка.

Между тем как Орденер рассматривал своего проводника, Спиагудри, прежде чем сел за стол, заботливо положил под себя пакет, который нес на спине, завернулся в свой старый плащ и все свое внимание сосредоточил на куске жаркого, приготовляемого хозяйкой, и на которое он взглядывал по временам с беспокойством и ужасом, произнося отрывистые бессвязные фразы:

— Человеческое мясо!.. Horrendas epulas!..[[14]](#footnote-14) Людоеды!.. Ужин Молоха!.. Nec pueros coram populo Меdеа trucidet...[[15]](#footnote-15) Куда мы попали? Атрей... Друидесса... Ирменсул... Дьявол поразил Ликаона...

Вдруг он вскричал:

— Праведное небо! Слава Богу! Я вижу хвост!

Орденер, слушая его внимательно и почти следуя за течением его мыслей, не мог удержаться от улыбки.

— В этом хвосте нет ничего утешительного. Быть может это часть дьявола.

Спиагудри не слыхал этой шутки; взгляд его устремлен был в глубину комнаты. Он задрожал и нагнулся к уху Орденера.

— Господин, посмотрите, там, в глубине, на ворохе соломы; в тени...

— Ну? — спросил Орденер.

— Три голых недвижимых тела... Три детских трупа?..

— Стучатся в дверь, — закричала старуха, сидевшая на корточках у очага.

Действительно, учащенные удары в дверь послышались среди шума и завыванья свирепеющей бури.

— Наконец-то! Это Николь!

С этими словами старуха схватила ночник и поспешно спустилась вниз.

Наши путешественники не успели обменяться ни одним словом, услыхав внизу смешанный шум голосов, среди которых явственно раздались следующие слова, произнесенные тоном, заставившим содрогнуться Спиагудри.

— Молчи, старуха, мы останемся. Молния влетает в запертые двери.

Спиагудри придвинулся к Орденеру.

— Господин! — простонал он. — Мы погибли!..

Стук шагов послышался на лестнице и в комнату вошли два человека в священнических одеждах, в сопровождении испуганной хозяйки.

Один из них высокого роста носил черный костюм и круглую прическу лютеранского пастора; другой, малорослый, одет был в рясу отшельника, опоясанную веревкой. Из под капюшона, спускавшегося на его лицо, виднелась черная борода, а руки были спрятаны в длинных рукавах рясы.

При виде миролюбивой наружности вновь прибывших, Спиагудри пришел в себя от ужаса, внушенного ему странным голосом одного из них.

— Не тревожься, милая, — сказал хозяйке священник, — христианские пастыри воздают добром даже тем, кто им наносит вред; станут ли они вредить тем, кто оказывает добро? Мы смиренно умоляем дать нам убежище. Если преподобный учитель, мой спутник, только-что резко ответил тебе, он конечно виноват пред тобою, так как он забыл наложенный на нас обет умеренности и воздержания. Увы! И самые святые люди не без греха. Я заблудился на дороге из Сконгена в Дронтгейм, ночью, без проводника, не зная где укрыться от непогоды. Преподобный брат, встреченный мною, тоже вдали от его обители, удостоил разрешить мне отправиться с ним сюда. Он восхвалял мне твое радушное гостеприимство, добрая женщина, и очевидно не ошибся. Не говори нам подобно злому пастырю: Аdvеnа, сur intras?[[16]](#footnote-16) Приюти нас, достойная женщина, и Господь убережет жнивы твои от грозы, Господь пошлет стадам твоим убежище от непогоды, подобно тому, как ты приютила заблудившихся странников.

— Старик, — сурово прервала его хозяйка, — у меня нет ни жатвы, ни стада.

— Ну, если ты бедна, Господь благословляет бедняка прежде богача. Долго лет проживешь ты со своим мужем в почете и уважении не за свое богатство, а за добродетели. Дети твои подрастут, пользуясь всеобщей любовью, и пойдут по стопам отца...

— Молчи! — вскричала женщина. — Все останется так, как есть, и дети наши состарятся, презираемые людьми до конца нашего рода, из поколение в поколение. Молчи, старик! Благословение обращаются для нас в проклятия.

— Силы небесные! — вскричал священник. — Кто же вы? В каких преступлениях проводите вашу жизнь?

— Что называешь ты преступлением? И что добродетелью? Здесь мы пользуемся привилегией: мы не можем быть добродетельными и не можем совершать преступления.

— Разум этой женщины омрачился, — сказал священник, обратившись к малорослому отшельнику, сушившему перед очагом свою шерстяную рясу.

— Нет, старик, — возразила женщина, — узнай теперь, где ты находишься. Лучше внушить ужас, чем сострадание. Я не помешанная, я жена...

Звучный отголосок сильного удара в дверь башни заглушил, последние слова старухи, к величайшему разочарованию Спиагудри и Орденера, которые молча, но внимательно слушали разговор.

— Да будет проклят, — пробормотала женщина сквозь зубы, — синдик Сконгена, отведший нам для жилья эту башню при дороге! Быть может, и это не Николь.

Все же она взяла ночник.

— Что за беда, если и этот окажется путешественником? Ручей может течь там, где пронесся поток.

Оставшись одни, четыре путешественника принялись осматривать друг друга при свете очага. Спиагудри, испуганный сперва голосом отшельника, но затем успокоившийся при виде его черной бороды, быть может, снова затрясся бы всем телом, если бы приметил, каким пристальным взглядом осматривал тот его из-под своего капюшона.

Воцарившееся молчание прервано было вопросом священника.

— Брат отшельник, я принял вас за католического священника, уцелевшего от последнего гонения, и полагал, что вы возвратились в свой скит, когда, к моему счастью, я повстречался с вами. Не можете ли вы сказать мне, где мы находимся?

Полуразрушенная дверь с лестницы отворилась, прежде чем брат отшельник успел ответить на вопрос.

— Жена, гроза собирает толпу и за нашим гнусным столом, от грозы ищут убежища и под нашей проклятой кровлей.

— Николь, — отвечала старуха, — я не могла помешать...

— Да что нам за дело до гостей, коли у них есть чем платить? Не все ли равно, как заработать золото, дав ли приют путешественнику или задушив разбойника.

Говоривший остановился в дверях, так что четыре гостя могли хорошо рассмотреть его. Это был человек колоссального телосложение, одетый подобно хозяйке в красное саржевое платье. Его огромная голова, казалось, прямо сидела на широких плечах, что составляло резкий контраст с длинной, костлявой шеей его грациозной супруги. Он был узколобый, курносый, с густыми нависшими бровями, из-под которых, как огонь, в крови сверкали глаза, окруженные багровыми веками. Нижняя часть его лица, гладко выбритая, позволяла видеть широкий рот, отвратительная улыбка которого раскрывала губы, почерневшие подобно краям неизлечимой язвы. Два клока курчавых бакенбард, спускаясь с его щек на шею, придавали его фигуре четырехугольную форму. На голове его была войлочная шляпа, с которой ручьями текла вода и к которой он и не подумал прикоснуться рукой при виде четырех путешественников.

Завидя его, Бенигнус Спиагудри вскрикнул от страха, а лютеранский священник отвернулся с удивлением и ужасом, не смотря на то, что вошедший, которого он узнал, обратился к нему с следующими словами:

— Как, и вы тут, досточтимый пастырь! По правде сказать, я совсем не рассчитывал иметь удовольствие снова видеть сегодня вашу кислую испуганную физиономию.

Священник подавил возникшее в нем чувство отвращения; черты его лица приняли серьезное, спокойное выражение.

— А я, сын мой, радуюсь случаю, приведшему пастыря к заблудшей овце, без сомнение, для того, чтобы возвратить ее в стадо.

— Ах, клянусь виселицей Амана, — возразил тот, покатываясь со смеху, — еще в первый раз слышу я, чтобы меня сравнивали с овцой. Поверьте, отец мой, если вы хотите польстить ястребу, не зовите его голубем.

— Сын мой, тот, кто обращает ястреба в голубя, тот утешает, а не льстит. Ты думаешь, что я боюсь тебя, между тем как я только тебя жалею.

— Должно быть, у вас большой запас жалости, святой отец. А я ведь думал, что вы его весь истощили на том бедняге, пред которым держали вы сегодня свой крест, чтобы закрыть от него мою виселицу.

— Этот несчастный, — возразил священник, — внушал менее сожалений, чем ты; он плакал, а ты смеешься. Блажен, кто в минуту смерти познает, как могущественно слово Божие сравнительно с руками человеческими.

— Ловко сказано, святой отец, — подхватил хозяин башни с ужасающей иронической веселостью. — Блажен, кто плачет! А наш сегодняшний плакса и виноват то был только в том, что до такой степени чтил короля, что дня не мог прожить, не выбив изображение его величества на маленьких медных медальках, которые потом искусно золотил, чтобы придать им более привлекательную наружность. Наш милостивый монарх не остался в долгу и вознаградил его за такую преданность прекрасной пеньковой лентой, которая, да будет известно моим достойным гостям, возложена на него сегодня на главной площади Сконгена, мною, великим канцлером ордена Виселицы, в присутствии находящегося здесь верховного жреца означенного ордена.

— Замолчи, несчастный! — вскричал священник. — Разве может наказывающий забыть о наказании? Ты слышишь гром...

— Ну, что же такое гром? Хохот сатаны.

— Великий Боже! Он только что видел смерть и богохульствует!..

— Оставь свои поучение, старый безумец, — вскричал хозяин раздражительно, — если не можешь проклинать дьявола, который дважды свел нас сегодня на повозке и под одной крышей. Бери пример с твоего товарища-отшельника, который молчит, потому что желает вернуться в свой Линрасский грот. Спасибо тебе, брат отшельник, за благословение, которые шлешь ты проклятой башне, проходя каждое утро на холме; но, сказать по правде, мне казалось, что ты выше ростом и борода твоя не так черна... Но ты, конечно, Линрасский отшельник, единственный отшельник Дронтгеймского округа?...

— Действительно единственный, — ответил отшельник глухим голосом.

— Ты забываешь меня, — возразил хозяин, — мы с тобой два отшельника во всем округе... Эй! Бехлия, поторопись с твоей бараниной, я проголодался. Я замешкался в деревне Бюрлок, по милости проклятого доктора Манрилла, который не хотел мне дать более двадцати аскалонов за труп. Дают же сорок этому адскому сторожу Спладгеста в Дронтгейме... Э! Господин в парике, что это с вами? Вы чуть не опрокинулись навзничь... Кстати, Бехлия, покончила ты с скелетом отравителя Оргивиуса, этого знаменитого колдуна. Пора отослать его в Бергенский музей редкостей. Посылала ты одного из твоих поросят за долгом к синдику Левича? Четыре двойных экю за кипячение в котле колдуньи у двух алхимиков и за уборку балочных закреп, безобразивших залу трибунала; двадцать аскалонов за снятие с виселицы Измаила Тифена, жида, на которого жаловался преподобный епископ; и один экю за новую деревянную рукоять к городской каменной виселице.

— Плата еще у синдика, — резко ответила женщина, — твой сын забыл захватить с собой деревянную ложку, а ни один из слуг судьи не хотел отдать ему деньги прямо в руки.

Муж нахмурил брови.

— Пусть только их шее попадет в мои лапы, увидят они нужна ли мне деревянная ложка, чтобы прикоснуться к ним. С синдиком впрочем не надо ссориться. Вор Ивар подал ему жалобу, говорит, что при допросе пытал его я, и ссылается на то, что до осуждение он не может считаться лишенным чести... Кстати, жена, не позволяй твоим ребятам баловаться с моими клещами и щипцами; они так иступили мои инструменты, что сегодня я не мог употребить их в дело... Где эти маленькие уроды? — продолжал он, приближаясь к вороху соломы, на котором Спиагудри почудилось три трупа. — А вот они, спят, не обращая внимание на шум, как снятые с виселицы.

По этим словам, ужас которых составлял разительный контраст с хладнокровием и дикой веселостью говорящего, читатель быть может узнал уже кто был хозяин башни Виглы. Спиагудри тоже сразу узнал его, так часто видал при зловещем обряде на Дронтгеймской площади, и чуть не обмер от страха, вспомнив вдруг обстоятельство, заставившее его со вчерашнего дня избегать встречи с этой неприятной личностью.

Нагнувшись к Орденеру, он прошептал ему прерывающимся голосом:

— Это Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа!

Невольно пораженный ужасом, Орденер вздрогнул и пожалел, что попал в такое общество. Но в ту же минуту какое-то необъяснимое любопытство овладело им и, сочувствуя смущению и трусости старого проводника, он в то же время стал внимательно следить за словами и действиями страшного существа, находившегося у него перед глазами, подобно тому как жители городов жадно прислушиваются к лаю гиены или рычанью тигра, привезенного из пустыни.

Несчастный Бенигнус пришел в такое настроение духа, что не мог с своей стороны заняться психологическими наблюдениями. Спрятавшись за Орденером, он завернулся в плащ, поддерживая дрожащей рукой пластырь, нахлобучил подвижной парик еще ниже на лоб и затаил дыхание.

Между тем хозяйка поставила на стол большое блюдо с жареной бараниной, хвост которой раньше примечен был Спиагудри. Палач сел напротив Орденера и его проводника между священниками; а жена его, подав кружку сладкого пива, кусок rundebrodа[[17]](#footnote-17) и пять деревянных тарелок, занялась у очага оттачиванием зазубрившихся щипцов своего мужа.

— Вот почтенный отец, — сказал Оругикс со смехом, — овца потчует тебя бараниной. А вы, господин в парике, уж не ветер ли нахлобучил вам на лоб вашу прическу?

— Ветер... милостивый государь, буря... — пробормотал Спиагудри, дрожа.

— Да ободритесь же, старина. Вы видите, что господа священнослужители и я славные малые. Поведайте нам, кто вы такой и кто ваш молодой молчаливый спутник. Потолкуем немного и познакомимся. Если ваши речи подтвердят то, что обещает ваша наружность, вы, должно быть, весельчак большой руки.

— Вы шутите, — сказал смотритель Спладгеста, искривив губы, показывая зубы и скосив глаз, чтобы изобразить улыбку, — я не более как бедный старый...

— Старый ученый, старый колдун, — насмешливо перебил его палач.

— О! милостивый государь, ученый, но не колдун.

— Тем хуже, колдун дополнил бы наш веселый синедрион... Ну, гости, выпьем, чтоб развязать язык старого ученого, который позабавит нашу компанию. За здоровье нашего висельника, брат проповедник! Что это! Отец отшельник, вы отказываетесь от моего пива!

Отшельник действительно вынул из-за пазухи большую тыквенную бутылку с чистой водой и наполнил ею стакан.

— Чорт возьми! Линрасский отшельник, — вскричал палач, — если вы не хотите отведать моего пива, я отведаю этой воды, которую вы предпочитаете пиву.

— Изволь, — ответил отшельник.

— Снимите сперва вашу перчатку, почтенный брат, — возразил палач, — пить дают только голой рукой.

Отшельник отрицательно покачал головой.

— Это обет, — сказал он.

— Ну, наливайте, — согласился палач.

Поднеся стакан к губам, Оругикс поспешно оттолкнул его, между тем как отшельник опорожнил свой одним глотком.

— Клянусь чашей Христа, почтенный отшельник, что это за адская жидкость? Я не пробовал ничего подобного с тех пор, как чуть не утонул, плывя из Копенгагена в Дронтгейм. Воля ваша, это не вода Линрасского источника; это морская вода...

— Морская вода! — повторил Спиагудри с испугом, который рос при виде перчаток отшельника.

— Ну так что же, — спросил палач, с хохотом обращаясь к нему, — все тревожит вас здесь, мой старый Авесалом, даже питье святого отшельника, умерщвляющего свою плоть.

— О! Нет, хозяин... Но морская вода!.. Только один человек...

— Ну, вы не знаете что сказать, господин ученый, ваше смущение свидетельствует или о нечистой совести, или о презрении...

Слова эти, произнесенные с досадой, заставили Спиагудри преодолеть свой страх. Желая польстить своему страшному собеседнику, он призвал на помощь свою обширную память и собрал последние остатки храбрости.

— Мне презирать вас, милостивый государь! Вас, одно присутствие которого в этом округе доставляет ему merum imperium[[18]](#footnote-18)! Вас, исполнителя, меч общественного правосудие, щит невинности! Вас, которого Аристотель в шестой книге, в последней главе своей Политики поместил в число членов судейского сословие, и которому Парис де-Путео в трактате своем Dе Sуndiсо, определил оклад жалованья в пять золотых экю, о чем свидетельствует следующее место: Quinque аurеоs mаnivоltо![[19]](#footnote-19) Вас, товарищи которого в Кронштадте делаются дворянами, отрубив триста голов! Вас, чьи страшные, но почетные обязанности с гордостью исполняют: во Франконии новобрачный, в Ретлинге самый молодой советник, в Штедине последний поселившийся в городе человек. Разве не известно мне, добрый хозяин, что собратья ваши во Франции пользуются правом взимать подать с каждой больной в Сент-Ладре, с каждой свиньи и пирога накануне крещенья! Могу ли я не питать к вам глубокого уважение, когда Сент-Жерменский аббат ежегодно присылает вам свиную голову в день святого Викентия и позволяет вам идти во главе процессии...

Тут ученое рвение его грубо было прервано палачом.

— Клянусь честью, я этого и не подозревал! Ученый аббат, о котором вы упомянули, почтеннейший, до сих пор утаивал от меня эти прекрасные права, так обольстительно обрисованные вами... Но господа, — продолжал Оругикс, — оставив в стороне нелепости старого сумасброда, карьера моя действительно не удалась. Теперь я не более как бедный палач бедного округа, а между тем было время, когда я мог затмить славу Стиллисона Дикого, знаменитого палача московитов. Поверите ли вы, что именно мне двадцать четыре года тому назад поручено было привести в исполнение приговор над Шумахером.

— Над Шумахером, графом Гриффенфельдом! — вскричал Орденер.

— Это вас удивляет, господин немой. Да, над Шумахером, которого судьба может опять толкнуть в мои руки, в случае если король вздумает отменить отсрочку... Опорожним по кружечке, господа, и я расскажу вам каким образом начав так блистательно, я кончаю так скромно свою деятельность.

В 1676 году служил я у Рума Стуальда, королевского палача в Копенгагене. В то время как осужден был граф Гриффенфельд, хозяин мой захворал и, благодаря протекции, мне поручено было заместить его при исполнении приговора. 5-го июня — никогда не забуду этого дня — с пяти часов утра я воздвиг при помощи плотника большой эшафот на площади цитадели и обил его трауром в знак уважение к осужденному. В восемь часов представители дворянства окружили эшафот и шлезвигские уланы сдерживали напор толпы, теснившейся на площади. Кто не возгордился бы на моем месте! С топором в руке прохаживался я по эстраде. Взгляды всех были устремлены на меня: в эту минуту я был самое важное лицо обоих королевств. Карьера моя обеспечена, — говорил я себе, — что поделала бы без меня вся эта знать, поклявшаяся низвергнуть Шумахера? Я уже воображал себя титулованным королевским палачом, имел уже слуг, привилегии... Чу! В крепости пробило десять часов. Осужденный вышел из тюрьмы, прошел площадь твердыми шагами, спокойно поднялся на эшафот. Я хочу связать ему волосы, он оттолкнул меня и сам оказал себе эту последнюю услугу. «Давно уже, — улыбаясь, заметил он настоятелю монастыря святого Андрея, — давно уже я не причесывался сам». Я подал ему черную повязку, он презрительно отказался, но презрение его относилось не ко мне. «Друг мой, — заметил он мне, — быть может, еще в первый раз сходятся так близко два крайних служителя правосудия, канцлер и палач». Эти слова неизгладимо врезались в мою память. Оттолкнув черную подушку, которую я хотел подложить ему под колени, он обнял священника и опустился на колени, проговорив громким голосом, что умирает невинный. Тогда ударом молота разбил я щит его герба, провозгласив обычную формулу: это не делается без основательной причины. Такое бесчестие поколебало твердость графа; он побледнел, но тотчас же сказал: «Король дал мне, король может и отнять».

Он склонил голову на плаху, устремив взор на восток; а я, обеими руками взмахнул и топор... Слушайте! В это мгновение услыхал я крик: «Помилование, именем короля! Помилование Шумахеру!» Я обертываюсь и вижу адъютанта, несшегося во весь опор к эшафоту, размахивая пергаментом. Граф поднялся не с радостным, но довольным видом. Пергамент в его руках. «Праведный Боже! — вскричал он. — Вечное заключение! Их милость тяжелее смерти». В унынии спустился он с эшафота, тогда как всходил на него с спокойным духом. Для меня такой исход дела не имел никакого значения. Я и представить себе не мог, что спасение этого человека будет моей гибелью. Разобрав эшафот, я возвратился к хозяину, все еще полный надежд, хотя и не рассчитывал получить золотой экю, цену срубленной головы. Однако, дело этим не кончилось. На другой день я получил приказание выехать из столицы и диплом палача Дронтгеймского округа! Палач округа и притом последнего округа Норвегии! Видите, господа, к каким важным последствиям приводят незначительные обстоятельства. Враги графа, желая выказать свое милосердие, все так устроили, чтобы помилование опоздало. Они ошиблись в какой-нибудь минуте. Меня обвинили в медленности, как будто прилично было не дать знатному узнику насладиться несколькими мгновениями перед смертью! Как будто королевский палач, совершающий казнь великого канцлера, мог действовать без достоинства и поспешно, подобно провинциальному палачу, вешающему жида! В добавок присоединилось и недоброжелательство. У меня был брат, который, может быть, жив еще и теперь. Переменив имя, он втерся в дом нового канцлера, графа Алефельда. Присутствие мое в Копенгагене стесняло презренного, который ненавидел меня, быть может, потому что раньше или позже мне придется его повесить.

Тут словоохотливый рассказчик остановился дать волю своей веселости, потом продолжал:

— И так, любезные гости, я помирился с моей участью. Да на кой чорт быть честолюбивым! Здесь я добросовестно исполняю свое ремесло; продаю трупы, или Бехлия делает из них скелеты, которые покупает Бергенский анатомический кабинет. Смеюсь над всем, даже над этой несчастной бабой цыганской, которую уединение сводит с ума. Мои три наследника подрастают в страхе к дьяволу и виселице, моим именем стращают ребят в Дронтгеймском округе. Синдики снабжают меня колесницей и красной одеждой. Проклятая башня защищает меня от дождя подобно епископскому дворцу. Старые попы, которых приводит сюда буря, читают мне проповеди, ученые льстят мне. Словом, я так же счастлив, как и всякий другой: пью, ем, вешаю и сплю.

Оканчивая свою речь, палач прерывал ее глотками пива и взрывами шумной веселости.

— Он убивает и спит! — прошептал священник. — Несчастный!

— Как счастлив этот бедняк! — вскричал отшельник.

— Да, брат отшельник, — согласился палач, — я так же беден, как и ты, но счастливее тебя. Право, ремесло хоть куда, если бы только завистники не уничтожали его выгод. Представьте себе, не знаю, какая то именитая свадьба внушила вновь назначенному Дронтгеймскому священнику мысль просить помилование двенадцати осужденным, которые принадлежат мне?..

— Принадлежат тебе! — вскричал священник.

— Само собою разумеется. Семеро должны быть высечены, двое заклеймены в левую щеку и трое повешены, а это составляет двенадцать... да двенадцать экю и тридцать аскалонов, которые я потеряю, если просьба увенчается успехом. Как вам нравится, господа, этот священник, распоряжающийся моим добром? Зовут этого проклятого попа Афанасий Мюндер. О! Пусть только он попадет в мои лапы!

Священник встал из-за стола и спокойным голосом произнес.

— Сын мой, я Афанасий Мюндер.

При этих словах глаза Оругикса гневно сверкнули, и он быстро вскочил с своего места. Разъяренный взгляд его встретился с спокойным, добродушным взором священника, и он снова опустился на свое место медленно, молча и смущенно.

На минуту воцарилось молчание. Орденер, тоже поднявшийся из-за стола, чтобы защитить священника, первый прервал его.

— Николь Оругикс, — сказл он, — вот тринадцать экю, которые вознаградят вас за помилованных преступников...

— Увы! — прервал его священник, — кто знает, удовлетворят ли мое ходатайство! Мне необходимо поговорить с сыном вице-короля, все зависит от брака его с дочерью канцлера.

— Батюшка, — отвечал молодой человек твердым голосом, — я добьюсь этого. Орденер Гульденлью не примет обручального кольца, прежде чем не будут разбиты оковы ваших узников.

— Молодой чужестранец, что можете вы сделать; но да услышит и да вознаградит вас Создатель!

Между тем тринадцать экю Орденера дополнили эффект, производимый взором священника. Николь вполне успокоился, прежняя веселость вернулась к нему.

— Послушайте, преподобный отец, вы славный малый и достойны исправлять должность священника в капелле Святого Иллариона. Я совсем не думал того, что говорил про вас. Вы идите прямо по своей дороге и не ваша вина, если она перекрещивается с моей. Но вот до кого я действительно добираюсь, это хранитель трупов в Дронтгейме, старый колдун, смотритель Спладгеста... Как бишь его зовут-то? Спиагудри?.. Спиагудри?.. Скажите мне, мой древний ученый, вавилонская башня знания, вам ведь все известно, не поможете ли вы мне вспомнить имя этого колдуна, вашего собрата? Вы должны были встречаться с ним на шабашах, гарцуя верхом на помеле.

Конечно, если бы в эту минуту злополучный Бенигнус мог улететь на каком-нибудь подобном воздушном коне, несомненно, он с радостью вверил бы ему свое бренное, перепуганное существо. Никогда любовь к жизни не проявлялась в нем с такой силой, как с той минуты, когда все органы чувств стали убеждать его в грозной опасности. Все окружающее ужасало его; мысль о проклятой башне, свирепый взгляд красной женщины, голос, перчатки, питье таинственного отшельника, отважная неустрашимость его юного спутника, и, к довершению всего, палач; палач, в логовище которого попал он, убегая, чтобы не поплатиться за преступление. Он дрожал так сильно, что все волевые движение были у него парализованы, в особенности, когда разговор зашел о нем и когда страшный Оругикс обратился к нему с вопросом.

Так как он не имел ни малейшего желание подражать героизму священника, его онемевший язык отказывался ему служить.

— Ну что же! — повторил палач. — Знаете вы имя смотрителя Спладгеста? Уж не оглохли ли вы под тяжестью вашего парика?

— Немножко, милостивый государь... Но, — решился он наконец ответить, — клянусь вам, я не знаю его имени.

— Он не знает! — страшным голосом промолвил отшельник. — Он лжет, хотя и клянется. Этого человека зовут Бенигнус Спиагудри.

— Меня! Меня! Великий Боже! — с ужасом застонал старик.

Палач покатился со смеху.

— Да кто вам сказал, что вас? Мы говорим о том язычнике, смотрителе Спладгеста. Решительно, этот педагог боится всего. Вот была бы потеха, если бы эти дурацкие гримасы имели сериозное основание. Этот старый сумасброд прекомично болтался бы на виселице... Ну-с, уважаемый ученый, — продолжал палач, наслаждаясь испугом Спиагудри, — так вы не знаете Бенигнуса Спиагудри?

— Нет, милостивый государь, — отвечал смотритель Спладгеста, несколько успокоенный своим инкогнито, — уверяю вас, я совсем не знаю его. И мне вовсе неприятно будет познакомиться с человеком, имевшим несчастие прогневить вас.

— А вы, отшельник, — продолжал Оругикс, — кажется вы знаете его?

— Да, отлично, — ответил отшельник, — это человек высокого роста, старый, сухощавый, плешивый...

Спиагудри, страшно встревоженный этим перечислением примет, с живостью поправил на голове свой парик.

— Руки у него, — продолжал отшельник, — длинные, как у вора, дней восемь не встречавшего путешественника, спина сгорбленная...

Спиагудри выпрямился сколько мог.

— Словом, его можно было бы принять за один из трупов, которые он стережет, если бы не пронзительный взор его глаз...

Спиагудри схватился рукой за свой спасительный пластырь.

— Спасибо, отец, — поблагодарил палач отшельника, — где бы мы с ним не встретились, я сразу узнаю теперь старого жида...

Спиагудри, считавший себя добрым христианином и возмущенный такой нестерпимой обидой, не мог удержаться от восклицания:

— Жида, милостивый государь!..

Он тотчас же умолк, с ужасом чувствуя, что проговорился.

— Да, жида или язычника; не все ли равно, если он, как слышно, знается с чортом!

— Я легко бы поверил этому, — возразил отшельник с сардонической усмешкой, которую не вполне скрывал его капюшон, — не будь он завзятым трусом. Где ему знаться с сатаною! Он настолько же труслив, насколько зол. Когда он струсит, он не узнает даже самого себя.

Отшельник говорил медленно, как бы изменяя свой голос, и это придавало особенную выразительность его словам.

— Не узнает самого себя, — повторил про себя Спиагудри.

— Отвратительно, когда злодей вдобавок становится трусом, — заметил палач, — его даже не стоит ненавидеть. С змеей надо бороться, ящерицу же достаточно растоптать ногами.

Спиагудри рискнул сказать несколько слов в свою защиту.

— Но, господа, разве вы действительно убеждены в том, что говорите об этом должностном лице? Его репутация...

— Репутация! — подхватил отшельник. — Самая гнусная репутация во всем округе!

Обескураженный Бенигнус обратился к палачу:

— Милостивый государь, в каких преступлениях обвиняете вы его? Без сомнения ваша ненависть должна иметь серьезные основания.

— Справедливое мнение, старина. Так как наши коммерческие интересы сталкиваются, Спиагудри не упускает случая, чтобы не напакостить мне.

— О! Господин, не верьте этому!.. Но если бы даже это было справедливо, очевидно этот человек не видал вас, как я, в кругу семьи, с прелестной супругой и восхитительными детьми, гостеприимно принимающего чужестранцев у своего домашнего очага. Если бы ему, подобно нам пришлось воспользоваться вашим любезным радушием, этот несчастный не был бы вашим врагом.

Лишь только Спиагудри кончил свою ловкую речь, высокая женщина, до сих пор не проронившая ни слова, поднялась и сказала торжественным, саркастическим тоном:

— Нет ничего ядовитее жала ехидны, вымазанного в меду.

Она снова села у очага и продолжала оттачивать щипцы, хриплый и визгливый звук которых, мучительно поражая в промежутках разговора слух четырех путников, походил на хор греческой трагедии.

— Право, эта женщина помешалась, — пробормотал Спиагудри, не зная, как иначе объяснить себе такой плохой эффект своей лести.

— Бехлия права, седовласый ученый! — вскричал палач. — Я поверю, что у вас жало ехидны, если вы станете еще защищать этого Спиагудри.

— Избави Боже, хозяин! — подхватил тот. — Я совсем не защищаю его!

— Тем лучше. Вы понятие не имеете, до чего доходит его наглость. Верите ли, этот нахал смеет оспаривать у меня право на голову Гана Исландца?

— Гана Исландца!.. — резко повторил отшельник.

— Ну да! Знаете вы этого знаменитого разбойника?

— Знаю, — отвечал отшельник.

— Ну-с, каждый разбойник составляет собственность палача, не так ли? Что же теперь придумал этот адский Спиагудри? Он просит, чтобы голова Гана была оценена...

— Он просит, чтобы голова Гана была оценена? — переспросил отшельник.

— Да, он дерзнул на это, и единственно для того, чтобы тело попало в его лапы, а я лишился своих выгод.

— Какая подлость, Оругикс, решиться оспаривать то, что очевидно составляет твою собственность!

Злобная усмешка, сопровождавшая эти слова, ужаснула Спиагудри.

— Проделка тем более низкая, брат отшельник, что мне во что бы то ни стало необходимо казнить такого человека, как Ган, чтобы выйти из неизвестности и составить себе карьеру, которой не сделала мне казнь Шумахера.

— В самом деле, хозяин Николь?

— Да, брат отшельник. Приходите сюда в день ареста Гана, мы заколем жирную свинью в честь моей будущей славы.

— Охотно; но почем знать, может быть я не буду свободен в этот день? А затем, не ты ли сам только что посылал к черту честолюбие?

— Еще бы, когда я вижу, что достаточно какого-нибудь Спиагудри и прошение оценить голову, чтобы рассеять в прах самые верные мои расчеты.

— А! — подхватил отшельник странным тоном. — Так Спиагудри просит оценить голову!

Голос его производил на злополучного смотрителя такое же действие, какое производит на птицу взгляд жабы.

— Господа, — сказал он, — зачем судить так опрометчиво. Все это может быть неверно, быть может ложный слух...

— Ложный слух! — вскричал Оругикс. — Напротив, дело ясно как день. Прошение синдиков, скрепленное подписью смотрителя Спладгеста, получено уже в Дронтгейме. Ждут только решение его превосходительства генерал-губернатора.

Палач видимо знал всю подноготную, так что Спиагудри не посмел более оправдываться и в сотый раз принялся внутренно проклинать своего молодого спутника. Но каков был его ужас, когда отшельник, после нескольких минут размышление, вдруг спросил насмешливым тоном:

— Скажи-ка, хозяин Николь, какое наказание положено за святотатство?

Эти слова произвели на Спиагудри такое действие, как будто с него сорвали пластырь и парик. С тоской ждал он ответа Оругикса, который не торопясь опоражнивал свой стакан.

— Это смотря по тому, в чем состояло святотатство, — ответил палач.

— Ну, положим, поругание мертвеца?

С минуты на минуту, дрожащий от ужаса Бенигнус ожидал, что отшельник назовет его по имени.

— В былое время, — хладнокровно отвечал Оругикс, — святотатца закапывали в землю живым вместе с поруганным трупом.

— А теперь?

— Теперь наказание легче.

— Легче! — повторил Спиагудри, едва дыша.

— Да, — продолжал палач с довольным и небрежным видом артиста, говорящего о своем искусстве, — сперва каленым железом клеймят ему икры буквою С...

— А потом? — чуть не вскрикнул старый смотритель, над которым было бы затруднительно произвести эту часть наказания.

— А потом, — продолжал палач, — довольствуются его повешанием.

— Пощадите! — вскричал Спиагудри, — повесить человека!

— Что это с ним? Он смотрит на меня с видом преступника, взирающего на виселицу.

— С удовольствием вижу, — заметил отшельник, — что люди возвращаются к правилам гуманности.

В эту минуту стихнувшая буря позволила отчетливо различить ясный, прерывистый звук рога.

— Николь, — заметила жена палачу, — это погоня за каким-нибудь злодеем, это рог полицейских.

— Рог полицейских! — повторил каждый из присутствующих с разнообразным оттенком в голосе, а Спиагудри с выражением величайшего ужаса.

В ту же минуту кто-то постучался в дверь башни.

### XIII

Левиг, большое селение, расположенное на северном берегу Дронтгеймского залива, примыкает к цепи низких холмов, голых или причудливо испещренных участками обработанной земли, подобно мозаичной плоскости, сливающейся с горизонтом.

Селение представляет невеселый вид. По обеим сторонам узких, извилистых улиц лепятся деревянные и тростниковые хижины рыбаков, конические землянки, где доживают остаток своих дней дряхлые рудокопы, которым сбереженная на черный день копейка позволяет отдохнуть на старости лет; легкие срубы, которые охотник за сернами кроет соломой и обивает звериными шкурами, по возвращении с охоты.

На площади, где видны теперь развалины большой башни, возвышалась тогда древняя крепость, воздвигнутая Гордою, метким стрелком, владетелем Левига и соратником языческого короля Гольфдана. В 1698 году в ней жил синдик селение, пользовавшийся самым лучшим жилищем, которое уступало лишь жилищу серебряного аиста, каждое лето гнездившегося на остроконечной колокольне церкви, подобно белому шарику на заостренной шапке мандарина.

В тот самый день, когда Орденер прибыл в Дронтгейм, в Левиге высадился незнакомец, сохранявший строжайшее инкогнито. Его золоченые носилки, не имевшие впрочем герба, его четыре рослых лакее, вооруженных с ног до головы, сразу сделались предметом любопытства и толков левигского населения.

Хозяин «Золотой Чайки», маленькой таверны, где остановился этот вельможа, тотчас принял таинственный вид и на все вопросы отвечал: «Не знаю» — таким тоном, каким говорят: я-то все знаю, но вы не узнаете ничего. Рослые лакеи были немее рыб и мрачнее отверстие шахты.

Синдик заперся сперва в своей башне, ожидая по своему сану, что незнакомец первый сделает ему визит. Однако вскоре поселяне с удивлением приметили, как он дважды тщетно пытался пробраться в «Золотую Чайку» и напрасно выжидал приветствие путешественника, сидевшего у открытого окна таверны. Кумушки заключили из этого, что незнакомец открыл синдику свой высокий сан, но ошиблись. К синдику являлся только лакей незнакомца визировать паспорт своего барина, и синдик успел рассмотреть на зеленой восковой печати пакета два сложенные накрест жезла, поддерживающие горностаевую мантию, увенчанную графской короной на щите, вокруг которого обвиты были цепи ордена Слона и Даннеброга. Этого наблюдение достаточно было для сметливого синдика, страстно желавшего добиться у главного канцлера должности синдика Дронтгеймского округа. Но он скоро разочаровался в своих ожиданиях, так как вельможа не принимал никого.

Вечером на второй день по прибытии путешественника в Левиг, содержатель гостиницы вошел в его комнату с низким поклоном и доложил о гонце, ожидаемом его светлостью.

— Пусть войдет, — сказал его светлость.

Минуту спустя, гонец вошел, старательно запер дверь и поклонившись до земли незнакомцу, в почтительном молчании ожидал, пока с ним заговорят.

— Я ждал вас сегодня утром, — промолвил вельможа, — что такое задержало вас?

— Интересы вашей милости, граф, у меня нет других.

— Что делает Эльфегия, Фредерик?

— Оне в вожделенном здравии...

— Да, да, — нетерпеливо перебил граф, — нет ли у вас чего-нибудь интереснее? Что нового в Дронтгейме?

— Решительно ничего, за исключением того, что барон Торвик вчера прибыл туда.

— Да, я знаю, он хотел посоветоваться с этим мекленбуржцем Левиным на счет предполагаемого брака. Может быть вам известен результат свидание его с губернатором?

— До моего отъезда, сегодня в полдень, он еще не виделся с генералом.

— Что! Ведь он прибыл накануне! Я не понимаю вас, Мусдемон; виделся ли он с графиней?

— Тоже нет, граф.

— Значит только вы видели его?

— Нет, милостивый граф. К тому же я не знаю его в лицо.

— Так каким же образом, если никто его не видел, знаете вы, что он в Дронтгейме?

— От его слуги, который прибыл вчера в губернаторский дворец.

— А сам он остановился где-нибудь в другом месте?

— Его слуга уверяет, что по прибытии в Дронтгейм он заходил в Спладгест, а потом переправился на лодке в Мункгольм.

Глаза графа сверкнули.

— В Мункгольм! В тюрьму Шумахера! Правда ли это? Я всегда думал, что этот честный Левин окажется изменником. В Мункгольм! Что он там забыл? Уж не за советом ли Шумахера? Или...

— Милостивый граф, — перебил вдруг Мусдемон, — еще неизвестно наверно, туда ли он отправился.

— Что такое! Да ведь вы же сами сказали сейчас? Уж не вздумали ли вы шутить со мною.

— Простите, ваше сиятельство, но я повторил вам только то, что сказал слуга барона. А господин Фредерик, который был вчера на дежурстве в башне, не видал там барона Орденера.

— Хорош довод! Да мой сын совсем не знает сына вице-короля. Орденер мог войти в крепость инкогнито.

— Совершенно справедливо, но господин Фредерик утверждает, что он не видел ни одной живой души.

Граф по-видимому успокоился.

— Это другое дело, но действительно ли мой сын уверен в этом?

— Он повторил мне это три раза; притом интересы господина Фредерика вполне отвечают интересам вашего сиятельства.

Этот последний довод окончательно успокоил графа.

— А! — вскричал он. — Я догадываюсь, в чем дело. По прибытии в Дронтгейм, барону захотелось прогуляться по заливу, а слуге показалось, что он отправился в Мункгольм. В самом деле, что ему там делать? Как глупо было с моей стороны так встревожиться. Напротив, эта непочтительность моего будущего зятя относительно старого Левина доказывает, что дружба их совсем не так сильна, как я опасался. Верите ли, любезный Мусдемон, — продолжал граф, улыбаясь, — я уж вообразил себе, что Орденер влюбился в Этель Шумахер, и на этой поездке в Мункгольм построил целую любовную интригу. Но, благодаря Богу, Орденер не так сумасброден, как я... Кстати, мой милый, что сделал Фредерик с этой юной Данаей.

Относительно Этели Шумахер Мусдемон вполне разделял опасения своего патрона и хотя боролся с ними, однако не мог так легко их преодолеть. Однако приметив веселое настроение графа, он не хотел тревожить более его беспечность, а напротив, постарался усилить ее в нем, зная, как выгодно для фаворита поддержать милостивое расположение вельможи.

— Высокородный граф, вашему сыну не повезло с дочерью Шумахера; но, кажется, другому более посчастливилось.

Граф с живостью прервал его.

— Другому! Кому же?

— Не знаю, какой-то мужик или вассал.

— Да верно ли? — вскричал граф, суровая и мрачная наружность которого просияла от радости.

— Господин Фредерик заверил в этом меня и благородную графиню.

Граф поднялся и стал расхаживать по комнате, потирая себе руки.

— Мусдемон, любезный Мусдемон, еще одно усилие и мы достигнем цели. Отпрыск дерева засох, нам остается лишь срубить самый ствол. Нет ли еще каких новостей.

— Диспольсен убит.

Физиономия графа окончательно просветлела.

— А! Посмотрите, мы станем одерживать одну победу за другой! Были при нем бумаги? В особенности железная шкатулка?

— С прискорбием вынужден сообщить вашему сиятельству, что не наши клевреты покончили с ним. Он был убит и ограблен на Урхтальских берегах; и это преступление приписывают Гану Исландцу.

— Гану Исландцу! — повторил граф, лицо которого омрачилось. — Как! Этому знаменитому разбойнику, которого мы хотели поставить во главе возмущения!

— Ему, ваше сиятельство. Но после того, что я узнал о нем, я опасаюсь, что нам не легко будет разыскать его. Я на всякий случай уже подыскал предводителя, который примет его имя и в состоянии будет заменить Гана Исландца. Это одичалый горец, высокий и крепкий как дуб, свирепый и отважный, как волк снеговых пустынь. Вряд ли, чтобы этот грозный гигант не был похож на Гана.

— Так Ган Исландец высокого роста? — спросил граф.

— Так по крайней мере описывают его, ваше сиятельство.

— Я всегда изумлялся, любезный Мусдемон, искусству, с каким вы все устраиваете. Когда же вспыхнет восстание?

— О! В самом непродолжительном времени, ваше сиятельство; быть может даже в эту минуту. Рудокопы давно уже тяготятся королевской опекой и с радостью примут мысль о восстании. Мятеж вспыхнет в Гульдбрансгале, распространится на Зунд-Моёр, захватит Конгсберг. В три дня можно поднять на ноги две тысячи рудокопов; возмущение будет поднято именем Шумахера; от его имени действуют повсюду наши эмиссары. Против мятежников мы двинем южные резервы, гарнизоны Дронтгейма и Сконгена, а вы явитесь как раз вовремя, чтобы подавить бунт, окажете новую, отменную услугу королю и освободите его от столь опасного для трона Шумахера. Вот на каком несокрушимом основании воздвигнется здание, которое увенчает брак высокородной девицы Ульрики с бароном Торвиком.

Интимный разговор двух злодеев никогда не бывает продолжителен, так как то, что остается в них человеческого, быстро ужасает адскую сторону их натуры. Когда две извращенных души открываются друг другу во всей их бесстыдной наготе, взаимное безобразие возмущает их. Преступление приходит в ужас от преступление, и два злодея, с цинизмом сообщая друг другу глаз на глаз свои страсти, удовольствия, выгоды, представляют один для другого страшное зеркало. Их собственная низость срамит их в другом; их смущает их собственная гордость, страшит их собственное ничтожество, и они не пытаются бежать, не пытаются не признавать себя в им подобном, так как их ненавистная связь, их ужасающее подобие, их гнусное сходство неустанно пробуждает в них голос, неутомимо твердящий о том их истомленному слуху. Как бы не был секретен их разговор, он всегда имеет двух неумолимых свидетелей: Бога, которого они не видят и совесть, которая дает им себя чувствовать.

Конфиденциальные сообщение Мусдемона тем более были тягостны для графа, что его клеврет беспощадно уделял патрону половину участия в совершенных или замышляемых злодеяниях. Многие льстецы предпочитают выгораживать вельмож, хотя по наружности из темных делишек, принимают на себя всю ответственность и даже часто оставляют патрону постыдное утешение, что он как будто противился выгодному для него преступлению. Мусдемон с утонченной хитростью действовал как раз обратно. Он хотел как можно реже являться в роли советника, предпочитая роль повинующегося. Он знал душу своего патрона так же хорошо, как патрон знал его душу, и он никогда не компрометировал себя, не компрометируя в то же время и графа. После головы Шумахера, первая, которую граф страстно желал видеть на плахе, была голова Мусдемона, и последний знал это, как будто сам патрон сообщил ему об этом; граф же догадывался, что желание его не тайна для Мусдемона.

Когда граф получил нужные для него сведение, ему оставалось только отпустить Мусдемона.

— Мусдемон, — сказал он, милостиво улыбаясь, — вы самый преданный, самый ревностный из моих подчиненных. Все идет отлично, и этим я обязан вашему старанию. Я делаю вас личным секретарем великого канцлера.

Мусдемон низко поклонился.

— Это еще не все, — продолжал граф, — я в третий раз буду просить для вас ордена Даннеброга; но опять таки опасаюсь, что ваше происхождение, ваше позорное родство...

Мусдемон покраснел, побледнел и, снова поклонившись, скрыл от графа свое смущение.

— Ступайте, — продолжал граф, протягивая ему руку для поцелуя, — ступайте, господин секретарь, составьте ваше прошение. Быть может, оно застанет короля в добром настроении духа.

— Даст ли его величество свое согласие, или нет, а я глубоко признателен и горжусь милостями вашей светлости.

— Поторопитесь же, мой милый, так как мне надо ехать. Необходимо также собрать точные сведение об этом Гане.

Поклонившись в третий раз, Мусдемон открыл дверь.

— Ах, да, — сказал граф, — чуть не забыл... В качестве личного секретаря напишите в мою канцелярию, чтобы прислана была отставка синдику Левига, который компрометирует свой сан в округе, пресмыкаясь перед чужестранцами, которых совсем не знает.

### XIV

— Право, милостивый господин, нам следует сходить на поклонение в Линрасскую пещеру. Кто бы мог думать, что этот отшельник, которого я проклинал, как адского духа, окажется нашим ангелом-хранителем, что копье, каждую минуту просившее нашей жизни, как мост поможет нам перешагнуть бездну.

В таких цветистых, довольно комичных выражениях Бенигнус Спиагудри выражал Орденеру свою радость, удивление и свою признательность к таинственному отшельнику. Оба путешественника давно уже покинули проклятую башню. Мы встречаем их уже довольно далеко от деревни Виглы, с трудом пробирающихся по горной дороге, пересекаемой лужами и загроможденной большими камнями, которых стремительный, бурный поток оставил на сырой вязкой почве.

Солнце еще не взошло на горизонте; только кустарник, обрамлявший по сторонам скалистую дорогу, рисовался черными фестонами на белесоватом небосклоне; окружающие предметы являлись взору еще без красок, но постепенно принимая свои очертания на тусклом и как бы густом свете, который утренние сумерки севера разливали в холодном, утреннем тумане.

Орденер хранил молчание, уже несколько минут погруженный в сладкое забытье, которому не мешает иногда машинальное движение ходьбы. Он не смыкал глаз со вчерашнего дня, когда до своего возвращение в Мункгольм успел немного отдохнуть в рыбачьей лодке, стоявшей на якоре в Дронтгеймской гаване. Между тем как тело его подвигалось к Сконгену, душа стремилась к Дронтгеймскому заливу, в ту мрачную темницу, в ту печальную башню, в стенах которой томилось единственное существо в мире, с котором он мог делить мечты о счастии и надежде. Когда он бодрствовал, мечты об Этели не покидали его ни на минуту. Во сне эти мечты, принимая фантастические размеры, озаряли его грезы. Во сне, в этой второй жизни, когда душа живет одна, когда физическая натура исчезает со всем ее чувственным злом, он видел свою возлюбленную не в большей чистоте, не более прекрасною: но свободною, счастливою, принадлежащею ему.

Однако на дороге в Сконген такое забытье, такое оцепенение не могло быть полным; время от времени рытвина, камень, древесная ветка, встречавшиеся на его пути, безжалостно возвращали его из мира идеального в мир реальный. Он поднимал голову, раскрывал свои утомленные глаза, с сожалением покидая свое восхитительное небесное странствие для трудного земного пути, где его исчезнувшие иллюзии вознаграждались лишь мыслью о том, что у сердца его хранится локон Этели, в ожидании пока сама она всецело будет принадлежать ему. Эта мысль снова вызывала в его воображении милый фантастический образ и невольно погружался он не в забытье, а в какие то неопределенные, упорные грезы.

— Милостивый господин, — повторил Спиагудри более громким голосом, который вместе с толчком о древесный ствол вывел Орденера из-задумчивости, — не бойтесь ничего. Отшельник по выходе из башни повел полицейских направо, и теперь мы настоль далеко от них, что можем свободно разговаривать. Конечно, до сих пор благоразумнее было молчать.

— Ну, старина! Ты хватил через край с твоим благоразумием, — заметил Орденер, зевая. — Прошло по меньшей мере три часа, как мы потеряли из виду башню и полицейских.

— Весьма возможно, милостивый государь, но благоразумие никогда не вредит. Вообразите, что бы вышло, если бы я отозвался, когда начальник этих адских капралов спросил Бенигнуса Спиагудри таким тоном, каким Сатурн требовал себе на съедение своего новорожденного сына. Где находился бы я теперь, благородный патрон, если бы в ту критическую минуту не прибег к благоразумному молчанию?

— О, старина! Мне сдается, что в ту минуту даже щипцами нельзя было бы вытянуть у тебя твоего имени.

— Что ж в том худого? Скажи я хоть слово, отшельник, да благословят его святой Госпиций и святой Усбальд-пустынник! — отшельник не успел бы спросить начальника полицейских, не из солдат ли Мункгольмского гарнизона набрана его команда — пустой вопрос, предложенный с единственной целью выиграть время. Обратили ли вы внимание, молодой человек, с какой странной улыбкой, после утвердительного ответа бестолкового сыщика, отшельник пригласил его последовать за ним, говоря, что ему известно убежище беглого Бенигнуса Спиагудри.

Тут смотритель Спладгеста умолк на минуту, как бы для того, чтобы собраться с духом, и продолжал тоном трогательного энтузиазма:

— Добрый священнослужитель! Достойный, добродетельный отшельник, осуществляющий на деле правила христианского человеколюбие и евангельского милосердия! А я то! Что могло испугать меня в его наружности, надо сознаться довольно зловещей, но за то скрывающей столь прекрасную душу! Приметили вы, мой благородный патрон, с каким особенным выражением сказал он мне: «до свидания!», уводя полицейских? При других обстоятельствах оно встревожило бы меня; но уж это не вина благочестивого, достойного отшельника. Очевидно, уединение придает голосу такой странный оттенок, потому что я знаю — Бенигнус значительно понизил голос — другого отшельника, это ужасное существо, которое... Но нет, из уважение к почтенному Линрасскому отшельнику, я не могу решиться на такое гнусное сравнение. В перчатках тоже нет ничего необычайного, погода довольно прохладная, чтобы их носить; а его соленое питье не удивляет меня более. Католические пустынножители налагают на себя самые странные обеты; это один из них и в подтверждение приведу вам, милостивый государь, стих знаменитого Урензиуса, инока Кавказской горы:

*Rivоs dеsрiсiеns, mаris endаm роtаt аmаrаm.*[[20]](#footnote-20)

И как не вспомнил я этого стиха в проклятых развалинах Виглы! Самая крошечка памяти избавила бы меня от стольких безумных треволнений. Конечно, довольно затруднительно мыслить здраво в подобном логовище, сидя за столом палача! Палача! Существа, презираемого и проклинаемого всеми, которое отличается от убийцы только обилием и безнаказанностью своих убийств, сердце которого со всей свирепостью страшных злодеев соединяет еще трусость, немыслимую в отважных преступлениях последних! Существо, которое предлагает пищу и наливает питье тою же рукою, которою играло орудиями пытки и дробило кости несчастных в тисках кобылы! Дышать одним воздухом с палачом! Когда самый презренный нищий, запятнанный нечистым столкновением с ним, с ужасом сбрасывает с себя последние лохмотья, защищавшие от холода его недуги и наготу! Когда сам канцлер, приложив печать к приговору, с отвращением и проклятием кидает ее под стол! Когда во Франции, в случае смерти палача, служители превотства предпочитают платить сорок ливров пени, чем занять его должность! Когда в Пеште осужденный Чорчилль, которому предлагали помилование с дипломом палача, предпочел быть казненным, чем заняться этим презренным ремеслом! Разве вам неизвестно, благородный патрон, что Турмерин, епископ Маастрихтский, повелел снова освятить церковь, куда вошел палач; что царица Петровна мыла себе лицо каждый раз, как возвращалась с казни? Вы должны также знать, что французские короли из уважение к воинским чинам издали указ, чтобы они казнимы были своими товарищами, дабы этих благородных людей, даже преступных, не бесчестило прикосновение палача. Наконец, что особенно убедительно, в творении ученого Мелазиуса Итургама, под заглавием: «Сошествие святого Георгия в ад», прямо говорится, что Харон отдал предпочтение разбойнику Робину Гуду пред палачом Флинкрассом... Да, милостивый государь, если я когда-нибудь достигну могущества — все в руках Божиих — я уничтожу палачей и снова восстановлю древний обычай пени за преступление. За умерщвление князя будут платить, как в 1150 году, тысячу четыреста сорок двойных королевских экю; за убийство графа — тысячу четыреста сорок простых экю; за барона — тысячу четыреста сорок полуэкю; за убийство дворянина — тысячу четыреста сорок аскалонов; за мещанина...

— Постой! Мне кажется я слышу конский топот, — перебил его Орденер.

Они оглянулись и, так как солнце успело уже подняться над горизонтом, пока длился ученый монолог Спиагудри, действительно приметили в ста шагах позади себя человека в черной одежде, который одной рукой махал им, а другой подгонял одну из тех белых лошадок, которые часто встречаются укрощенные и в диком состоянии в нижних горах Норвегии.

— Ради бога, милостивый господин, — сказал перетрусивший Спиагудри, — пойдемте скорее. Этот черный субъект сильно смахивает на полицейского.

— Что ты, старина, нас двое, и мы побежим пред одним!

— Увы! Иной раз двадцать ястребов разгоняет одна сова. И что за слава ждать полицейского?

— Да кто тебе сказал, что это полицейский? — возразил Орденер, взоров которого не застилал страх. — Успокойся, мой храбрый путеводитель; я узнаю этого путешественника. Подождем его.

Надо было покориться. Минуту спустя всадник поравнялся с ними, и Спиагудри успокоился, узнав суровую и спокойную наружность священника Афанасия Мюндера.

Остановив свою лошадь, он с улыбкой поклонился нашим путникам и заговорил запыхавшимся голосом:

— Я вернулся для вас, мои дорогие чада, и Господь, конечно, не допустит, чтобы мое отсутствие, продолженное с милосердным намерением, повредило тем, кому приносит пользу мое присутствие.

— Преподобный отец, — отвечал Орденер, — мы почтем за счастье оказать вам какую-нибудь услугу.

— Нет, благородный молодой человек, напротив, мне следует оказать вам ее. Не удостоите ли вы сообщить мне цель вашего путешествия?

— Не могу, почтенный отец.

— Желал бы я, сын мой, чтобы вами действительно руководила в данном случае невозможность, а не недоверие. Иначе горе мне! Горе тому, которого добрый человек, раз увидев, тотчас же лишает своего доверия!

Смирение и простосердечие священника сильно тронули Орденера.

— Мы направляемся в северные горы. Это все, что я могу вам сказать, святой отец.

— Так я и думал, сын мой, вот почему поспешил догнать вас. В этих горах скитаются целые банды рудокопов и охотников, часто весьма опасные для путешественников.

— Ну-с?

— Ну, я знаю, что нечего и пытаться вернуть с пути молодежь, ищущую всякого рода опасностей; но уважение, которое я почувствовал к вам, указало мне на средство, которое может вам пригодиться. Злосчастный фальшивый монетчик, которому преподал я вчера последние утешение Спасителя, был рудокоп. Перед смертью он передал мне этот пергамент с его именем, говоря, что этот документ предохранит меня от всякой опасности в случае если когда-либо путь мой будет лежать чрез эти горы. Увы! Какая польза в этой бумаге бедному священнику, который живет и умрет с узниками и который к тому же inter саstrа latronum[[21]](#footnote-21) должен искать защиты у терпение и молитвы, этого единственного оружие Создателя! Если я не отказался принять этот пергамент, то для того лишь, чтобы не огорчить отказом сердце того, для которого чрез какое-нибудь мгновение все земное утратит всякую цену. Сам Бог руководил мною, потому что теперь я могу вручить его вам, дабы он сопровождал вас при всяких случайностях пути вашего, дабы дар умирающего оказал благодеяние путнику.

Орденер с умилением принял дар старого священника.

— Да услышит Господь ваше желание, святой отец! Благодарю вас. Но на всякий случай, — прибавил он, схватившись за саблю, — я уже запасся пропуском.

— Почем знать, молодой человек, — заметил священник, — может быть, эта ничтожная бумага защитит вас лучше вашей железной шпаги. Взор кающегося могущественнее меча архангела. Простите, узники ждут меня. Помолитесь за них и за меня.

— Святой отец, — возразил Орденер, улыбаясь, — я уже обещал вам, что ваши узники будут помилованы, и опять повторяю свое обещание.

— О! Не говорите с такой уверенностью, сын мой, Не искушайте Господа. Человек не в состоянии знать, что творится в сердце другого, и вам неизвестно еще, на что решился сын вице-короля. Увы! Быть может он не удостоит даже принять смиренного священника. Простите, сын мой. Да благословит Бог ваше странствие, пусть ваша чистая душа вспоминает иногда бедного пастыря и мольбу его за несчастных узников.

### XV

В комнате, смежной с апартаментами Дронтгеймского губернатора, три секретаря его превосходительства уселись за черным столом, заваленным пергаментами, бумагами, печатями и письменными принадлежностями. Четвертый табурет у стола оставался незанятым, свидетельствуя, что четвертый писец запоздал. В течение некоторого времени все трое сосредоточенно занимались каждый своим делом, как вдруг один из них вскричал:

— А знаете, Ваферней, говорят, что этот несчастный библиотекарь Фокстипп смещен епископом, благодаря рекомендательному письму, которым вы подкрепили прошение доктора Англивиуса?

— Что за вздор, Рихард! — с живостью возразил другой секретарь, к которому, однако, не относились слова Рихарда. — Ваферней не мог писать в пользу Англивиуса, потому что просьба его возмутила генерала, когда я доложил ему ее содержание.

— Действительно, вы говорили мне об этом, — согласился Ваферней, — но только на прошении я нашел слово *tribuatur[[22]](#footnote-22)*, написанное собственноручно его превосходительством.

— Быть не может!

— Право, милейший; да и многие другие решение его превосходительства, о которых вы говорили мне, изменены равным образом в постскриптуме. Так, на прошении рудокопов генерал надписал *negetur[[23]](#footnote-23)* ...

— Неужели! Но в таком случае я тут ровно ничего не понимаю; генерал опасался их мятежного духа.

— Быть может, он хотел постращать их строгостью. Меня убедило в этом то обстоятельство, что и священнику Мюндеру, просившему помилование двенадцати преступникам, тоже отказано...

Секретарь, к которому обращался Ваферней, быстро вскочил с своего места.

— О! Уж этому я не поверю. Губернатор так добр и, казалось мне, так тронут был участью осужденных, что...

— Ну, в таком случае прочтите сами, Артур, — возразил Ваферней.

Артур взял просьбу и прочел роковой отказ.

— Право, — сказал он, — я не верю своим глазам. Я снова доложу об этой просьбе генералу. Давно ли его превосходительство помечал эти бумаги?

— Кажется, третьего дня, — отвечал Ваферней.

— Третьего дня, — повторил Рихард тихим голосом, — значит утром в тот день, когда явился сюда и с такой таинственной поспешностью исчез барон Орденер.

— Смотрите! — с живостью вскричал Ваферней, прежде чем Артур успел вымолвить слово, — *trubuatur* стоит и на шутовском прошении Бенигнуса Спиагудри!..

Рихард расхохотался.

— Это не старый ли смотритель за трупами, тоже исчезнувший странным образом?

— Он самый, — ответил Артур, — в его мертвецкой нашли страшно обезображенный труп, и уже отдан приказ преследовать его как святотатца. Но помощник его, низенький лапландец, который остался один в Спладгесте, полагает вместе с народом, что этого колдуна утащил сам дьявол.

— Вот, — сказал Ваферней, смеясь, — субъект, который оставил по себе добрую славу!

При этих словах вошел в комнату четвертый секретарь.

— Добро пожаловать, Густав, вы порядком запоздали сегодня. Уж не женились ли вы вчера чего доброго?

— О, нет! — перебил Ваферней. — Он выбрал самую дальнюю дорогу, чтобы показаться в своем новом плаще под окнами прелестной Розали.

— Ваферней, — сказал вновь прибывший, — мне хотелось бы, чтобы вы были правы. Но причина моего замедление совсем не так приятна, и я сомневаюсь, чтобы мой новый плащ произвел впечатление на субъектов, которых я только что посетил.

— Откуда же вы явились? — спросил Артур.

— Из Спладгеста.

— Вот странно, — вскричал Ваферней, выронив перо, — мы только что о нем говорили. Но если можно говорить о нем для препровождение времени, я не понимаю как можно входить туда.

— А еще более там оставаться, — подхватил Рихард, — но, любезный Густав, что вы там видели?

— Э, — сказал Густав, — смотреть то вы не хотите, а послушать так вам интересно. Ну, вы пожалели бы, если бы я отказался описать вам ужасы, при виде которых вы содрогнулись бы.

Все тотчас же обступили Густава, который заставил себя просить, не смотря на то, что внутренно ему самому хотелось поскорее рассказать то, что он видел.

— Ну, Ваферней, вы можете передать мой рассказ вашей юной сретрице, которая до страсти любит ужасные происшествия. Я внесен был в Спладгест толпой, стремившейся туда со всех сторон. Туда только что принесли трупы трех солдат Мункгольмского гарнизона и двух полицейских, найденных вчера в четырех лье отсюда в ущельях на дне Каскадтиморской пропасти. В толпе зрителей уверяли, что эти несчастные составляли отряд, посланный три дня тому назад по направлению к Сконгену в поиски за беглым смотрителем Спладгеста. Если это так, непонятно каким образом погибло столько вооруженных людей. Увечье тел по-видимому доказывает, что они сброшены были с высоты скал. Просто волосы дыбом становятся.

— Неужто! И вы их видели, Густав? — с живостью спросил Ваферней.

— Они по сейчас мерещатся мне.

— Кого же подозревают в этом преступлении?

— Некоторые думают, что тут причастна банда рудокопов, уверяют даже, что слышали вчера в горах звук рожка, на который они собираются.

— Вот оно что, — заметил Артур.

— Да; но какой то старый крестьянин опроверг эту догадку, указав, что в стороне Каскадтиморы нет ни шахт, ни рудокопов.

— Так кто же?

— Неизвестно; если бы тела не были целы, можно было бы подумать на диких зверей, так как на членах остались длинные и глубокие ссадины. Такие же ссадины находятся и на трупе старика с седой бородой, принесенного в Спладгест третьего дня утром, после той страшной бури, которая помешала вам, любезный Леандр Ваферней посетить на том берегу залива вашу Геро Ларсинского холма.

— Да, да, Густав, — сказал Ваферней, смеясь, — но про какого старика повели вы речь?

— По высокому росту, длинной седой бороде, по четкам, которые были крепко сжаты в его окаменелых пальцах, хотя он был найден буквально ограбленным донага, в нем узнали, говорят, известного окрестного отшельника, кажется Линрасского. Очевидно, что и этот бедняга был тоже убит... но с какой целью? Теперь не режут за религиозные убеждение, а у этого старого отшельника только и было, что шерстяной плащ, да любовь народа.

— И вы говорите, — спросил Рихард, — что его тело, подобно трупам солдат, было истерзано как бы когтями диких зверей?

— Да, милейший; один рыбак заметил такие же ссадины на теле офицера, найденного убитым, несколько дней тому назад на Урхтальских берегах.

— Это странно, — заметил Артур.

— Это ужасно, — заметил Рихард.

— Довольно, господа, поболтали, пора и за работу, — возразил Ваферней, — того и гляди войдет генерал. Любезный Густав, мне хотелось бы самому видеть трупы; если желаете, мы вместе сегодня вечером, выйдя отсюда, завернем на минуту в Спладгест.

### XVI

В 1675 году, то есть за двадцать четыре года до того времени, когда происходят описываемые нами событие, вся деревня Токтре весело справляла свадьбу прелестной Люси Пельнир с рослым красивым парнем Кароллем Стадт. Правду сказать, они уже давно полюбили друг друга; и можно ли было не сочувствовать этим юным влюбленным, когда столько пылких желаний, столько мучительных надежд сменялись наконец блаженством!

Уроженцы одной и той же деревни, выросшие вместе на одних и тех же полях, часто в раннем детстве после игры Каролль засыпал на груди Люси, часто в юности после работы Люси отдыхала на руках Каролля. Люси была самая скромная, самая красивая девушка во всей стране, Каролль самый храбрый, самый славный юноша в округе; они любили друг друга и день, когда они впервые полюбили друг друга, соединялся в их воображении с первым днем их жизни.

Но брак их произошел не так легко, как явилась любовь. Тут замешались домашние расчеты, семейные раздоры, препятствие со стороны родителей; целый год провели они в разлуке, и Каролль сильно тосковал вдали от Люси, а Люси много пролила слез вдали от Каролля, до того счастливого дня, когда они соединились, для того, чтобы отныне если тосковать или плакать, так вместе.

Каролль получил наконец свою Люси, избавил ее от страшной опасности. Однажды услыхал он крики, несшиеся из лесу. Разбойник, наводивший ужас на всех горцев, схватил его Люси и казалось намеревался ее похитить. Каролль отважно напал на это чудовище во образе человеческом, страшный рев которого был подобен реву дикого зверя. Да, он напал на того, на кого еще никто не осмеливался нападать; но любовь придала ему львиную силу. Он освободил свою возлюбленную Люси, возвратил ее отцу, а отец в награду отдал ее ему.

И так вот почему вся деревня праздновала союз этой парочки. Одна лишь Люси казалась мрачной. Правда никогда еще взоры ее с большей нежностью не останавливались на ее ненаглядном Каролле, но в этих взорах сквозила также печаль, и это обстоятельство среди общего веселья возбуждало удивление.

С минуты на минуту по мере того, как росло счастие ее жениха, взоры невесты становились печальнее и озабоченнее.

— О, дорогая Люси, — сказал ей Каролль по окончании священного обряда, — разбойник, появление которого приносит несчастие целой стране, составил мое счастие.

Заметили, что она поникла головой и не отвечала ни слова.

Наступил вечер. Новобрачные остались наедине в своей новой хижине, а танцы и веселье стали еще оживленнее на деревенской площади, как бы торжествуя блаженство супругов.

На следующее утро Каролль Стадт исчез. Несколько слов, написанных его рукою, были доставлены отцу Люси Пельнир охотником Кольских гор, который встретил его до рассвета, блуждающим по берегу залива. Старый Вилль Пельнир показал записку пастору и синдику, от вчерашнего празднества осталось только уныние и угрюмое отчаяние Люси.

Эта таинственная катастрофа опечалила всю деревню, но тщетно пытались разгадать ее тайну. Молитвы за упокой души Каролля огласили своды той самой церкви, где несколько дней тому назад он сам молил Всевышнего о своем счастии. Никто не знал, что привязывало к жизни вдову Стадт, но в конце девятого месяца ее уединение и траура она родила сына и в тот же день деревня Голин погребена была под осколками скалы, высившейся над ее хижинами.

Рождение сына не рассеяло мрачного горя матери. Жилль Стадт ничуть не походил на Каролля. Его суровое детство казалось предвещало жизнь еще более суровую. Несколько раз малорослый дикарь, в котором горцы, видевшие его издали, признавали знаменитого Гана Исландца, посещал уединенную хижину вдовы Каролля, и проходившие мимо нее в то время слышали стоны женщины, прерываемые рычанием тигра. На целые месяцы уводил этот дикарь с собой Жилля, потом снова возвращал его матери, еще более диким, еще более мрачным.

Вдова Стадт питала к своему ребенку странную смесь ужаса и нежности. Иной раз она сжимала его в своих материнских объятиях, как единственное существо, привязывавшее ее к жизни; другой раз она с отвращением отталкивала его от себя, призывая Каролля, своего дорогого Каролля. Никто в мире не знал какие муки испытывало ее бедное сердце.

Жиллю исполнилось двадцать три года. Он увидал Гут Стерсен и влюбился в нее до безумия. Гут Стерсен была богата, он беден. Тогда отправился он в Рераасс, чтобы сделаться рудокопом и разбогатеть. С тех пор мать ничего не слыхала о нем.

Раз ночью сидела она за прялкой, доставлявшей ей пропитание, у едва мерцавшего ночника в хижине, стены которой — немые свидетели таинственной брачной ночи, — так же состарились, как и Люси в уединении и печали. С тревогой думала она о своем сыне, хотя его присутствие, столь сильно желанное, напомнит ей, а быть может и причинит новые огорчения. Эта бедная мать любила своего сына, несмотря на всю черствость его натуры. Да и могла ли она не любить его, вынеся для него столько страшных мучений!..

Поднявшись с своего места, она достала из старого шкафа распятие, заржавевшее в пыли. Одно мгновение она смотрела на него с мольбой, потом вдруг с ужасом отбросила от себя:

— Молиться! — прошептала она. — Как будто я могу молиться!.. Несчастная! Ты можешь молиться только аду! Аду принадлежит твоя душа!

Она погрузилась в мрачное раздумье, как вдруг кто-то постучал в дверь.

Это обстоятельство не часто случалось с вдовой Стадт, так как уже с давних пор, благодаря странному образу ее жизни, в деревне Токтре сложилось мнение, что она знается с нечистой силой. Оттого никто не подходил к ее хижине. Странные предрассудки того века и невежественной страны! Своими несчастиями она составила себе славу колдуньи, подобно тому, как смотритель Спладгеста прослыл колдуном за свою ученость!

— Неужели это вернулся мой сын? Неужели это Жилль! — вскричала она, бросаясь к двери.

Увы! Надежда ее не сбылась. На пороге двери стоял малорослый отшельник, одетый в грубую шерстяную рясу с опущенным на лицо капюшоном, из под которого виднелась только черная борода.

— Святой отец, — спросила вдова, — что вам нужно здесь? Вы не знаете в какое жилище вы забрели.

— Неужели! — возразил хриплый, слишком знакомый голос.

Сбросив перчатки, черную бороду и капюшон, он открыл зверское лицо, рыжую бороду и руки, вооруженные отвратительными ногтями.

— О!.. — вскричала вдова и закрыла лицо руками.

— Это что такое? — закричал малорослый. — В двадцать четыре года ты не привыкла к мужу, на которого должна будешь смотреть всю вечность?

— Вечность!.. — пробормотала она с ужасом.

— Слушай, Люси Пельнир, я принес тебе вести о твоем сыне.

— О моем сыне! Где же он? Зачем он не пришел сам?..

— Он не может.

— Но говорите же, — вскричала она, — благодарю вас, увы! Вы тоже можете принести мне радость!

— Я действительно принес тебе радостную весть, — продолжал малорослый глухим голосом, — ты слабая женщина и я изумляюсь, как могла ты произвести на свет такого сына! Радуйся же! Ты опасалась, что твой сын пойдет по моим следам: теперь не бойся этого.

— Как! — вскричала мать, вне себя от восторга. — Мой сын, мой возлюбленный Жилль переменился?

С мрачной усмешкой смотрел отшельник на ее радость.

— О, он совсем переменился, — сказал он.

— Так зачем же он не спешит в мои объятия? Где вы видели его? Что он делает?

— Он спит.

Увлеченная радостью, вдова не примечала ни зловещего взора, ни страшной насмешки слов малорослого.

— Зачем же вы не разбудили его, зачем не сказали ему: Жилль, иди к твоей матери?

— Он крепко спит.

— О! Когда же он придет? Скажите мне, умоляю вас, скоро ли я увижу его?

Ложный отшельник вытащил из под полы рясы чашу странного фасона.

— Ну, вдова, — сказал он, — пей за скорое возвращение твоего сына!

Мать вскрикнула от ужаса. Это был человеческий череп. В страхе отступила она и не могла выговорить слова.

— Нет, нет! — закричал вдруг малорослый страшным голосом, — не отвращай твоих взоров, смотри. Ты спрашивала, скоро ли вернется твой сын?.. Смотри, говорю тебе! Вот все, что от него осталось.

При красноватом свете ночника он поднес к помертвевшим губам матери голый, высохший череп ее сына.

Столько уже бедствий истерзали душу несчастной женщины, что это новое горе не могло ее доконать. Она устремила на свирепого отшельника пристальный, тупой взгляд.

— О, смерть!.. — тихо прошептала она, — смерть!.. Дайте мне умереть.

— Умирай, если хочешь!.. Но, Люси Пельнир, вспомни Токтрейский лес, вспомни день, когда демон, завладев твоим телом, отдал душу твою аду! Я демон, Люси, а ты моя супруга на веки! Теперь умирай, если хочешь!

В этой стране предрассудков и суеверий, существовало поверие, что нечистая сила является иногда в людской среде, чтобы сеять в ней преступление и бедствия. Такою ужасною славою пользовался один из знаменитых разбойников, Ган Исландец. Было также поверие, что женщина, сделавшаяся, чрез обольщение ли, или насильно, жертвою этого демона в образе человеческом, непреложно обрекается за это несчастие делить с ним проклятие.

Событие, о которых отшельник напомнил вдове, казалось возбудили в ней мысль об этом.

— Увы! — сказала она печально, — я не могу даже избавиться от существования!.. Но в чем виновата я? Возлюбленный Каролль, тебе известно, что я невинна. Что может сделать слабая девушка против насилие демона!

Глаза ее сверкали безумием, бессвязные слова казалось происходили от конвульсивного подергивание губ.

— Да, Каролль, — продолжала она, — с того дня я лишилась чистоты и невинности, а демон еще спрашивает меня, помню ли я этот страшный день?.. Дорогой Каролль, я никогда не изменяла тебе; ты пришел слишком поздно; я была его прежде, чем стала твоею, увы!.. Увы!.. И за это я обречена на вечные мучения. Нет, я не соединюсь с тобой, с тобой, которого оплакиваю. Что принесет мне смерть? Я пойду за этим чудовищем в мир подобных ему существ, в мир окаянных грешников! Но что сделала я? Мои несчастия в этой жизни вменятся мне в преступление в жизни будущей.

Малорослый отшельник смотрел на нее с торжествующим победоносным видом...

— Ах! — вдруг вскричала она, обращаясь к нему. — О! Скажите мне, не страшное ли это сновидение, которое нагнало на меня ваше присутствие? Вам известно, что со дня моего падение, все роковые ночи, когда дух ваш посещал меня, отмечены для меня нечистыми помыслами, страшными снами, ужасающими видениями.

— Опомнись, женщина. Что ты не спишь, это так же верно, как верно то, что Жилль умер.

Воспоминание о прежних бедствиях как бы подавило в матери впечатление нового горя; последние слова снова вернули ее к действительности.

— Мой сын! О! Мой сын, — вскричала она с таким выражением, которое тронуло бы всякое другое существо, кроме злодея, слушавшего ее. — Нет, он вернется, он не умер! Не может быть, чтобы он умер.

— Ну, иди спроси Рераасские скалы, которые задавили его, спроси Дронтгеймский залив, который принял его тело.

Мать упала на колени, застонав:

— Боже! Великий Боже!

— Молчи, раба ада!

Несчастная умолкла. Он продолжал:

— Не сомневайся в смерти твоего сына. Он наказан за то, в чем провинился его отец. Он допустил, чтобы взгляд женщины смягчил его гранитное сердце. Я, я обладал тобой, но никогда не любил тебя. Злая судьба твоего Каролля перешла на него... Наш сын был обманут невестой, ради которой пожертвовал своей жизнью.

— Умер! — прошептала она, — умер! Так это правда?.. О, Жилль! Плод моего несчастия, зачатый в ужасе, рожденный в скорбях! В младенчестве ты терзал мою грудь; в детстве никогда не отвечал ты на мои ласки и объятия; все время ты избегал и отталкивал твою мать, твою одинокую, покинутую всеми мать! Ты старался заставить меня забыть прошлые бедствие, только причиняя мне новые огорчения; ты покинул меня для демона, виновника твоего рождение и моего вдовства; никогда, в течение долгих лет, Жилль, ты ничем не порадовал меня; а между тем теперь твоя смерть причиняет мне невыносимые муки, воспоминание о тебе кажется мне чарующим утешением!..

Голос ее порвался. Она горько зарыдала, закрыв голову черным шерстяным покрывалом.

— Слабая, малодушная женщина! — пробормотал отшельник. — Подави свою скорбь, — закричал он громким голосом, — я уже утешился в своей. Слушай, Люси Пельнир, пока ты оплакиваешь своего сына, я уже начал мстить за него. Его невеста изменила ему для какого-то солдата Мункгольмского гарнизона. Весь полк погибнет от моей руки... Смотри, Люси Пельнир.

Оттянув рукава своей рясы, он протянул вдове свои безобразные окровавленные руки.

— Да, — продолжал он, испустив что-то вроде рычания, — на Урхтальских берегах, в Каскадтиморских ущельях радуется теперь дух Жилля. Утешься же, женщина, разве не видишь ты этой крови?

Потом вдруг как бы пораженный каким-то воспоминанием, он спросил:

— Люси Пельнир, разве ты не получила от меня железной шкатулки?.. Как! Я наделил тебя золотом, я наделил тебя кровью, а ты еще плачешь! Неужто ты не человеческое отродье?

Вдова молчала, подавленная поразившим ее несчастием.

— Ну! — продолжал он с диким хохотом. — Нема и недвижима! Так ты и не женского отродья! Люси Пельнир! — тряхнул он ее руку, чтобы заставить слушать себя. — Разве мой гонец не принес тебе запечатанную железную шкатулку?

Мельком взглянув на него, вдова отрицательно покачала головой и снова погрузилась в угрюмое раздумье.

— А! Презренный! — закричал малорослый. — Презренный обманщик! Ну, Спиагудри, дорого же ты поплатишься за это золото!

Сбросив с себя рясу отшельника, он выбежал из хижины с воем гиены, почуявшей труп.

### XVII

Между тем Этель провела четыре долгих, томительных дня, одиноко блуждая в мрачном саду Шлезвигской башни, по длинной галерее, где раз не слыхала она полуночного боя часов, одиноко молясь в часовне, свидетельнице и поверенной стольких слез и обетов. Иногда старый отец сопровождал ее, но это не смягчало ее одиночества, так как избранный спутник ее жизни находился в отсутствии.

Злополучная девушка!.. За что эта юная, чистая душа терпит уже такие муки? Оторванная от света, почестей, богатства, утех юности, торжества красоты, она еще в колыбели попала в тюрьму. Разделяя с отцом заключение, она росла, видя как он дряхлеет с каждым днем, и в довершение ее горестей, как бы для того, чтобы она изведала все роды рабства, любовь посетила ее в темнице.

Если бы еще Орденер был с нею, на что ей нужна была свобода? Знала ли она свет, у которого ее похитили? Ее мир, ее небо, не заключались ли они для нее в этой тесной башне, на черные стены которой, усеянные солдатами, ни один прохожий не кинет сострадательного взгляда?

Но увы! Уже вторично расставалась она с своим Орденером; вместо того, чтобы наслаждаться краткими, но постоянно возрождающимися часами его чистых ласк и целомудренных объятий, дни и ночи проводила она, оплакивая разлуку с ним и молясь за его безопасность. Девушка может только молиться и плакать.

Сколько раз завидовала она крыльям вольной ласточки, прилетавшей за кормом к решетчатому окну ее тюрьмы. Сколько раз мысленно уносилась она вслед за облаком, которое стремительный ветер гнал к северу; и потом вдруг отворачивала лицо и зажмуривала глаза, как бы страшась появление гиганта-разбойника и начала неравной борьбы на одной из тех далеких гор, синеющие вершины которых подобно неподвижным тучам обрамляли горизонт.

О! Как жестоки муки любви, когда находишься в разлуке с любимым существом! Не многие сердца изведали их вполне, так как немногим сердцам известна вся глубина истинной любви. Тогда, как бы игнорируя свое собственное существование, создаешь для себя угрюмое одиночество, необъятную пустоту, а отсутствующего видишь в каком то мире чудовищ, опасностей и обольщений; все, из чего слагается наша натура, все это сливается в одно бесконечное стремление к существу, покинувшему нас и мы чуждаемся окружающего нас мира. Тогда мы дышим, ходим, действуем, но бессознательно. Тело движется наугад подобно блуждающей планете, потерявшей свое солнце: души в нем нет.

### XVIII

Берега Норвегии изрезаны таким множеством узких заливов, бухт, подводных рифов, лагун и маленьких мысов, что они утомляют память путешественника и истощают терпение топографа. В былое время — если верить преданиям, сохранившимся в народе — каждый перешеек имел своего злого духа, посещавшего его, каждая бухта — свою фею, обитавшую в ней, каждый мыс — своего святого покровителя; суеверие, чтобы сделаться страшилищем рода человеческого, причудливо смешивает в себе все поверия.

Говорят, только одно место на Кельвельском берегу, на несколько миль к северу от Вальдергогской пещеры, изъято было от ведение духов адских, воздушных и небесных. Это была прибрежная прогалина, укрывшаяся под скалой, на вершине которой находились древние развалины жилища Ральфа или Радульфа Исполина. Эта маленькая дикая лужайка, граничащая к западу с морем и как бы втиснутая в узкое пространство между скал, поросших кустарником, обязана была упомянутой привилегией единственно имени своего первого владельца, древнего норвежского барона. Ни одна фее, никакой злой дух или ангел не осмелились бы избрать своим местом жительства или принять под свое покровительство местность, принадлежавшую некогда Ральфу Исполину.

Действительно, достаточно было одного имени грозного Ральфа, чтобы придать страшный колорит и без того дикой местности. Но как бы то ни было, воспоминание не так пугает, как появление духа, и никогда рыбак, застигнутый непогодой на море, причалив свою лодку к бухте Ральфа, не видал на вершине скалы ни пляски и хохота домового, ни феи, проезжавшей по кустарнику в своей фосфорической колеснице, влекомой светящимися червяками, ни святого, возносившегося к луне после молитвы.

Однако, если бы в ночь, последовавшую за страшной бурей, морское волнение и разбушевавшийся ветер загнали в эту гостеприимную бухту какого-нибудь заблудившегося моряка, быть может он был бы поражен суеверным ужасом при виде трех человеческих существ, сидевших в эту ночь вокруг большего костра, пылавшего посреди лужайки. Двое из них одеты были в широкие панталоны и войлочные шапки королевских рудокопов. Руки их были обнажены по плечо, на ногах порыжелые башмаки; за красным кушаком заткнута была кривая сабля и длинные пистолеты. У обоих на шее висел рог. Один был уже в преклонных летах, другой еще молод. Густая борода старика и длинные волосы молодого человека придавали еще более дикости их физиономиям, от природы грубым и суровым.

По шапке из медвежьего меха, по кожаному засаленному плащу, мушкету, перекинутому на ремне за спину, по коротким и узким штанам, голым голеням, лаптям и блестящему топору легко было узнать в товарище обоих рудокопов горца северной Норвегии.

Конечно, приметив издали эти три страшные фигуры, освещаемые красноватым переменчивым пламенем костра, раздуваемого морским ветром, легко можно было перепугаться, даже не веря в привидение и в злых духов; достаточно было верить в разбойников и быть чуточку богаче поэта.

Все трое то и дело поглядывали на тропинку, терявшуюся в лесу, примыкавшем к лужайке, и сколько можно было понять из их разговора, заглушаемого воем ветра, они по видимому ждали четвертого собеседника.

— А скажи-ка, Кеннибол, ведь мы не стали бы в эту пору так спокойно дожидаться гонца графа Гриффенфельда на соседней лужайке домового Тульбитильбета, или пониже в бухте святого Гутберта?...

— Не говори так громко, Джонас, — заметил горец старому рудокопу. — Да будет благословенно имя покровителя нашего Ральфа Исполина! Избави Боже, чтобы я когда-нибудь еще раз ступил ногой на лужайку Тульбитильбета! Однажды я забрел туда и думая, что срываю боярышник, сорвал мандрагору[[24]](#footnote-24). Я чуть с ума не спятил, как потекла из нее кровь, как принялась она кричать.

Молодой рудокоп покатился со смеху.

— Ай да Кеннибол! Можно действительно поверить, что крик Мандрагоры взбудоражил твою пустоголовую башку.

— Сам ты пустоголовая башка! — сердито заворчал горец. — Смотри-ка, Джонас, он смеется над мандрагорой; смеется как безумный, играющий с головой мертвеца.

— Гм, — пробурчал Джонас, — пусть сходит в Вальдергогскую пещеру, куда каждую ночь сбираются головы загубленных исландским демоном Ганом, чтобы плясать вокруг его постели из сухих листьев и усыплять его, скрежеща зубами.

— Вот именно, — подтвердил горец.

— Но, — возразил молодой рудокоп, — разве господин Гаккет, которого мы тут ждем, не обещал нам, что Ган Исландец станет во главе нашего мятежа?

— Обещал, — ответил Кеннибол, — и с помощью этого демона нам удастся стереть с лица земли эти зеленые плащи Дронтгейма и Копенгагена.

— Дай-то Боже! — подхватил старый рудокоп. — Но меня то уж ничем не заставишь продежурить ночь с ним...

В эту минуту треск валежника под шагами человека привлек внимание собеседников. Они оглянулись и при свете костра узнали вновь прибывшего.

— Это он! Это господин Гаккет!.. Добро пожаловать, господин Гаккет; вы однако не слишком торопились. — Вот уж около часа мы ждали вас...

Господин Гаккет был низенький толстяк, одетый в черное платье; от веселой наружности его веяло чем-то зловещим.

— Что делать, друзья мои, — заговорил он, — я запоздал, не зная хорошенько дороги и принимая предосторожности... Сегодня утром виделся я с графом Шумахером и вот три кошелька с золотом, которые он поручил мне передать вам.

Оба старика кинулись к золоту с жадностью, свойственной бедному населению Норвегии. Молодой человек рудокоп оттолкнул кошелек, который протягивал ему Гаккет.

— Сохраните при себе ваше золото, — сказал он гонцу. — Я налгал бы, заявив вам, что намерен бунтовать для графа Шумахера. Я приму участие в восстании только для того, чтобы избавить рудокопов от королевской опеки; только для того, чтобы моя мать укрывалась одеялом, а не лохмотьями, подобными берегам нашей родной Норвегии.

Ничуть не смутившись, господин Гаккет ответил с улыбкой:

— Ну, добрейший Норбит, так я отошлю эти деньги твоей бедной матери, чтобы она к предстоящей зимней стуже заготовила себе пару новых одеял.

Молодой рудокоп кивнул головой в знак согласие, а гонец, как искусный оратор, поспешил добавить.

— Но чур не повторять твоих необдуманных слов, что не за Шумахера, графа Гриффенфельда, поднимаешь ты оружие.

— Да дело в том, — заворчали старики, — что мы отлично знаем, каким притеснениям подвергаются рудокопы, а об этом графе, государственном преступнике не имеем никакого понятия...

— Что! — с живостью возразил гонец. — Какая черная неблагодарность! Вы стонали в своих подземельях, лишенные света и воздуха! Рабы самой тягостной опеки, вы не имели даже прав собственности! Кто пришел к вам на помощь? Кто воодушевил ваше мужество? Кто снабдил вас золотом, оружием? Разве не мой знаменитый патрон, благородный граф Гриффенфельд, терпящий еще более тяжкую неволю и бедствие, чем вы? И теперь, осыпанные его благодеяниями, вы отказываетесь бороться за его освобождение, вашу свободу?..

— Вы правы, — перебил молодой рудокоп, — так поступать не след.

— Да, господин Гаккет, — сказали в один голос оба старика, — мы постоим за графа Шумахера.

— Смелей, друзья мои! Восстаньте во имя Шумахера, пусть имя вашего благодетеля разнесется от одного конца Норвегии до другого. Узнайте, все благоприятствует вашему правому начинанию; вскоре вы освободитесь от вашего заклятого врага, губернатора округа, генерала Левина Кнуда. Благодаря тайному влиянию моего высокородного покровителя графа Гриффенфельда, он немедленно отозван будет в Берген... Ну, Кеннибол, Джонас и ты, добрейший Норбит, скажите же мне, готовы ли ваши товарищи?

— Мои Гульдбрансгальские братья, — сказал Норбит, — ждут только моего сигнала. Если вы хотите, они завтра же возьмутся за оружие...

— Завтра, тем лучше. Пусть же молодые рудокопы под твоим предводительством первые поднимут знамя бунта. Ну, а что скажет мой храбрый Джонас?

— Шестьсот молодцов с Фарорских островов, которые вот уж третий день питаются мясом серны и медвежьим салом в Бенналлагском лесу, ждут не дождутся призывного рога их старого вождя Джонаса.

— Превосходно! А ты, Кеннибол?

— Все, кто-топором пролагает себе дорогу в Кольских ущельях и без наколенников влезает на скалы, все готовы присоединиться к своим братьям рудокопам и помочь им в критическую минуту.

— Довольно. Чтобы ваши товарищи не сомневались в победе, — прибавил гонец, возвысив голос, — объявите им, что Ган Исландец станет во главе...

— Да верно ли это? — спросили разом все трое таким тоном, в котором выражение ужаса смешивалось с выражением надежды.

Гонец ответил:

— Всех вас с вашими соединенными отрядами жду я через четыре дня в это время в Апсиль-Корской шахте, близ Смиазенского озера, под равниной Синей Звезды. Ган Исландец будет там со мною.

— Мы не опоздаем, — ответили предводители, — и да не оставит Господь тех, кому собирается помочь дьявол!

— Бог не выдаст, — заметил саркастически Гаккет. — Послушайте, в древних Крагских развалинах найдете вы знамена для ваших отрядов... Не забудьте кричать: да здравствует Шумахер! Спасем Шумахера! Теперь пора нам расстаться, скоро рассветет. Но прежде всего поклянитесь мне ненарушимо хранить в тайне все, что произошло между нами.

Ни сказав ни слова, предводители острием сабли вскрыли вену на левой руке и, схватив руку гонца, каждый из них пролил на нее несколько капель крови.

— Наша кровь нам порукой, сказали они в один голос.

Затем молодой рудокоп вскричал:

— Пусть вся кровь вытечет из моего тела подобно тому, как я выпустил ее в эту минуту; пусть нечистая сила разрушит мои планы, как ураган рассеивает солому; пусть рука моя отсохнет, мстя за обиду; пусть в могиле моей заведутся летучие мыши; пусть при жизни привидятся мне мертвецы; пусть труп мой будет предан поруганию толпы; пусть глаза мои, как у бабы, потекут слезами, если я хоть раз заикнусь о том, что происходило в этот час на прогалине Ральфа Исполина. Да услышат клятвы мои святые угодники!

— Аминь, — докончили оба старика.

После того они разошлись; и на лужайке одиноко догорал костер, потухающие лучи которого по временам освещали развалины пустынных башен Ральфа Исполина.

### XIX

Бенигнус Спиагудри решительно недоумевал, что могло принудить его юного спутника, красивого собой, перед которым лежала еще целая жизнь, искать встречи с страшным Ганом Исландцем. Не раз во время пути заводил он об этом речь, но молодой искатель приключений хранил упорное молчание о цели своего путешествия. Столь же неудачны были и другие попытки Спиагудри разгадать странности, которые примечал он в своем спутнике.

Однажды Спиагудри решился спросить имя и фамилию своего молодого патрона.

— Зови меня Орденером, — ответил тот.

Этот мало удовлетворительный ответ произнесен был тоном, не допускавшим возражения. Приходилось в конце концов уступить; у каждого есть свои тайны, да и сам почтенный Спиагудри, не скрывал ли он заботливо в котомке своей, под плащом таинственной шкатулки, все расспросы о которой показались бы ему неуместными и докучными?

Прошло уже четыре дня с тех пор, как они оставили Дронтгейм, однако наши путники не очень далеко ушли на своем пути как по причине дурной дороги, размытой последней бурей, так и благодаря множеству окольных путей и обходов, которые делал беглый смотритель Спладгеста, считая благоразумным избегать слишком населенных мест. Оставив Сконген вправо от себя, на четвертый день к вечеру достигли они берега озера Спарбо.

Мрачную, величественную картину представляла эта обширная площадь воды, отражавшая последние лучи угасавшего дня и первые вечерние звезды в своей зеркальной поверхности, обрамленной высокими скалами, черной елью и столетними дубами. Вечером вид озера производил иногда на известном расстоянии странную оптическую иллюзию: казалось, будто дивная бездна, проникнув насквозь весь земной шар, позволяет видеть небо, простертое над головами наших антиподов.

Орденер остановился, любуясь древними друидическими рощами, покрывавшими гористые берега озера, и меловыми хижинами Спарбо, которые подобно рассеянному стаду белых коз лепились по отлогостям. Он прислушивался к доносившемуся издали стуку кузниц[[25]](#footnote-25), сливающемуся с глухим шумом таинственного бора, с прерывистым криком диких птиц и с мерным плеском волн. На севере громадная гранитная скала, позлащенная последними лучами дневного светила, величественно высилась над маленькой деревушкой Оельмё, а вершина ее склонилась под грудой развалин древней башни подобно гиганту, изнемогающему под тяжестью ноши.

Когда на душе тяжело, меланхолическое зрелище производит на нее какое то особенное впечатление, воспринимая все оттенки ее печали. Если какой-нибудь несчастливец очутится среди диких высоких гор, близ мрачного озера, в темном лесу, под вечер, это невеселое зрелище, эта сумрачная природа покажется ему как бы прикрытой погребальной завесой; ему почудится, что солнце не заходит, а умирает.

Молча и неподвижно стоял Орденер, погрузившись в свои мечты, когда вдруг товарищ его вскричал:

— Превосходно, милостивый государь! Похвально размышлять таким образом перед норвежским озером, преимущественно изобилующим камбалой!

Это замечание и ужимки, сопровождавшие его, рассмешили бы всякого другого, кроме любовника, быть может навеки, разлученного с своей возлюбленной. Ученый смотритель Спладгеста продолжал:

— Однако, дозвольте нарушить ваши ученые размышление и обратить ваше внимание на то, что день клонится уже к концу; нам следует поспешить, если мы хотим еще засветло добраться до деревни Оельмё.

Замечание было справедливое. Орденер снова пустился в путь и Спиагудри поплелся за ним, продолжая размышлять вслух о ботанических и физиологических феноменах, которые представляло для натуралистов озеро Спарбо.

— Господин Орденер, — говорил он своему спутнику, который не слышал его, — если бы вы захотели послушаться преданного проводника, вы бы отказались от вашего гибельного предприятия. Да, милостивый государь, вы остановились бы здесь на берегах этого достопримечательного озера, где мы вдвоем занялись бы целым рядом научных исследований, как например относительно stella саnora раlustris[[26]](#footnote-26), этого странного растения, признаваемого многими учеными баснословным, но которое видел и крики которого слышал епископ Арнгрим на берегах озера Спарбо. Прибавьте к тому, что мы имели бы удовольствие жить на почве Европы, в особенности изобилующей гипсом и куда редко заходят соглядатаи Дронтгеймской Фемиды. Неужто такая перспектива не улыбается вам, мой юный патрон? И так, откажитесь от вашего безрассудного путешествие, тем более, что, не в обиду будь вам сказано, ваше предприятие сопряжено с опасностью без выгоды, periculum sine pecunia[[27]](#footnote-27), то есть безрассудно и предпринято в тот момент, когда вам лучше было заняться чем-нибудь другим.

Орденер не обращал ни малейшего внимание на слова своего спутника, но поддерживал с ним разговор теми односложными, ничего не выражающими и рассеянными фразами, которые болтуны принимают за ответы. Таким образом прибыли они к деревушке Оельмё, на площади которой в ту минуту заметно было необычайное оживление.

Поселяне, охотники, рыбаки, кузнецы оставили свои хижины и столпились вокруг круглой насыпи, занимаемой какими-то личностями, одна из которых трубила в рог, размахивая над головой маленьким черно-белым флагом.

— Ну, сюда должно быть забрался какой-нибудь шарлатан, — заметил Спиагудри, — аmbubаiаrum соllеgiа, рhоrmасороlае[[28]](#footnote-28), какой-нибудь плут, превращающий золото в свинец и раны в язвы. Посмотрим, какое адское изобретение продает он этой несчастной деревенщине? Добро бы еще эти обманщики терлись около королей, следуя примеру датчанина Борха и миланца Борри, этих алхимиков, вдоволь потешившихся над Фредериком III[[29]](#footnote-29), так нет, крестьянский грош наравне с княжеским миллионом не дает им покоя.

Однако Спиагудри не угадал. Подойдя ближе к насыпи, по черной одежде и круглой, остроконечной шляпе узнали они синдика, окруженного несколькими полицейскими. Человек, трубивший в рог, был глашатай.

Беглый смотритель Спладгеста смутился и тихо пробормотал:

— Ну, господин Орденер, входя в эту деревушку, я совсем не рассчитывал столкнуться здесь с синдиком. Да хранит меня святой Госпиций! Что то он скажет?

Он не долго оставался в неизвестности, так как тотчас же послышался визгливый голос глашатая, которому благоговейно внимала небольшая толпа обитателей деревушки Оельмё:

«Именем его величества и по приказу его превосходительства генерал-губернатора Левина Кнуда, главный синдик Дронтгеймского округа доводит до сведение всех жителей городов, деревень и селений провинции, что:

1) голова Гана, уроженца Клипстадура в Исландии, убийцы и поджигателя, оценена в десять тысяч королевских экю».

Глухой шопот поднялся в среде слушателей. Глашатай продолжал:

«2) голова Бенигнуса Спиагудри, колдуна и святотатца, бывшего смотрителя Спладгеста в Дронтгейме оценена в четыре королевских экю.

3) этот приказ должен быть обнародован во всем округе синдиками городов, деревень и селений, которые обязаны оказать всяческое содействие к удовлетворению правосудия».

Синдик взял указ из рук глашатая и заунывным торжественным голосом провозгласил:

— Жизнь этих людей объявляется вне закона и принадлежит всякому, кто пожелает ее отнять.

Читатель легко представит себе, каково было душевное настроение несчастного, злополучного Спиагудри во время чтение указа. Нет сомнение, что признаки величайшего ужаса, которое он не мог подавить в ту минуту, привлекли бы на него внимание окружающих, если бы оно не было всецело поглощено содержанием первого параграфа указа.

— Оценить голову Гана Исландца! — вскричал старый рыбак, притащивший с собой мокрые сети. — Клянусь святым Усуфом, не мешало бы за одно оценить и голову Вельзевула.

— Да, но чтобы не обидеть Гана, — заметил охотник, которого можно было узнать по одежде из козлиной шкуры, — необходимо за рогатую голову Вельзевула назначить лишь полторы тысячи экю.

— Слава тебе, пресвятая Богородица! — прошамкала, вертя веретено, старуха с плешивой, трясущейся от дряхлости головой. — Уж как бы хотелось мне взглянуть на голову этого Гана. Говорят будто вместо глаз у него два раскаленных угля.

— Правда, правда, — подхватила другая старуха, — от одного его взгляда загорелся кафедральный собор в Дронтгейме. Мне хотелось бы целиком видеть это чудовище с змеиным хвостом, с раздвоенными копытами и с большими нетопырьими крыльями.

— Кто тебе, бабушка, намолол таких сказок, — перебил ее охотник хвастливо. — Я сам видал этого Гана Исландца в Медсихатских ущельях; такой же человек как мы, только ростом будет в сорокалетний тополь.

— Неужели? — спросил кто-то из толпы странным тоном.

Голос этот, заставивший вздрогнуть Спиагудри, принадлежал малорослому субъекту, лицо которого было скрыто широкими полями шляпы рудокопа, а на плечи накинута рогожа, сплетенная из тростника и тюлевой шерсти.

— Клянусь честью, — грубо захохотал кузнец, державший на ремне свой огромный молот, — пусть оценивают его голову в тысячу или в десять тысяч королевских экю, пусть ростом он будет в четыре или в сорок сажен, меня ничем не заставишь разыскивать его.

— Да и меня также, — сказал рыбак.

— И меня, и меня, — послышалось со всех сторон.

— Ну, а если кто захочет попытать счастие, — заметил малорослый, — тот найдет Гана Исландца завтра в развалинах Арбар, близ Смиазена, а после завтра в Вальдергогской пещере.

— Да ты не врешь, молодчик?

Этот вопрос предложен был разом и Орденером, который следил за этой сценой с интересом, легко понятным всякому, кроме Спиагудри, и низеньким, довольно тучным человеком в черном платье, с веселой физиономией, который при первых звуках трубы глашатая вышел из единственной гостиницы деревушки.

Малорослый в широкополой шляпе, казалось, одно мгновение рассматривал их обоих и ответил глухим голосом.

— Нет.

— Но почему же ты говоришь с такой уверенностью? — спросил Орденер.

— Я знаю, где Ган Исландец, знаю также, где Бенигнус Спиагудри. В эту минуту оба недалеко отсюда.

Прежний ужас с новой силой охватил несчастного смотрителя Спладгеста. Он едва осмеливался смотреть на таинственного малорослого незнакомца, воображая, что французский парик недостаточно хорошо скрывал черты его лица, и принялся дергать Орденера за плащ, бормоча тихим голосом:

— Милостивый господин, ради Бога, сжальтесь надо мною, уйдемте отсюда, оставим это проклятое предместье ада...

Орденер, удивленный не меньше своего спутника, внимательно рассматривал малорослого, который, поворотившись спиной к свету, казалось хотел скрыть свое лицо.

— А Бенигнус Спиагудри, — вскричал рыбак, — я видел его в Спладгесте, в Дронтгейме. Это великан. И его то оценили в четыре экю.

Охотник покатился со смеху.

— Четыре экю! Ну, я то уж не стану за ним охотиться. Дороже платят за шкуру синей лисицы.

Это сравнение, которое при других обстоятельствах показалось бы оскорбительным ученому смотрителю Спладгеста, теперь подействовало на него самым успокоительным образом. Тем не менее он хотел было снова просить Орденера продолжать их путь, когда тот, узнав, что ему было нужно, предупредил его желание, выйдя из толпы, начинавшей редеть.

Хотя, прибыв в деревушку Оельмё, они рассчитывали переночевать в ней, но как бы по безмолвному соглашению оба оставили ее, даже не спрашивая друг друга о причине столь поспешного бегства. Орденер надеялся поскорее встретиться с разбойником, а Спиагудри от всей души желал поскорее расстаться с полицейскими.

Орденер был слишком озабочен, чтобы смеяться над злоключениями своего спутника. Первый прервав молчание, он спросил его ласковым тоном:

— Ну, старина, в каких это развалинах можно найти завтра Гана Исландца, как утверждает этот малорослый, которому, кажется, все известно.

— Я не знаю... не дослышал, высокородный господин, — ответил Спиагудри, действительно сказав правду.

— Ну, в таком случае я могу встретиться с ним только после завтра в Вальдергогской пещере?

— В Вальдергогской пещере! Это действительно излюбленное убежище Гана Исландца.

— Так идем же туда, — сказал Орденер.

— Надо повернуть налево за Оельмский утес; до Вальдергогской пещеры менее двух дней ходьбы.

— Известна тебе, старина, эта странная личность, которая, кажется, так отлично знает тебя? — осторожно осведомился Орденер.

При этом вопросе Спиагудри снова затрясся от страха, который начал было ослабевать в нем, по мере того как удалялись они от деревушки Оельмё.

— Нет, право нет, — ответил он, несколько дрогнувшим голосом, — только голос-то у него больно странный...

Орденер попытался успокоить своего проводника:

— Не бойся ничего, старина, служи только мне хорошо и я не выдам тебя никому. Если я выйду победителем из борьбы с Ганом, обещаю тебе не только помилование, но отдам и те тысячи королевских экю, которые назначены за голову разбойника.

Чувствуя необыкновенную привязанность к жизни, честный Спиагудри в то же время страстно любил золото. Обещание Орденера произвели на него магическое действие. Они не только рассеяли весь его страх, но еще пробудили в нем ту смешную веселость, которая выражалась у него длинными монологами, странной жестикуляцией и учеными цитатами.

— Господин Орденер, — начал он, — если бы мне пришлось по этому поводу вступить в спор с Овер Бильзейтом, прозванным Болтуном, ничто, нет ничто не заставило бы меня переменить мое мнение, что вы самый мудрый, самый достойный молодой человек. Да и в самом деле, что может быть прекраснее, что может быть славнее, quid сithаrа, tubа, vеl campana dignius[[30]](#footnote-30), как благородно рисковать своей жизнью, чтобы освободить страну от чудовища, от разбойника, от демона, в котором совокупились все демоны, все разбойники, все чудовища?.. Кто посмеет сказать, что вас влечет к тому постыдная корысть! Благородный господин Орденер награду за поединок отдает своему спутнику, старику, который только на милю не доведет его до Вальдергогской пещеры. Не правда ли, милостивый господин, ведь вы дозволите мне обождать результата вашей славной борьбы в деревушке Сурб, расположенной в лесу, за милю от Вальдергогского берега? А когда узнают о вашей блистательной победе, по всей Норвегии пойдет такое веселье, какое некогда обвладело Вермундом Изгнанником, когда с вершины Оельмского утеса подле которого мы теперь проходим, приметил он большой костер, разведенный братом его Гафданом в знак освобождение, на Мункгольмской башне...

При этом имени Орденер с живостью прервал его:

— Как! Неужели с высоты этого утеса видна Мункгольмская башня?

— Да, милостивый государь, за двенадцать миль к югу, среди гор, прозванных нашими предками Скамейками Фригга. Теперь должен быть хорошо виден башенный маяк.

— Неужели! — вскричал Орденер в восторге при мысли еще раз взглянуть на место, в котором он оставил свое счастие. — Старик, без сомнение какая-нибудь тропинка ведет на вершину этого утеса?

— Само собою разумеется. Тропинка эта, начавшись в лесу, куда мы сейчас выйдем, по некрутой отлогости поднимается к самой голой вершине утеса, где продолжается уступами, высеченными в скале товарищами Вермунда Изгнанника, вплоть до замка, у которого и оканчивается. Развалинами замка вы можете полюбоваться при лунном свете.

— Ну, старина, укажи мне тропинку. Мы переночуем в развалинах, откуда видна Мункгольмская башня.

— Что за фантазия, милостивый государь? — сказал Спиагудри. — Усталости этого дня...

— Я помогу тебе, старина, взобраться; никогда еще не чувствовал я себя таким бодрым.

— Но, милостивый государь, терновник, которым поросла эта давно заглохшая тропинка, размытые дождем камни, ночь...

— Я пойду вперед.

— Но какой-нибудь зловредный зверь, гадина, какое-нибудь гнусное чудовище...

— Я пустился в путь не для того, чтобы избегать чудовищ.

Мысль остановиться невдалеке от Оельмё совсем не нравилась Спиагудри; мысль же взглянуть на Мункгольмский маяк, быть может увидеть свет в окне комнаты Этели восхищала и влекла Орденера.

— Милостивый господин, — взмолился Спиагудри, — послушайтесь меня, откажитесь от вашего намерения. У меня есть предчувствие, что оно наделает нам беды.

Но что значила его просьба сравнительно с желанием Орденера.

— Довольно! — нетерпеливо перебил его Орденер. — Не забудь, что ты обязался верно служить мне. Я хочу, чтобы ты указал тропинку, где она?

— Сейчас мы придем к ней, — ответил Спиагудри, принужденный повиноваться.

Действительно, они скоро нашли тропинку и стали подниматься по ней, но Спиагудри приметил с удивлением, смешанным с ужасом, что высокая трава была помята, что кто-то недавно прошел по древней тропинке Вермунда Изгнанника.

### XX

Генерал Левин Кнуд сидел в глубокой задумчивости перед столом, на котором лежало несколько бумаг и только-что распечатанные письма. Стоявший возле него секретарь по-видимому ожидал его приказаний.

Генерал, то стучал шпорами по роскошному ковру находившемуся под его ногами, то рассеянно играл украшениями орденской цепи Слона, висевшей на его шее. Время от времени он раскрывал рот, как бы намереваясь что-то сказать, но останавливался и потирал лоб, снова устремляя глаза на распечатанные депеши, лежавшие на столе.

— Что за чорт!.. — вдруг вскричал он.

После этого энергичного восклицание снова на минуту воцарилось молчание.

— Кто бы мог вообразить, — продолжал он, — что эти дьявольские рудокопы поднимутся на такие штуки?.. Очевидно, кто-нибудь тайно подстрекает их к возмущению... Но знаете ли, Ваферней, дело-то совсем не шуточное? Пятьсот или шестьсот негодяев под начальством старого разбойника Джонаса уже сбежали с Фарорских рудников; какой то молодой фанатик Норбит стал во главе возмутившихся гульдбрансгальцев; да и головорезы Зунд-Моёра, Губфалло, Конгсберга, которые ждут лишь сигнала, быть может уже взбунтовались. Знаете ли, что в это дело впутались и горцы под предводительством смелой кольской лисицы, старого Кеннибола? Знаете ли, наконец, что, если верить донесениям синдиков, на севере Дронтгеймского округа носится слух, что руководит этим инсуррекционным движением страшный Ган, знаменитый разбойник, голову которого мы только что оценили? Ну, что вы скажете на это, любезный Ваферней?

— Ваше превосходительство, — начал Ваферней, — вам известно какие меры...

— Во всей этой кутерьме я не могу объяснить себе только одно обстоятельство, именно то, что в нашем узнике Шумахере подозревают зачинщика смуты. Этому никто не удивляется, меня же это изумляет донельзя. Я не могу допустить, чтобы человек, которого уважает мой честный Орденер, мог быть изменником. А между тем утверждают, что рудокопы взбунтовались за него, его имя служит им лозунгом и паролем; они даже величают его король... Это еще понятно... но каким образом все эти подробности были уже известны графине Алефельд шесть дней тому назад, когда только первые признаки мятежа проявились в рудокопнях? Тут что то неладно... Но все равно, надо принять предосторожности. Дайте мою печать, Ваферней.

Генерал написал три письма, запечатал их и вручил секретарю.

— Этот приказ вы передадите барону Ветгайну, командиру стрелков, стоящих гарнизоном в Мункгольме; пусть полк его немедленно выступит против мятежников... Вот предписание коменданту Мункгольма, чтобы он усилил надзор за бывшим великим канцлером. Мне необходимо самому повидаться и переговорить с Шумахером...

Наконец, это письмо вы отправите в Сконген, маиору Вольму, чтобы он отрядил часть своего гарнизона на место восстания. Ступайте, Ваферней, надо как можно скорее привести в исполнение мои приказания.

Секретарь вышел, а губернатор снова погрузился в размышления.

— Однако, — думал он, — дела действительно неутешительны. Там бунтуют рудокопы, здесь интригует канцлерша, а сумасшедший Орденер Бог весть куда запропастился! Быть может он слоняется теперь среди этих разбойников, оставив здесь под моим покровительством Шумахера, составляющего заговор против государства, и его дочь, для безопасности которой я заблагорассудил удалить роту, где находится Фредерик Алефельд, обвиняемый Орденером... Право, мне сдается, что эта рота сумеет рассеять первые отряды мятежников. Она отлично расположена для этого и Вальстром, где она стоит гарнизоном, как раз близ Смиазенского озера Арбарских развалин. Без сомнение, мятежники двинутся именно в эту сторону...

Тут размышление генерала прерваны были стуком отворившейся двери.

— Ну-с, что вам надо, Густав?

— Генерал, к вашему превосходительству прибыл гонец..

— Что там еще такое? Вот наказание-то!.. Пошлите его сюда.

Вошедший гонец вручил губернатору пакет.

— Ваше превосходительство, — сказал он, — от его светлости вице-короля.

Генерал поспешно распечатал конверт.

— Клянусь святым Георгием, — вскричал он удивленным тоном, — они все перебесились! Не угодно ли, вице-король приглашает меня явиться к нему в Берген! По весьма важному делу и по приказанию самого короля... Нечего сказать, важное дело случилось как раз во время. «Великий канцлер, находящийся теперь в Дронтгеймском округе, заменит вас во время вашего отсутствия»... Ну эта замена совсем мне не нравится... «Епископ будет его помощником»... Однако, славных же правителей выбрал Фредерик для возмутившейся страны: двух приказных крыс, канцлера и епископа! Ну делать нечего, приглашение именное, и по приказанию короля... Надо повиноваться. Впрочем до отъезда я все же увижусь и переговорю с Шумахером. Я чувствую, что меня хотят запутать в какую то грязную интригу, но у меня есть надежный путеводитель... моя совесть.

### XXI

— Да, ваше сиятельство, мы можем встретиться с ним сегодня же в Арбарских развалинах. Весьма многие обстоятельства убеждают меня в достоверности того драгоценного указание, которое, как я вам уже говорил, случайно получил я в деревне Оельме.

— А далеко ли еще до этих Арбарских развалин?

— Они вблизи Смиазенского озера. Проводник заверил меня, что мы будем там до полудня.

Этот разговор вели промеж себя два всадника, закутавшиеся в темные плащи, проезжая рано утром по одной из тех многочисленных извилистых и узких дорог, которые пересекают во всех направлениях лес, отделяющий Смиазенское озеро от озера Спарбо.

Впереди них ехал на серой лошадке проводник горец, вооруженный топором и с охотничьим рогом, позади следовало еще четыре всадника, вооруженные с ног до головы, на которых время от времени поглядывали разговаривающие, как бы опасаясь быть подслушанными.

— Если этот исландский разбойник действительно находится в Арбарских развалинах, — продолжал один из собеседников, который держал свою лошадь в почтительном отдалении от другого, — это будет уже большой успех, так как вся трудность состоит именно в том, чтобы встретить это неуловимое существо.

— Вы думаете, Мусдемон? А если он не примет нашего предложения?..

— Невозможно, ваше сиятельство! Какой разбойник откажется от золота и безнаказанности?

— Но ведь вам известно, что этот разбойник не заурядный злодей. Его нельзя мерить на свой аршин; если он откажется, каким образом выполните вы обещание, данное вами за прошлую ночь трем предводителям мятежников?

— Ну, ваше сиятельство, в таком случае, хотя я считаю его невозможным, если только нам посчастливится разыскать этого человека; разве вы забыли, что ложный Ган Исландец ждет меня через два дня в условленный час, в месте, назначенном для свидание трем предводителям, в Синей Звезде, долине, расположенной вблизи Арбарских развалин?

— Вы правы, всегда правы, любезный Мусдемон, — заметил граф, и оба погрузились в молчаливое раздумье.

Мусдемон, которому выгодно было поддерживать хорошее расположение духа своего патрона, чтобы развлечь его, спросил проводника.

— Послушай, молодец, что это за полуразрушенный каменный крест возвышается там, позади молодых дубков?

Проводник, субъект с тупым взором и глуповатым лицом, обернулся и ответил, качая головой:

— О! Сударь, это самая древняя виселица Норвегии. Святой король Олаф воздвиг ее для судьи, заключившего договор с разбойником.

Мусдемон приметил на физиономии своего патрона выражение совсем противное тому, которое он надеялся вызвать ответом проводника:

— Это очень занятная история, — продолжал тот, — которую я слышал от бабушки Озии: разбойник сам должен был повесить судью...

Наивный проводник совсем не замечал, что история, которою он хотел позабавить путешественников, была для них почти оскорблением. Мусдемон перебил его.

— Да, да, — сказал он, — нам известна эта история.

— Наглец! — пробормотал граф. — Ему известна эта история! Ну, Мусдемон, дорого же ты мне поплатишься за свою наглость.

— Что вы изволили сказать, ваше сиятельство? — спросил Мусдемон с раболепным видом.

— Я размышлял, каким бы образом добиться для вас ордена Даннеброга. Свадьба моей дочери Ульрики с бароном Орденером представит тому удобный случай.

Мусдемон рассыпался в изъявлениях благодарности.

— Кстати, — продолжал граф, — потолкуем о моих делах. Как вы думаете, приказ о временной отлучке получен уже мекленбуржцем?

Читатель, быть может, помнит, что граф имел привычку называть так генерала Левина Кнуда, который действительно был родом из Мекленбурга.

— Поговорим о твоих делах! — подумал оскорбленный Мусдемон. — Как будто мои дела не наши дела... Ваше сиятельство, — отвечал он вслух, — я полагаю, что гонец вице-короля должно быть теперь уже в Дронтгейме, так что генерал Левин вскоре отправится...

Граф продолжал взволнованным голосом:

— Это отозвание, любезный Мусдемон, одна из ваших мастерских выдумок; это одна из ваших великолепно задуманных и искусно выполненных интриг.

— Честь за нее принадлежит столько же вашей милости, сколько и мне, — возразил Мусдемон, старавшийся, как мы уже заметили, вмешивать графа во все проделки.

Патрон отлично знал тайную мысль своего клеврета, но не подал вида и улыбнулся:

— Вы всегда скромничаете, любезный Мусдемон; но я не забуду ваших бесценных услуг. Присутствие Эльфегии и отъезд мекленбуржца обеспечивают мое торжество в Дронтгейме. Теперь я управляю округом и если Ган Исландец примет мое предложение и станет во главе мятежников, король припишет мне всю славу за усмирение бунта и поимку страшного разбойника.

Они разговаривали вполголоса, как вдруг проводник обернулся.

— Вот, господа, — сказал он, — посмотрите, налево от нас пригорок, на котором Биорд Справедливый велел обезглавить перед своим войском Веллона Двуязычного, изменника, который, удалив верных защитников короля, призвал неприятелей в лагерь, чтобы показать, что он один спас жизнь Биорда...

Все эти древние норвежские предания совсем не нравились Мусдемону, и он поспешно перебил проводника:

— Да, да, мой милый, не болтай и продолжай путь, не оборачиваясь. Какое нам дело, что развалины и высохшие деревья напоминают тебе глупые предания? Своими бабьими сказками ты досаждаешь моему господину.

Он говорил правду.

### XXII

Вернемся теперь к нашим путешественникам, которых мы оставили взбирающимися не без труда при свете луны на крутую кривизну Оельмского утеса. Этот утес, лишенный растительности от начала кривизны, известен был среди норвежских крестьян под именем Ястребиной Шеи, название, действительно отвечавшее очертаниям, которые представляла издали эта огромная масса гранита.

По мере того как Орденер и Спиагудри приближались к обнаженной части утеса, лес сменялся кустарником, трава — мхом, дуб и береза — диким шиповником, дроком и остролистом: оскудение растительности, которое на высоких горах всегда указывает близость вершины, вследствие постепенного истончение почвы, одевающей, так сказать, остов горы.

— Господин Орденер, — заговорил Спиагудри, подвижное воображение которого то и дело увлекалось водоворотом различных идей, — эта отлогость крайне утомительна и надо быть очень преданным вам, чтобы следовать по ней за вами... Постойте, кажется я вижу там направо роскошный convоlvulus[[31]](#footnote-31), мне хотелось бы рассмотреть его поближе. Как жаль, что теперь не день!.. Воля ваша, а это ужасная наглость оценить подобного ученого, как я, в каких-нибудь четыре несчастных экю! Положим, что славный Федр был рабом, что Эзоп, если верить ученому Планудию, был продан на ярмарке как животное или вещь. А кто не возгордился бы, имея что-нибудь общее с великим Эзопом?

— И с знаменитым Ганом? — добавил, улыбаясь Орденер.

— Ради святого Госпиция, — взмолился Спиагудри, — не упоминайте этого имени. Клянусь вам, я легко обойдусь и без такого сближения. Однако какие странности возможны на белом свете, если цена за его голову достанется Бенигнусу Спиагудри, товарищу его по несчастию!.. Господин Орденер, вы гораздо благороднее Язона, который не отдал золотого руна кормчему Арго; ваше же предприятие, цели которого я все еще не могу хорошенько понять, не менее опасно, чем предприятие Язона.

— Но, так как ты знаешь Гана Исландца, — сказал Орденер, — сообщи мне некоторые сведение о нем. Ты мне уже упоминал, что это совсем не гигант, каким обыкновенно его рисуют.

Спиагудри прервал его:

— Постойте, сударь, не слышите ли вы шума шагов позади нас?

— Да, — спокойно ответил молодой человек, — только не пугайся. Это какой-нибудь красный зверь, которого спугнуло наше приближение, и который бежит, ломая кусты.

— Да, это возможно, мой юный Цезарь; уже с давних пор не заглядывало в эти леса ни одно человеческое существо! Если судить по тяжелой поступи, зверь надо полагать огромный. Это или лось, или северный олень, который заходит иногда в эту сторону Норвегии. Тут водятся также рыси. Между прочим, я видел одну чудовищной величины, когда ее привезли в Копенгаген. Я должен описать вам этого свирепого зверя.

— Нет, любезный проводник, — перебил Орденер, — я предпочитаю, чтобы ты описал мне другое чудовище, не менее свирепое, страшного Гана...

— Тише, милостивый государь! Как вы спокойно произносите подобное имя! Вы не знаете... Боже мой, слышите вы!

С этими словами Спиагудри приблизился к Орденеру, который действительно услыхал крик, похожий на рев. Подобный же рев, как помнит читатель, страшно напугал трусливого смотрителя Спладгеста в тот бурный вечер, когда он бежал из Дронтгейма.

— Слышали вы? — пробормотал Спиагудри, задыхаясь от ужаса.

— Конечно, — ответил Орденер, — и не понимаю, чего ты дрожишь. Это рев дикого зверя, быть может просто крик одной из тех рысей, о которых ты только что упоминал. Неужели ты рассчитывал пройти в эту пору в подобной местности, не будучи извещен ничем о присутствии хозяев, которых мы потревожили? Поверь мне, старина, они больше перепугались, чем ты.

Спиагудри несколько успокоился, видя спокойствие своего молодого спутника.

— Ну, дай-то Бог, чтобы и на этот раз вы были правы. Однако крик этого зверя ужасно походит на голос... Извините меня, милостивый государь, но право не в добрый час надумались вы взбираться к замку Вермунда. Я боюсь, что бы над нами не стряслась какая беда на Ястребиной шеи.

— Не бойся ничего, пока ты со мною, — ответил Орденер.

— О! Вас то ничем не проймешь; но, милостивый государь, один лишь блаженный Павел мог безнаказанно брать змею в руки. Вы не обратили внимание, когда мы стали взбираться на эту проклятую тропинку, что по ней по-видимому недавно кто-то прошел, так что помятая трава не успела еще расправиться.

— Признаюсь, все это нисколько меня не интересует, и мое душевное спокойствие ничуть не зависит от того, помяты стебли травы, или нет. Но вот, мы сейчас выйдем из кустарника, не будем слышать ни шагов, ни криков зверей; я советую тебе, мой храбрый проводник, не собраться с мужеством, нет, а собраться с силами, так как высеченная в скале тропинка будет, пожалуй, потруднее пройденной.

— Да, но не от крутизны, милостивый государь, так как ученый путешественник Суксон рассказывает, что она часто загромождена бывает обломками скал, или тяжелыми камнями, которые не своротишь и через которые не так то легко перелезть. Между прочим, недалеко от Малаерского подземного выхода, к которому мы приближаемся, находится громадная трехугольная глыба гранита, на которую давно уже сильно хотелось мне взглянуть. Шоннинг утверждает, что видел на нем три первобытных рунических письменных знака...

Некоторое уже время путешественники взбирались по голому утесу; они достигли маленькой развалившейся башни, через которую им надо было пройти и на которую Спиагудри обратил внимание Орденера.

— Вот здесь Малаерский подземный выход, милостивый государь. На этой дороге мы встретим еще много других любопытных сооружений, которые показывают на каком уровне стояло в древности фортификационное искусство норвежцев. Этот подземный выход, постоянно охраняемый четырьмя вооруженными стражами, представляет передовое укрепление замка Вермунда. Кстати о выходе, монах Урензиус делает интересное замечание, слово jаnuа[[32]](#footnote-32), происходящее от Jаnus, храм которого достопримечателен был своими дверями, не произвело ли слова *янычар*, страж двери султана? Курьезно было бы, если бы действительно имя самого благодетельного царя в истории перешло к самым свирепым солдатам на свете.

С этой научной болтовней смотрителя Спладгеста, они с трудом взбирались по гладким камням и острым обломкам скалы, меж которых кое-где рос на утесе короткий и скользкий дерн.

Орденер забывал об усталости, мечтая о счастии снова взглянуть на далекий Мункгольм, как вдруг Спиагудри вскричал:

— А! Я вижу ее! Один вид ее вознаграждает меня за все труды. Я вижу ее, сударь, я ее вижу!

— Кого это? — спросил Орденер, думавший в эту минуту об Этели.

— Пирамиду, милостивый государь, трехугольную пирамиду, о которой говорит Шоннинг. После профессора Шоннинга и епископа Излейфского я буду третьим ученым, которому посчастливилось рассматривать ее вблизи. Как досадно, однако, что это произойдет при лунном свете.

Приблизившись к знаменитой глыбе, Спиагудри вдруг испустил крик печали и ужаса. Изумленный Орденер осведомился с любопытством о новой причине его волнение, но ученый археолог в течении нескольких минут не мог выговорить слова.

— Ты думал, — заметил Орденер, — что этот камень заграждает дорогу; напротив, тебе следовало бы с удовольствием убедиться, что она вполне свободна для прохода.

— Вот это-то и приводит меня в отчаяние! — вскричал Бенигнус жалобным тоном.

— Это отчего?

— Как, милостивый государь, разве вы не примечаете, что эта пирамида сдвинута с места; что основание ее, которым она упиралась на тропинку, смотрит теперь на воздух, между тем как бок, на котором Шоннинг открыл первобытные рунические письмена, лежит теперь на земле?.. Какое несчастие!

— Тебе действительно не везет, — заметил молодой человек.

— И добавьте к тому, — с живостью продолжал Спиагудри, — что смещение этой глыбы доказывает присутствие какого то сверхъестественного существа. Если только это не дело дьявола, во всей Норвегии рука только одного человека в состоянии...

— Мой бедный проводник. Тебя снова обуял панический ужас. Кто знает, быть может этот камень лежит так уже более столетия.

— Правду сказать, — заметил Спиагудри более спокойным тоном, — прошло сто пятьдесят лет с тех пор как изучал его последний исследователь. Однако мне сдается, что он сдвинут недавно; место, которое он занимал еще сыро. Посмотрите, сударь...

Орденер, нетерпеливо желавший добраться поскорее до развалин, оттащил своего проводника от чудесной пирамиды и успел разумными доводами рассеять новый страх внушенный старому ученому странным перемещением глыбы.

— Послушай, старина, тебе лучше всего поселиться на берегу этого озера и в свое удовольствие заняться важными исследованиями, когда ты получишь десять тысяч королевских экю за голову Гана.

— Вы правы, благородный господин мой, но не говорите так легкомысленно о победе, весьма сомнительной. Мне необходимо подать вам совет, чтобы вы легче могли захватить чудовище...

Орденер с живостью приблизился к Спиагудри.

— Совет! Какой совет?

— Разбойник, — отвечал тот тихим голосом, бросая вокруг себя беспокойные взгляды, — разбойник носит за поясом череп, из которого обыкновенно пьет. Это череп его сына, за осквернение трупа которого меня преследуют теперь...

— Говори погромче, не бойся ничего, я с трудом могу расслышать твой голос. Ну! Этот череп...

— Этот череп, — продолжал Спиагудри, наклоняясь к уху молодого человека, — вам надо постараться захватить в свои руки. Чудовище питает к нему не знаю какие-то суеверные чувства. Когда вы завладеете черепом его сына, разбойник очутится в вашей власти.

— Прекрасно, мой храбрый спутник; но каким же образом я завладею этим черепом?

— Хитростью, милостивый государь; может быть во время сна чудовища...

Орденер перебил его:

— Довольно. Твой добрый совет мне не подходит. Мне не к чему знать, спит ли враг. В борьбе я полагаюсь лишь на мою саблю.

— Эх, сударь! Разве не хитростью архангел Михаил победил дьявола...

Спиагудри вдруг остановился, протянул вперед руки и простонал слабым голосом:

— Святые угодники! Что это я вижу там? Посмотрите, милостивый господин, разве не малорослый идет по одной тропинке впереди нас?..

— Клянусь честью, — сказал Орденер, поднимая глаза, — я не вижу никого.

— Никого, сударь? Действительно, тропинка заворачивает и он исчез за скалой... Заклинаю вас, сударь, не ходите далее ни шагу.

— Полно! Если этот субъект так поспешно исчез, это вовсе не доказывает, что он намерен ждать нас; если же он убежал, разве будет разумно с нашей стороны следовать его примеру.

— Да защитит нас святой Госпиций! — прошептал Спиагудри, который в критическую минуту всегда призывал своего патрона.

— Ты принял за человека движущуюся тень спугнутой совы, — заметил Орденер.

— Однако, я убежден, что видел малорослого, хотя лунный свет часто производит странные иллюзии. Под влиянием этого света Балдан Мернейский принял белый полог постели за тень своей матери, что и побудило его на следующий день объявить себя ее убийцей перед судьями Христиании, которые хотели было обвинить в этом невинного пажа покойной. Таким образом можно сказать, что лунный свет спас жизнь этого пажа.

Никто не мог лучше Спиагудри забывать настоящего в минувшем. Одного воспоминание его обширной памяти достаточно было для того, чтобы изгладить впечатление минуты. Теперь история Балдана рассеяла его страх, и он заметил спокойным тоном:

— Весьма возможно, что меня тоже ввел в заблуждение лунный свет.

Между тем они достигли вершины Ястребиной Шеи и принялись осматривать развалины, которые до сих пор были скрыты от них кривизной утеса.

Пусть читатель не удивляется, что мы так часто встречаем развалины на вершинах норвежских гор. Всякий, кто посещал европейские горы, конечно часто примечал развалины крепостей и замков, как бы висящих на хребте самых высоких гор, подобно брошенным гнездам ястребов или орлов.

В эпоху, нами описываемую, в Норвегии этот род воздушных построек в особенности поражал как своею численностью, так и разнообразием. Там попадались то длинные полуразрушенные стены, опоясывавшие утес; то остроконечные тонкие башенки, венчавшие вершину гор, подобно царской короне; то массивные башни, сгруппированные вокруг замка и казавшиеся издали древней тиарой на седой голове высокого утеса. Рядом с тонкими стрельчатыми аркадами готического монастыря виднелись тяжелые египетские колонны саксонской церкви; рядом с цитаделью из четырехугольных башен языческого вождя — зубчатая крепость христианского владетеля; рядом с замком, разрушившимся от времени — монастырь, раззоренный войной.

От этих зданий, представлявших смесь странных и почти неведомых теперь архитектур, от этих зданий, смело сооруженных на местах, по-видимому, неприступных, остались одни лишь обломки, как бы свидетельствующие о могуществе и ничтожестве человека. Быть может в этих зданиях совершались дела гораздо более достойные описание, чем все, о чем повествуют на земле; но событие эти свершились, смежились очи, видевшие их, предание о них утратились с течением времени, подобно угасающему огню — и кто в состоянии теперь проникнуть в тайну веков?

Жилище Вермунда Изгнанника, до которого добрались наконец оба путешественника, было именно одно из тех зданий, с которыми суеверие связывает наиболее удивительные приключение, наиболее чудесные истории.

По каменным стенам его, скрепленным цементом, ставшим тверже камня, легко было судить, что сооружение это относится к пятому или шестому столетию. Из пяти башен его только одна сохранила свою прежнюю высоту; остальные четыре, более или менее разрушенные, обломками которых усеяна была вершина утеса, соединялись друг с другом рядами развалин, указывавшими древние границы внутренних дворов замка. Весьма трудно было проникнуть во внутренность замка, загроможденную камнями, обломками скал и густым кустарником, который, расстилаясь с одной развалины на другую, скрывал под своей листвой обрушившиеся стены, или длинными гибкими ветвями свешивался в пропасть.

Ходила молва, что на этой чаще ветвей качались при лунном свете синеватые призраки, преступные души утопившихся в озере Спарбо, что на ней оставлял домовой озера облако, на котором улетал при восходе солнца. Свидетелями этих страшных тайн были отважные рыбаки которые, пользуясь сном морских собак[[33]](#footnote-33), осмеливались направлять свои лодки под самый Оельмский утес, рисовавшийся в тени над их головами, подобно разломанной арке гигантского моста.

Наши искатели приключений не без труда проникли за стену жилища через расщелину, так древние ворота засыпаны были развалинами. Единственная башня, которая, как мы уже сказали, устояла против разрушительного действие времени, расположена была на краю утеса.

С ее то вершины, по словам Спиагудри, Орденер мог увидеть маяк Мункгольмской крепости. Они направились к ней, не взирая на царившую вокруг густую темноту. Тяжелая черная туча совсем закрыла луну. Они хотели уже войти в брешь другой стены, чтобы пробраться во второй двор замка, как вдруг Спиагудри замер на месте и поспешно ухватился за Орденера рукою, дрожавшей так сильно, что молодой человек даже зашатался.

— Что еще?.. — с удивлением спросил Орденер.

Не отвечая ни слова, Бенигнус с живостью схватил его за руку, как бы для того, чтобы принудить замолчать.

— Но... — заикнулся молодой человек.

Новое пожатие руки, сопровождаемое глубоким полуподавленным вздохом, заставило его решиться терпеливо обождать, пока утихнет новый прилив страха.

Наконец Спиагудри промолвил задыхающимся голосом:

— Ну, милостивый господин, что вы на это скажете?

— На что? — спросил Орденер.

— А, сударь, — продолжал Бенигнус тем же тоном, — вы теперь раскаиваетесь, что забрались сюда!

— Ничуть, мой храбрый проводник: напротив я рассчитываю забраться еще выше. Почему это хочешь ты, чтобы я раскаивался?

— Как, сударь, так вы не видели ничего?

— Видел! Что видел?

— Так вы не видели ничего... — повторил достойный смотритель Спладгеста с возрастающим ужасом.

— Решительно ничего! — нетерпеливо вскричал Орденер. — Ничего не видел, а слышал только стук твоих зубов, которые от страха стучали как в лихорадке.

— Как! Неужто вы не приметили там, за стеной, в тени... два устремленных на нас, сверкающих как кометы, глаза?..

— Честное слово, нет.

— Так вы не видели как они блуждали, поднимались, спускались и наконец исчезли в развалинах?

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Ну что за важность, если бы и видел?

— Как! Господин Орденер, разве вам не известно, что во всей Норвегии глаза только одного человека могут так сверкать в темноте?...

— Ну что за важность? Кто же это обладает такими кошачьими глазами? Может быть Ган, твой грозный Исландец? Тем лучше, если он здесь! По крайней мере нам не придется странствовать в Вальдергогскую пещеру.

Это тем лучше пришлось совсем не по вкусу Спиагудри, который не мог удержаться, чтобы не выдать своей тайной мысли невольным восклицанием.

— Ах! Сударь, не вы ли обещали оставить меня в деревне Сурб за милю от места поединка?..

Добродушный, честный Орденер понял и улыбнулся.

— Ты прав, старина; было бы несправедливо подвергать тебя моим опасностям. Не бойся ничего, ты всюду видишь этого Гана Исландца. Разве в эти развалины не может забраться дикая кошка с такими же блестящими глазами, как у этого субъекта?

Чуть ли не в пятый раз Спиагудри успокоился, отчасти оттого, что спокойствие его юного спутника имело в себе нечто заразительное.

— Ах! Сударь, без вас я уж раз десять бы умер со страху, карабкаясь по этим скалам.... Правда, если бы не вы, я не отважился бы на такое путешествие.

При свете луны, вышедшей из-за туч, они приметили вход в высокую башню, подножие которой только что достигли. Они вошли в него, раздвигая густую завесу плюща, откуда посыпались на них сонные ящерицы и старые гнезда хищных птиц. Спиагудри поднял два кремня и стал высекать из них огонь на кучу сухих листьев и валежника, набранного Орденером. Через минуту вспыхнуло яркое пламя, рассеяв окружающую темноту и позволяя осмотреть внутренность башни.

Внутри уцелели только круглые, очень толстые стены, поросшие плющом и мохом. Потолки всех четырех этажей последовательно, один за другим обвалились на земляной пол нижнего этажа, образовав там огромную груду обломков. Узкая, без перил лестница, поломанная во многих местах, шла спиралью по внутренней поверхности стены вплоть до самой вершины башни.

При первом треске огня, целая туча сов и орланов тяжело поднялась на воздух, испуская зловещие, испуганные крики, а огромные летучие мыши по временам касались пламени своими пепельного цвета крыльями.

— Ну, хозяева то не очень радушно принимают нас, — заметил Орденер, — смотри, не испугайся опять.

— Что вы, сударь, — возразил Спиагудри, усаживаясь к огню, — чтобы я испугался каких-нибудь сов или летучих мышей! Возясь с трупами, я нисколько не страшился вампиров. Ах! Я боюсь только людей! Надо сознаться, я не очень храбр, но за то я нисколько не суеверен... Послушайте-ка, сударь, меня, оставим в покое этих дам с черными крыльями и хриплыми голосами, и позаботимся об ужине.

Орденер интересовался только Мункгольмом.

— Я захватил с собой кой-какой провизии, — продолжал Спиагудри, вынимая из под плаща свою котомку, — и если вы также проголодались как я, этот черный хлеб и этот заплесневелый сыр скоро исчезнут в наших желудках. Боюсь только, что мы будем еще умереннее, чем закон французского короля Филиппа Красивого: Nemо аudеаt соmеdеrе рrаеtеr duо fеrсulа сum роtаgiо[[34]](#footnote-34). Не дурно было бы пошарить в гнездах чаек или фазанов на верхушке этой башни, да как взберешься туда по этой шаткой лестнице, на которой и сильф-то с трудом удержится?

— Однако, — заметил Орденер, — она должна сдержать меня, потому что я во что бы то ни стало заберусь на вершину башни.

— Что вы, сударь! Из за каких-нибудь гнезд чаек?. Ради Бога оставьте это сумасбродство. Не стоит рисковать своей жизнью, чтобы лучше поужинать. Не забудьте, что вы легко можете ошибиться и захватить с собой совиное гнездо.

— Стану я заботиться о твоих гнездах! Не говорил ли ты мне, что с высоты этой башни виден Мункгольмский замок?

— Это правда, молодой человек, к югу! Вижу, что желание выяснить этот важный для географии факт побудило вас предпринять утомительное восхождение к замку Вермунда. Но вспомните, благородный господин Орденер, что долг ревностного ученого пренебрегать иной раз усталостями, но никак не опасностями. Умоляю вас, оставьте в покое эту дрянную, развалившуюся лестницу, на которой и ворону-то негде усесться.

Бенигнусу совсем не хотелось остаться одному внизу башни. Когда он повернулся, чтобы удержать Орденера за руку, котомка, лежавшая у него на коленях, свалилась на землю и зазвенела.

— Что это звенит у тебя в котомке? — спросил Орденер.

Этот вопрос, задевший чувствительную струну Спиагудри отбил у него всякую охоту удерживать своего спутника.

— Ну, — сказал он, не отвечая на вопрос, — если уж вы, не смотря на мои просьбы, решились взобраться на верхушку этой башни, остерегайтесь трещин лестницы.

— Хорошо, но, — снова повторил свой вопрос Орденер, — что это в твоей котомке издает такой металлический звук?

Эта нескромная настойчивость сильно не понравилась старому смотрителю Спладгеста, который от души проклинал любопытство своего товарища.

— Э! Сударь, — ответил он, — стоит вам обращать внимание на дрянное железное блюдце для бритья, которое стукнулось о камень!.. Уж если вы не хотите меня послушаться, — поспешил он прибавить, — не мешкайте и спускайтесь поскорее назад, придерживаясь за плющ, который вьется по стене. Мункгольмский маяк вы увидите на юге, между двумя скамейками Фригги.

Спиагудри ничего лучшего не мог придумать для того, чтобы отвлечь внимание молодого человека от котомки.

Скинув плащ, Орденер стал взбираться по лестнице, товарищ его следил за ним глазами, пока он не стал казаться легкою тенью, скользившей в вышине стены, вершина которой едва освещалась колеблющимся пламенем костра и неподвижным отблеском луны.

Тогда смотритель Спладгеста снова уселся у огня и поднял свою котомку.

— Ну, мой милый Бенигнус Спиагудри, — пробормотал он, — пока не видит тебя эта молодая рысь и пока ты один, поспеши разбить эту неудобную железную крышку, которая мешает тебе вступить во владение, осulis et mаnu[[35]](#footnote-35), сокровищем, без сомнение заключающимся в этом ящике. Когда оно освободиться из своей тюрьмы, его легче будет носить и удобнее прятать.

Вооружившись большим камнем, он готовился уже разбить крышку шкатулки, как вдруг луч света, упавший на железную печать, остановил антиквария.

— Клянусь святым Виллебродом Нумизматом, я не ошибаюсь, — вскричал он, вытирая ржавую крышку. — это герб Гриффенфельда! Я чуть не сделал страшную глупость, разбив печать, быть может единственный образец знаменитого герба, разбитого рукою палача в 1676 году. Чорт возьми! Не станем трогать крышку, которая сама по себе драгоценнее сокровищ, скрытых под нею, если только, что впрочем не вероятно, там не лежат монеты Пальмиры или карфагенские медали. И так, у меня одного находится не существующий теперь герб Гриффенфельда! Надо припрятать получше это сокровище. Быть может мне удастся узнать секрет открыть этот ящик, не прибегая к вандализму. Герб Гриффенфельда! Да! Нет сомнения, вот жезл правосудие, весы на красном поле... Какая счастливая находка!

При каждом новом геральдическом открытии, которое он делал, стирая ржавчину с старой печати, с губ его срывался то крик удивление, то восторженное восклицание.

— Посредством разлагающего вещества я вскрою замок, не повредив печати. Тут без сомнение сокровища бывшего канцлера... Если кто-нибудь признает меня и, соблазнившись четырьмя экю синдика, задержит на дороге, мне не трудно будет откупиться... Таким образом, мою жизнь спасет этот благодетельный ящик...

С этими словами он машинально поднял взор. В одно мгновение ока смешная физиономия его, только что выражавшая живейшую радость, оцепенела от ужаса. Конвульсивная дрожь пробежала по членам, глаза расширились, лоб покрылся морщинами, рот остался разинутым, голос замер в гортани подобно потухающему пламени.

Перед ним по ту сторону костра стоял малорослый, скрестив руки на груди. По одежде его из окровавленных шкур, по каменному топору, по зверскому взгляду, устремляемому на него, злополучный смотритель Спладгеста тотчас же узнал страшное существо, посетившее его в последнюю ночь, которую провел он в Дронтгейме.

— Это я! — произнес малорослый с угрожающим видом. — Твою жизнь спасет этот ящик, — добавил он с страшной иронической усмешкою. — Разве здесь дорога в Токтре?

Несчастный Спиагудри пытался произнести несколько слов.

— В Токтре!.. Сударь... Милостивый господин... я шел туда...

— Ты шел в Вальдергогскую пещеру, — ответил тот громовым голосом.

Пораженный ужасом, Спиагудри собрал все свои силы, чтобы отрицательно покачать головой.

— Ты вел ко мне врага; спасибо! По крайней мере одним живым существом будет меньше. Не бойся, верный проводник, он последует за тобою.

Несчастный смотритель Спладгеста хотел было закричать, но мог испустить только какое то невнятное ворчанье.

— Зачем ты боишься меня? Ведь ты меня искал... Слушай же, не кричи, не то ты тотчас же умрешь.

Малорослый взмахнул каменным топором над головой Спиагудри, и продолжал голосом, который выходил из его груди подобно реву потока, вырывающегося из пещеры:

— Ты изменил мне.

— Нет, ваша милость, нет, ваше превосходительство, — сказал наконец Бенигнус, с трудом произнося эти умоляющие слова.

Малорослый испустил глухой рев.

— А! Ты еще хочешь обмануть меня! Напрасно... Слушай, я был на кровле Спладгеста, когда ты заключил договор с тем безумцем; дважды я давал тебе знать о себе. Мой голос слышал ты на дороге во время бури; это я нашел тебя в башне Виглы; это я сказал тебе: до свидания!..

Пораженный ужасом, Спиагудри кидал вокруг себя блуждающие взоры, как бы ища помощи. Малорослый продолжал.

— Я не хотел упустить солдат, которые преследовали тебя. Они были Мункгольмского полка, а тебя я всегда мог найти. Спиагудри, это меня видел ты в деревне Оельме в войлочной шляпе рудокопа. Мои шаги, мой голос и мои глаза узнал ты в этих развалинах; все это был я!

Увы! Несчастный был слишком убежден в этом, чтобы сомневаться. Он упал на землю к ногам своего грозного судьи и, задыхаясь от ужаса, вскричал раздирающим душу голосом:

— Пощадите!

Малорослый, скрестив руки, устремил на него налитые кровью глаза, сверкающие ярче пламени костра.

— Моли этот ящик о твоем спасении, — заметил он с страшной иронией.

— Пощадите!.. Пощадите! — повторял Спиагудри, полумертвый от страха.

— Я предупреждал тебя, чтобы ты был верен и нем. Ты изменил мне, но клянусь, ты онемеешь на веки.

Спиагудри, поняв страшный смысл этих слов, застонал.

— О! Не бойся, — продолжал малорослый, — ты не расстанешься с своим сокровищем.

С этими словами он снял с себя кожаный пояс, продел его в кольцо ящика и привязал к шее Спиагудри, который согнулся под непосильной тяжестью.

— Ну, — продолжал малорослый, — какому дьяволу поручаешь ты свою душу? Зови его скорее на помощь, не то другой демон, о котором ты и не помышлял, завладеет ею прежде него.

Старик в отчаянии, не в силах произнести ни слова, упал к ногам малорослого, знаками выражая свой ужас и мольбу о пощаде.

— Нет, нет! — произнес тот. — Слушай, верный Спиагудри, не отчаивайся, оставляя без проводника своего молодого товарища. Говорю тебе, он последует за тобою. Иди же! Ты только проложишь ему дорогу... Ну!

С этими словами, схватив несчастного в свои железные тиски, он вынес его из башни, как тигр, уносящий длинную змею.

Минуту спустя, громкий крик огласил развалины, смешавшись с страшным взрывом хохота.

### XXIII

Между тем отважный Орденер, рискуя раз двадцать свалиться с шаткой лестницы, добрался наконец до вершины толстой круглой стены башни.

При его неожиданном появлении черные столетние совы, спугнутые с развалин, разлетелись в стороны, устремив на него свой пристальный взор; круглые камни, катясь под его ногами, падали в бездну, ударяясь о выступы скал с глухим, отдаленным шумом.

В другое время Орденер принялся бы осматривать пропасть, глубина которой увеличивалась ночной темнотой. Взгляд его, обозревая огромные тени на горизонте, темные контуры которых едва белелись на притуманном блеске луны, пытался бы различать пары от скал и горы от облаков; в его воображении ожили бы все эти гигантские образы, все эти фантастические виды, которые при лунном свете воспринимают горы и туманы. Он прислушивался бы к смутному говору озера и леса, смешивающемуся с резким свистом сухой травы, волнуемой ветром у его ног, среди расселин скалы. Его ум одарил бы языком эти мертвенные голоса, которые издает природа в ночной тишине, когда все на земле засыпает.

Между тем, в эту минуту, хотя сцена, явившаяся взору Орденера, невольно взволновала все его существо, иные мысли толпились в его голове. Едва нога его ступила на вершину стены, взоры его устремились к югу и невыразимый восторг овладел им, когда приметил он меж хребтами двух гор блестящую точку, сверкавшую на горизонте, подобно красной звезде.

То был Мункгольмский маяк.

Истинные радости жизни недоступны тому, кто не в состоянии понять счастие, охватившего все существо молодого человека. Сердце его забилось от восторга; сильно вздымающаяся грудь едва дышала. Устремив неподвижный пристальный взор на звезду, он взирал на нее с умилением и надеждой. Ему казалось, что этот луч света в глубокую ночь исходивший из жилища, в котором таилось его блаженство, несся к нему из сердца Этели.

О! Нельзя сомневаться, что иной раз, не взирая на время и пространство, души могут таинственным образом беседовать между собою. Тщетно реальный мир воздвигает преграды между двумя любящими сердцами; живя идеальной жизнью, они свидятся и в разлуке, соединятся и в смерти. Что значит разлука телесная, физическое расстояние для двух существ, неразрывно соединенных единомыслием и общим стремлением.

Истинная любовь может страдать, но никогда не умрет.

Кто не стоял сотни раз в дождливую ночь под окном, едва освещенном во мраке? Кто не ходил взад и вперед перед дверью, кто радостно не блуждал вокруг дома? Кто поспешно не сворачивал с дороги, чтобы следовать вечером по извилинам глухой улицы за развевающимся платьем, за белым покрывалом, нечаянно примеченным в тени? Кому неизвестны эти волнение, тот никогда не любил.

Глядя на отдаленный Мункгольмский маяк, Орденер погрузился в задумчивость. Печальное, ироническое довольство сменило в нем первый восторг; тысячи разнообразных ощущений столпились в его взволнованной груди.

— Да, — говорил он себе, — долгий, томительный путь должен совершить человек, чтобы наконец приметить точку счастия в беспредельной ночи... Она там!.. Спит, мечтает, быть может думает обо мне... Но кто поведает ей, что ее печальный, одинокий Орденер стоит теперь во мраке на краю бездны?.. Ее Орденер, который имеет от нее только локон на груди и неясный свет огня на горизонте!..

Взглянув на красноватый отблеск костра, разведенного в башне, отблеск, пробивавшийся наружу через трещины в стене, он продолжал:

— Кто знает, может быть она равнодушно смотрит из окна своей тюрьмы на отдаленное пламя этого очага...

Вдруг громкий крик и продолжительный взрыв хохота послышались ему, как бы выходя из пропасти, лежащей у его ног; он поспешно обернулся и приметил, что внутренность башни опустела.

Беспокоясь за старика, он поспешил спуститься, но едва успел пройти несколько ступеней лестницы, как слуха его коснулся глухой шум, подобный тому, который производит тяжелое тело, брошенное в воду.

### XXIV

Солнце садилось. Горизонтальные лучи его отбрасывали на шерстяную симару Шумахера и креповое платье Этели черную тень решетчатого окна.

Оба сидели у высокого стрельчатого окна, старик в большом готическом кресле, молодая девушка на табурете у его ног. Узник, казалось, погружен был в мечты, приняв свое любимое меланхолическое положение. Его высокий, изрытый глубокими морщинами лоб опущен был на руки, лица не было видно, седая борода в беспорядке лежала на груди.

— Батюшка, — промолвила Этель, стараясь всячески рассеять старца, — сегодня ночью я видела счастливый сон... Посмотрите, батюшка, какое прекрасное небо.

— Я вижу небо, — отвечал Шумахер, — только сквозь решетку моей тюрьмы, подобно тому, как вижу твою будущность, Этель, сквозь мои бедствия.

Голова его, на мгновенье поднявшаяся, снова упала на руки. Оба замолчали.

— Батюшка, — продолжала робко молодая девушка минуту спустя, — вы думаете о господине Орденере?

— Орденер? — повторил старик, как бы припоминая о ком ему говорят. — А! я знаю о ком ты говоришь. Ну что же?

— Как вы думаете, батюшка, скоро он вернется? Он уже давно уехал. Уж четвертый день...

Старик печально покачал головой.

— Я полагаю, что когда мы насчитаем четвертый год его отсутствие, то и тогда его возвращение будет столь же близко как теперь.

Этель побледнела.

— Боже мой! Неужели вы думаете, что он не вернется?

Шумахер не отвечал. Молодая девушка повторила вопрос тревожным, умоляющим тоном.

— Разве он обещал возвратиться? — раздражительно осведомился узник.

— Да, батюшка, обещал! — смущенно ответила Этель.

— И ты рассчитываешь на его возвращение? Разве он не человек? Я верю, что ястреб может вернуться к трупу, но не верю, что весна вернется в конце года.

Этель, видя, что отец ее снова впал в меланхолическое настроение духа, успокоилась. Ее девственное, детское сердце горячо опровергало мрачные мудрствование старца.

— Батюшка, — сказала она с твердостью, — господин Орденер возвратится, он не похож на других людей.

— Ты думаешь, молодая девушка?

— Вы сами знаете это, батюшка.

— Я ничего не знаю, — сказал старик. — Я слышал человеческие слова, возвещавшие деяние Божии.

Помолчав, он добавил с горькой улыбкой.

— Я размышлял об этом и вижу, что все это слишком прекрасно, чтобы быть достоверным.

— А я, батюшка, уверовала, именно потому, что это прекрасно.

— О! Молодая девушка, если бы ты была той, которой должна была бы быть, графиней Тонсберг и княгиней Воллин, окруженной целым двором красивых предателей и расчетливых обожателей, такая доверчивость подвергла бы тебя страшной опасности.

— Батюшка, это не доверчивость, это вера.

— Легко заметить, Этель, что в твоих жилах течет кровь француженки.

Эта мысль неприметно навела старика на воспоминания; он продолжал снисходительным тоном:

— Те, которые свергнули отца своего ниже той ступени, откуда он возвысился, не могут, однако, отнять у тебя право считаться дочерью Шарлотты, принцессы Тарентской; ты носишь имя одной из твоих прабабок, Адели или Эдели, графини Фландрской.

Этель думала совсем о другом.

— Батюшка, вы обижаете благородного Орденера.

— Благородного, дочь моя!.. Какой смысл придаешь ты этому слову? Я делал благородными самых подлых людей.

— Я не хочу сказать, что он благороден от благородства, которым награждают.

— Разве ты знаешь, что он потомок какого-нибудь ярлы или герзы[[36]](#footnote-36)?

— Батюшка, я знаю об этом не больше вас. Может быть, — продолжала она, потупив глаза, — он сын раба или вассала. Увы! короны и лиры рисуют и на бархате каретной подножки. Дорогой батюшка, я хочу только повторить за вами, что он благороден сердцем.

Из всех людей, с которыми встречалась Этель, Орденер был наиболее и в то же время наименее ей известен. Он вмешался в ее судьбу, так сказать, как ангел, являвшийся первым людям, облеченный за раз и светом, и таинственностью. Одно его присутствие выдавало его природу и внушало обожание.

Таким образом, Орденер открыл Этели то, что люди скрывают пуще всего — свое сердце; он хранил молчание о своем отечестве и происхождении; взгляда его достаточно было для Этели, и она верила его словам. Она любила его, она отдала ему свою жизнь, изучила его душу, но не знала имени.

— Благороден сердцем! — повторил старик. — Благороден сердцем! Это благородство выше того, которым награждают короли: оно дается только от Бога. Он расточает его менее, чем те...

Переведя взор на разбитый щит, узник добавил:

— И никогда не отнимает.

— Не забудьте, батюшка, — заметила Этель, — тот, кто сохранит это благородство, легко утешится в утрате другого.

Слова эти заставили вздрогнуть отца и возвратили ему мужество. Твердым голосом он возразил:

— Справедливо, дочь моя. Но ты не знаешь, что немилость, признаваемая всеми несправедливой, иной раз оправдывается нашим тайным сознанием. Такова наша жалкая натура: в минуту несчастия возникают в нас тысячи голосов, упрекающих нас в ошибках и заблуждениях, голосов, дремавших в минуту благополучия.

— Не говорите этого, дорогой батюшка, — сказала Этель, глубоко тронутая, так как дрогнувший голос старца дал ей почувствовать, что у него вырвалась тайна одной из его печалей.

Устремив на него любящий взор и целуя его холодную морщинистую руку, она продолжала с нежностию:

— Дорогой батюшка, вы слишком строго судите двух благородных людей, господина Орденера и себя.

— А ты относишься к ним слишком милосердно, Этель! Можно подумать, что ты не понимаешь серьезного значение жизни.

— Но разве дурно с моей стороны отдавать справедливость великодушному Орденеру?

Шумахер нахмурил брови с недовольным видом.

— Дочь моя, я не могу одобрить твоего увлечение незнакомцем, которого, без сомнение, ты не увидишь более.

— О! Не думайте этого! — вскричала молодая девушка, на сердце которой как камень легли эти холодные слова. — Мы увидим его. Не для вас ли решился он подвергнуть жизнь свою опасности?

— Сознаюсь, сперва я, подобно тебе, положился на его обещания. Но нет, он не пойдет и потому не вернется к нам.

— Он пойдет, батюшка, он пойдет.

Эти слова молодая девушка произнесла почти оскорбленным тоном. Она чувствовала себя оскорбленною за своего Орденера. Увы! В душе она слишком уверена была в том, что утверждала.

Узник, по-видимому не тронутый ее словами, возразил:

— Ну, положим, он пойдет на разбойника, рискнет на эту опасность, — результат, однако, будет тот же: он не вернется.

Бедная Этель!.. Как страшно иной раз слова, сказанные равнодушно, растравляют тайную рану тревожного, истерзанного сердца! Она потупила свое бледное лицо, чтобы скрыть от холодного взора отца две слезы, невольно скатившиеся с ее распухших век.

— Ах, батюшка, — прошептала она, — может быть в ту минуту, когда вы так отзываетесь о нем, этот благородный человек умирает за вас!

Старик сомнительно покачал головой.

— Я столь же мало верю этому, как и желаю этого; впрочем, в чем, в сущности, моя вина? Я оказался бы неблагодарным к молодому человеку, так точно, как множество других были неблагодарны ко мне.

Глубокий вздох был единственным ответом Этели; Шумахер, наклонившись к столу, рассеянно перевернул несколько страниц Жизнеописание великих людей, Плутарха, том которых уже изорванный во многих местах и исписанный замечаниями, лежал перед ним.

Минуту спустя послышался стук отворившейся двери, и Шумахер, не оборачиваясь, вскричал по обыкновению:

— Не говорите! Оставьте меня в покое; я не хочу никого видеть.

— Его превосходительство господин губернатор, — провозгласил тюремщик.

Действительно, старик в генеральском мундире, со знаками ордена Слона, Даннеброга и Золотого Руна на шее, приблизился к Шумахеру, который привстал, повторяя сквозь зубы:

— Губернатор! Губернатор!

Губернатор почтительно поклонился Этели, которая, стоя возле отца, смотрела на него с беспокойным, тревожным видом.

Прежде чем вести далее наш рассказ, быть может не лишне будет напомнить в коротких словах причины, побудившие генерала Левина сделать визит в Мункгольм.

Читатель на забыл неприятных вестей, встревоживших старого губернатора в XX главе этой правдивой истории. Когда он получил их, первое, что пришло ему на ум — это необходимость немедленно допросить Шумахера; но лишь с крайним отвращением мог он решиться на этот шаг. Его доброй, великодушной натуре противна была мысль потревожить злополучного узника, и без того уже обездоленного судьбою, которого он видел на высоте могущества; противно было выведывать сурово тайны несчастия, даже заслуженного.

Но долг службы перед королем требовал того, он не имел права покинуть Дронтгейм, не увозя с собой новых сведений, которые мог доставить допрос подозреваемого виновника мятежа рудокопов. Вечером накануне своего отъезда, после продолжительного конфиденциального совещание с графинею Алефельд, губернатор решился повидаться с узником. Когда он ехал в замок, его подкрепляли в этой решимости мысли об интересах государства, о выгоде, которую его многочисленные личные враги могут извлечь из того, что назовут его беспечностью, и быть может о коварных словах великой канцлерши.

Он вступал в башню Шлезвигского Льва с самыми суровыми намерениями; он обещал себе обойтись с заговорщиком Шумахером, как будто никогда не знавал канцлера Гриффенфельда, решился забыть все воспоминание, переменить на этот случай свой характер и с строгостью неумолимого судьи допросить своего старого собрата по милостям и могуществу.

Но едва очутился он лицом к лицу с бывшим канцлером, как был поражен его почтенной, хотя и угрюмой наружностью, тронут нежным, хотя и гордым видом Этели. Первый взгляд на обоих узников уже на половину смягчил его строгость.

Приблизившись к павшему министру, он невольно протянул ему руку, не примечая, что тот не отвечает на его вежливость.

— Здравствуйте, граф Гриффенф... — начал он по старой привычке, но тотчас же поправился, — господин Шумахер!..

Он замолчал, довольный и истощенный этим усилием.

Воцарилась тишина. Генерал приискивал достаточно суровые слова, чтобы достойно продолжать свое вступление.

— Ну-с, — сказал наконец Шумахер, — так вы губернатор Дронтгеймского округа?

Генерал, несколько изумленный вопросом того, которого сам пришел допрашивать, утвердительно кивнул головой.

— В таком случае, — продолжал узник, — у меня есть к вам жалоба.

— Жалоба! Какая? На кого? — спросил благородный Левин, лицо которого выразило живейшее участие.

Шумахер продолжал с досадой:

— Вице-король повелел, чтобы меня оставили на свободе и не тревожили в этой башне!..

— Мне известно это повеление.

— А между тем, господин губернатор, некоторые позволяют себе докучать мне и входить в мою темницу.

— Быть не может! — вскричал генерал. — Назовите мне, кто осмелился...

— Вы, господин губернатор.

Эти слова, произнесенные надменным тоном, глубоко уязвили генерала, который отвечал почти раздражительно:

— Вы забываете, что коль скоро дело идет о долге службы королю, власти моей нет границ.

— Кроме уважение к чужому несчастию, — добавил Шумахер, — но людям оно незнакомо.

Бывший великий канцлер сказал это как бы самому себе. Но губернатор слышал его замечание.

— Правда, правда! Я не прав, граф Гриффенфельд, — господин Шумахер, хочу я сказать; я должен предоставить вам гневаться, так как власть на моей стороне.

Шумахер молчал несколько минут.

— Что-то в вашем лице и голосе, господин губернатор, — продолжал он задумчиво, — напоминает мне человека, которого я когда-то знал. Давно это было; один я помню это время моего могущества. Я говорю об известном мекленбуржце Левине Кнуде. Знали вы этого сумасброда?

— Знал, — ответил генерал, не смутившись.

— А! Вы его помните. Я думал, что о людях вспоминают только в несчастии.

— Не был ли он капитаном королевской гвардии? — спросил губернатор.

— Да, простым капитаном, хотя король очень любил его. Но он заботился только об удовольствиях и не имел и капли честолюбия. Вообще это был странный человек.

Кто в состоянии понять такую непритязательность в фаворите.

— Тут нет ничего непонятного.

— Я любил этого Левина Кнуда, потому что он никогда не беспокоил меня. Он был дружен с королем, как с обыкновенным человеком, словом, любил его для своего личного удовольствие, а ничуть не для выгод.

Генерал пытался перебить Шумахера; но тот упрямо продолжал, по духу ли противоречие, или же потому, что пробудившиеся в нем воспоминание были действительно ему приятны.

— Так как вы знаете этого капитана Левина, господин губернатор, вам, без сомнение, известно, что у него был сын, умерший еще в молодости. Но помните ли вы что произошло в день рождение этого сына?

— Еще более помню то, что произошло в день его смерти, — сказал генерал, дрогнувшим голосом и закрывая глаза рукою.

— Однако, — продолжал равнодушно Шумахер, — это обстоятельство известно немногим и прекрасно рисует вам всю причудливость этого Левина. Король пожелал быть восприемником дитяти при крещении; представьте себе, Левин отказался! Мало того, он избрал в крестные отцы своему сыну старого нищего, который шнырял у дворцовых ворот. Никогда не мог я понять причины такого безумного поступка.

— Я могу вам объяснить, — сказал генерал. — Избирая покровителя душе своего сына, этот капитан Левин полагал, без сомнение, что у Бога бедняк сильнее короля.

Шумахер после минутного размышление заметил:

— Ваша правда.

Губернатор пытался было еще раз завести речь по поводу своего посещение, но Шумахер снова перебил его.

— Прошу вас, если вы действительно знали этого мекленбуржца Левина, позвольте мне поговорить о нем. Из всех людей, с которыми мне приходилось иметь дело во время моего могущества, это единственный человек, о котором я вспоминаю без отвращение и омерзения. Если даже причуды его граничили иной раз с сумасбродством, все же немного сыщется людей с такими благородными качествами.

— Ну, не думаю. Этот Левин ничем не отличался от прочих. Есть много личностей гораздо более достойных.

Шумахер скрестил руки и поднял глаза к небу.

— Да, таковы они все! Попробуй только похвалить перед ними человека достойного, они тотчас же примутся его чернить. Они отравляют даже удовольствие справедливой похвалы, к тому же столь редко представляющееся.

— Если бы вы знали меня, вы не стали бы утверждать, что я стараюсь очернить ген... то есть капитана Левина.

— Полноте, полноте, — продолжал узник, — вам никогда не найти двух человек столь же правдивых и великодушных как этот Левин Кнуд. Утверждать же противное значит клеветать на него и непомерно льстить этому гнусному человеческому роду!

— Уверяю вас, — возразил губернатор, стараясь смягчить гнев Шумахера, — я не питаю к Левину Кнуду никакого недоброжелательства...

— Полноте. Как бы ни был он сумасброден, людям далеко до него. Они лживы, неблагодарны, завистливы, клеветники. Известно ли вам, что Левин Кнуд отдавал копенгагенским госпиталям больше половины своего дохода?..

— Я не знал, что вам это известно.

— А, вот оно что! — вскричал старик с торжествующим видом. — Он надеялся безнаказанно хулить человека, полагая, что мне неизвестны добрые дела этого бедного Левина!

— Ничуть...

— Уж не думаете ли вы, что мне также неизвестно, что он отдал полк, назначенный ему королем, офицеру, который ранил его на дуэли, его, Левина Кнуда, только потому, что, как он говорил, тот был старше его по службе?

— Действительно, до сих пор я считал этот поступок тайной...

— Скажите пожалуйста, господин дронтгеймский губернатор, разве от того он менее достоин похвалы? Если Левин скрывал свои добродетели, разве это дает вам право отрицать их в нем? О! Как люди похожи один на другого! Осмеливаться равнять с собою благородного Левина, Левина, который, не успев спасти от казни солдата, покушавшегося на его жизнь, положил пенсию вдове своего убийцы!

— Да кто же не сделал бы этого?

Шумахер вспыхнул.

— Кто? Вы! Я! Никто, господин губернатор! Уж не потому ли уверены вы в своих заслугах, что носите этот блестящий генеральский мундир и почетные знаки на груди? Вы генерал, а бедный Левин так и умрет капитаном. Правда, это был сумасброд, который не заботился о своих чинах.

— Если не сам он, так за него позаботился милостивый король.

— Милостивый?! Скажите лучше справедливый! Если только так можно выразиться о короле. Ну-с, какая же особенная награда была дарована ему?

— Его величество наградил Левина Кнуда выше его заслуг.

— Скажите пожалуйста! — вскричал старый министр, всплеснув руками. — Быть может этот доблестный капитан был произведен за тридцатилетнюю службу в маиоры, и эта высокая милость пугает вас, достойный генерал? Справедливо гласит персидская пословица, что заходящее солнце завидует восходящей луне.

Шумахер пришел в такое раздражение, что генерал едва мог выговорить эти слова:

— Если вы станете поминутно перебивать меня... вы не дадите мне объяснить...

— Нет, нет, — продолжал Шумахер, — послушайте, господин губернатор, сначала я нашел в вас некоторое сходство с славным Левиным, но ошибся! Нет ни малейшего.

— Однако, выслушайте меня...

— Выслушать вас! Вы скажете мне, что Левин Кнуд не был достоин какой-нибудь нищенской награды...

— Клянусь вам, вовсе не о том...

— Или нет, — знаю я, что вы за люди — скорее вы станете уверять меня, что он был, как все вы, плутоват, лицемерен, зол...

— Да нет же.

— Но кто знает? Быть может он, подобно вам, изменил другу, преследовал благодетеля... отравил своего отца, убил мать?..

— Вы заблуждаетесь... я совсем не хочу...

— Известно ли вам, что он уговорил вице-канцлера Винда, равно как Шеля, Виндинга и Лассона, троих из моих судей, не подавать голоса за смертную казнь? И вы хотите, чтобы я хладнокровно слушал как вы клевещете на него! Да, вот как поступил он со мною, хотя я делал ему гораздо более зла, чем добра. Ведь я подобен вам, так же низок и зол.

Необычайное волнение испытывал благородный Левин в продолжение этого странного разговора. Будучи в одно и то же время явно оскорбляем и искренно хвалим, он не знал, как ему отнестись к столь грубой похвале и столь лестной обиде. Оскорбленный и растроганный, то хотел он сердиться, то хотел благодарить Шумахера. Не открывая своего имени, он с восторгом следил, как суровый Шумахер защищал его против него же самого, как отсутствующего друга; одного лишь хотелось ему, чтобы защитник его влагал менее горечи и едкости в свой панегирик.

Однако внутренно, в глубине души, он более восторгался бешеной похвалой капитана Левина, чем возмущен оскорблениями, наносимыми Дронтгеймскому губернатору. Глядя с участием на павшего временщика, он позволил ему излить его негодование и признательность.

Наконец Шумахер, истощенный долгими жалобами на человеческую неблагодарность, упал в кресло в объятие трепещущей Этели, с горечью промолвив:

— О, люди! Что сделал я вам, что вы заставили меня познать вас?

До сих пор генерал не имел еще случая приступить к важной цели своего прибытие в Мункгольм. Отвращение взволновать узника допросом вернулось к нему с новой силой; к его страданию и участию присоединились еще две серьезные причины: взволнованное состояние Шумахера не позволяло губернатору надеяться, что он даст ему удовлетворительное разъяснение вопроса, а с другой стороны, вникнув в сущность дела, прямодушный, доверчивый Левин не мог допустить, чтобы подобный человек мог оказаться заговорщиком.

А между тем, имел ли он право уехать из Дронтгейма, не допросив Шумахера? Эта неприятная необходимость, связанная с званием губернатора, еще раз превозмогла его нерешительность, и он начал, смягчив по возможности тон своего голоса.

— Прошу вас несколько успокоиться, граф Шумахер....

Как бы по вдохновению добродушный губернатор употребил этот титул, соединяющий в себе дворянское достоинство с простым именем, как бы для того, чтобы примирить уважение к приговору, лишившему Шумахера всех почестей, с уважением к несчастию осужденного. Он продолжал:

— Тягостная обязанность принудила меня явиться....

— Прежде всего, — перебил его узник, — дозвольте мне, господин губернатор, снова вернуться к предмету, который интересует меня гораздо более того, что ваше превосходительство можете мне сказать. Вы только что уверяли меня, что этот сумасброд Левин награжден был по заслугам. Мне любопытно было бы знать — каким образом?

— Его величество, господин Гриффенфельд, произвел Левина в генералы, и вот уж двадцать лет как этот сумасброд доживает припеваючи свой век, почтенный этой высокой почестью и расположением своего монарха.

Шумахер потупил голову.

— Да, сумасброд Левин, который мало заботился о том, что состарится в капитанах, умрет генералом, а мудрый Шумахер, который рассчитывал умереть великим канцлером, старится государственным преступником.

Говоря это, узник закрыл лицо руками и из старой груди его вырвался глубокий вздох.

Этель, понимавшая в разговоре только то, что печалило ее отца, попыталась его развлечь.

— Батюшка, посмотрите-ка: там, на севере, блестит огонек, которого я до сих пор ни разу не примечала.

Действительно, окружающий ночной мрак позволял различить на горизонте слабый отдаленный свет, который, казалось, находился на какой-то далекой горной вершине.

Но взор и мысли Шумахера не стремились беспрестанно к северу, как взор и мечты Этели. Он ничего не отвечал ей и только один губернатор обратил внимание на слова молодой девушки.

«Быть может, — подумал он, — это костер, разведенный бунтовщиками».

Эта мысль снова напомнила ему цель его посещение и он обратился к узнику:

— Господин Гриффенфельд, мне прискорбно беспокоить вас; но вам необходимо подчиниться...

— Понимаю, господин губернатор, вам недостаточно того, что я томлюсь в этой крепости, обесславленный, покинутый всеми, что в утешение остались мне лишь горькие воспоминание о бывшем величии и могуществе, вам понадобилось еще нарушить мое уединение, чтобы расстраивать мою рану и насладиться моими страданиями. Так как благородный Левин Кнуд, которого напомнили мне черты вашего лица, такой же генерал как и вы, я был бы счастлив, если бы ему поручен был занимаемый вами пост. Клянусь вам, господин губернатор, он не решился бы тревожить несчастного узника.

В продолжение этого странного разговора, генерал несколько раз намеревался уже объявить свое имя, чтобы прервать его. Последний косвенный упрек Шумахера отнял у него последний остаток решимости. До такой степени согласовался он с внутренними убеждениями генерала, что последний устыдился даже самого себя.

Тем не менее он пытался было ответить на удручающее предположение Шумахера. Странное дело! Только по различию их характеров, эти два человека взаимно поменялись местами. Судья принужден был некоторым образом оправдываться перед обвиняемым.

— Но, — начал генерал, — если бы этого требовал долг службы, не сомневайтесь, что и Левин Кнуд...

— Сомневаюсь, достойный губернатор! — вскричал Шумахер, — не сомневайтесь вы сами, чтобы он не отверг, с своим великодушным негодованием, обязанность шпионить и увеличивать мучение несчастного узника! Полноте, я вас слушаю. Исполняйте то, что называете вы вашим долгом службы: что угодно от меня вашему превосходительству?

Старец с гордым видом взглянул на губернатора, все принятые намерение которого пошли прахом. Прежнее отвращение проснулось в нем, проснулось на этот раз с непреодолимой силой.

— Он прав, — подумал губернатор. — Решиться тревожить несчастного из-за пустого подозрения! Нет, пусть это поручат кому-нибудь другому, а не мне!

Быстро последовал результат этих размышлений; он приблизился к удивленному Шумахеру, пожал ему руку и, поспешно выходя из комнаты, сказал:

— Граф Шумахер, сохраните навсегда уважение к Левину Кнуду.

###### *КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.*

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### XXV

Путешественник, который в настоящее время захотел бы посетить покрытые снегом горы, опоясывающие Смиазенское озеро подобно белому поясу, не найдет и следа того, что норвержцы семнадцатого столетие называли Арбарскими развалинами. Никогда не могли узнать в точности, от какого человеческого сооружение, от какого рода постройки произошли эти руины, если можно им дать это название.

Выйдя из леса, которым поросла южная сторона озера, миновав отлогость, усеянную там и сям обломками скал и башен, очутишься перед отверстием сводчатой формы, ведущим в недра горы. Это отверстие, теперь совсем засыпанное обвалом земли, служило входом в род галереи, высеченной в скале и проникавшей насквозь через всю гору.

Эта галерее, слабо освещаемая через конические отдушины, проделанные в нескольких местах в своде, примыкала к продолговато-овальной зале, наполовину высеченной в скале и оканчивающейся каменной циклопической постройкой. В глубоких нишах вокруг залы виднелись гранитные фигуры грубой работы. Некоторые из этих таинственных идолов, упавшие с своих пьедесталов, в беспорядке валялись на плитах среди прочих бесформенных обломков, заросших травою и мохом, в котором шныряли ящерицы, пауки и другие отвратительные насекомые, водящиеся на земле и в развалинах.

Свет проникал сюда только через дверь, противоположную входу в галерею. Дверь эта имела с одной стороны стрельчатую форму, грубую, неопределенную, очевидно случайно приданную ей архитектором. Хотя она начиналась от пола, ее скорее можно было назвать окном, так как она открывалась над глубокой пропастью; неизвестно куда могли вести три или четыре уступа, нависшие над бездной снаружи и под описанной страшной дверью.

Зала эта представляла собой внутренность гигантской башни, которая издали, со стороны пропасти, казалось одной из горных вершин. Башня эта высилась одиноко и, как было уже сказано, никто не знал, к какому зданию она принадлежала. Только на верху ее, на площадке, неприступной даже для самого отважного охотника, виднелась масса, которую издали можно было принять или за покосившуюся скалу или за остаток колоссальной аркады. Вот эта-то башня и обрушившаяся аркада известны были в народе под названием Арбарских развалин. Относительно происхождение такого название знали не больше, как и относительно происхождение этого монументального сооружения.

На камне, лежащем посреди этой эллиптической залы, сидел малорослый человек, одетый в звериные шкуры, которого мы уже несколько раз встречали на страницах этого рассказа.

Он сидел спиною к свету, или, вернее сказать, к неясным сумеркам, проникавшим в мрачную башню, когда солнце высоко стояло на горизонте. При этом естественном освещении, которое никогда сильнее не освещало внутренности башни, невозможно было различить, над каким предметом нагнулся малорослый.

По временам слышались глухие стенание, по-видимому исходившие от этого предмета, судя по слабым движениям, которые он производил. По временам малорослый выпрямлялся, поднося к губам своим чашу, по форме напоминавшую человеческий череп, наполненную какой то дымящейся жидкостью, цвета которой невозможно было разобрать и которую он смаковал большими глотками.

Вдруг он поспешно вскочил.

— Кажется, кто-то идет по галерее; уж не канцлер ли это обоих королевств.

Эти слова сопровождались взрывом страшного хохота, перешедшего в дикое рычанье, в ответ на которое вдруг послышался из галереи вой.

— А! — пробормотал обитатель Арбарских развалин. — Если это и не человек, то все же враг: это волк.

Действительно, огромный волк появился под сводом галереи, остановился на мгновение и затем на брюхе пополз к человеку, устремив на него глаза, пылающие, как уголья в темноте. Малорослый глядел на него, не двигаясь с места и скрестив руки на груди.

— А! Серый волк, самый старый волк Смиазенских лесов. Здорово, волк; глаза твои разгорелись; ты проголодался и заслышал запах трупа. Скоро ты сам станешь приманкой для голодных волков. Добро пожаловать, смиазенский волк; мне давно уж хотелось померяться с тобой силами. Говорят, что ты так стар, что не можешь даже умереть. Ну, завтра этого не скажут.

С страшным воем животное отскочило назад и затем одним прыжком кинулось на малорослого.

Тот не отступил ни на шаг. С быстротою молнии сдавил он правой рукой брюхо волка, который, поднявшись на задние лапы, передними уперся в его плечи; а левой защищал свое лицо от разверстой пасти врага, схватив его за горло с такой силой, что животное, принужденное вытянуть голову, едва в силах было испустить жалобный вой.

— Смиазенский волк, — сказал малорослый с торжествующим видом, — ты раздираешь мой плащ, но его заменит твоя шкура.

После этого победоносного крика, он пробормотал что-то на странном наречии, и в эту минуту конвульсивное усилие задыхающегося волка заставило его споткнуться о камни, которыми усеян был пол. Оба упали и рев человека слился с воем дикого зверя.

Принужденный при падении выпустить горло волка, малорослый чувствовал уже, что острые зубы впились в его плечи, как вдруг, катаясь по полу, схватившиеся враги наткнулись на огромную косматую белую массу, лежавшую в самом темном углу залы.

То был медведь, с ревом проснувшийся от крепкого сна.

Лишь только это животное лениво раскрыло глаза и приметило борьбу, с яростью устремилось оно не на человека, а на волка, бравшего в эту минуту перевес, свирепо схватило его пастью поперек тела и таким образом освободило его двуногого противника.

Малорослый вместо того, чтобы поблагодарить зверя за такую серьезную услугу, поднялся с пола весь в крови и кинувшись на медведя, нанес ему страшный удар ногой в брюхо, как хозяин, наказывающий провинившуюся собаку.

— Фриенд! Кто тебя звал? Зачем ты суешься? — яростно вскричал он, скрежеща зубами.

— Пошел прочь! — заревел он нечеловеческим голосом.

Медведь, получив удар ногой от человека и укушенный волком, жалобно зарычал; повесив тяжелую голову, он выпустил из пасти голодного зверя, который с новым бешенством накинулся на человека.

Между тем как борьба волка с человеком снова возгорелась, прогнанный медведь тяжело опустился на свое прежнее место и, равнодушно посматривая на разъярившихся врагов, невозмутимо принялся поглаживать свою белую морду попеременно обеими лапами.

Но в ту минуту, когда старый смиазенский волк снова бросился на малорослого, тот быстро схватил окровавленную морду зверя и с неслыханной силой и ловкостью сдавил его пасть руками. Волк отбивался в порыве ярости и боли; густая пена оросила его стиснутые зубы, глаза, как бы распухшие от злобы, казалось, готовы были выскочить из орбит.

Из двух противников тот, чьи кости дробились от острых зубов, чье мясо яростно раздиралось когтями, был не человек, но свирепый зверь; тот же, чей рев отличался особенной дикостью и неистовством, был не хищный зверь, но человек.

Наконец малорослый, собрав все свои силы, истощенные продолжительным сопротивлением старого волка, стиснул его морду обеими руками с такой силой, что кровь хлынула из ноздрей и пасти животного; пылающие глаза его потухли и полузакрылись; он зашатался и бездыханный упал к ногам своего победителя. Только слабые, продолжительные движение хвоста и конвульсивная дрожь, по временам пробегавшая по его членам, показывали, что жизнь еще не совсем покинула зверя.

Но вот издыхающее животное скорчилось в последних судорогах и признаки жизни исчезли.

— Ты умер, волк! — произнес малорослый, презрительно толкнув его ногою. — И неужели ты рассчитывал еще пожить на белом свете, встретившись со мною? Ты не станешь более неслышными шагами бегать по снегу, почуяв запах и след добычи; ты сам теперь будешь достоянием волков и ястребов! Как много путешественников, заблудившихся у Смиазенского озера, истребил ты на своем долгом веку, представляющем ряд убийств и резни; теперь ты сам мертв и, к сожалению, не станешь более пожирать людей!

Вооружившись острым камнем, он опустился на теплый и трепещущий еще труп волка, перерезал связки сочленений, отделив голову от туловища, распорол шкуру на брюхе во всю длину, стянул ее, подобно тому, как снимают одежду, и в одно мгновение ока от страшного смиазенского волка остался лишь голый, окровавленный остов. Вывернув наружу голую мокрую сторону, испещренную длинными кровавыми венами, он накинул шкуру на свои истерзанные волчьими зубами плечи.

— Поневоле, — проворчал он сквозь зубы, — завернешься в звериную шкуру, когда человечья слишком тонка, чтобы защитить от холода.

Между тем как он рассуждал таким образом с собою, став еще более отвратительным от своего отвратительного трофея, медведь, очевидно соскучившись в бездействии, крадучись приблизился к находившемуся в тени предмету, о котором мы упомянули в начале главы, и вскоре из этого темного угла залы послышался стук зубов, прерываемый слабыми, болезненными стонами агонии.

Малорослый обернулся.

— Фриенд! — закричал он грозным голосом. — Ах! Подлый Фриенд! Сюда!

Схватив огромный камень, он швырнул его в голову чудовища, которое, оглушенное ударом, медленно удалилось от места своего пиршества и, облизывая свои красные губы, с тяжелым дыханьем улеглось у ног малорослого, подняв к небу свою огромную голову и изогнув спину, как бы прося извинить свою дерзость.

Тогда начался между двумя чудовищами — обитатель Арбарских развалин вполне заслуживал подобное название — выразительный обмен мыслей ворчанием. Тон человеческого голоса выражал власть в гнев, тон медвежьего был умоляющий и покорный.

— Возьми, — сказал наконец человек, указывая искривленным пальцем на ободранный труп волка, — вот твоя добыча, и не смей трогать мою.

Обнюхав тело волка, медведь опустил голову с недовольным видом и взглянул на своего повелителя.

— Понимаю, — проговорил, малорослый, — мертвечина тебе претит, а тот еще трепещет... Фриенд, ты не меньше человека прихотлив в своих наслаждениях; тебе хочется, чтобы пища твоя жила еще, когда ты ее раздираешь; тебе нравится ощущать, как добыча умирает на твоих зубах; ты наслаждаешься только тем, что страдает, и в этом отношении мы сходимся с тобой... Я ведь не человек, Фриенд, я выше этого презренного отродья, я такой же хищный зверь как и ты... Мне хотелось бы, чтобы ты мог говорить, товарищ Фриенд, чтобы сказать мне, подобно ли твое наслаждение моему, — наслаждение, от которого трепещет твое медвежье нутро, когда ты пожираешь внутренности человека; но нет, я не хочу, чтобы ты заговорил, я боюсь, чтобы твой голос не напомнил мне человеческий... Да, рычи у моих ног тем рыком, от которого содрогается пастух, заблудившийся в горах; мне нравится твой рык как голос друга, так как он возвещает недруга человеку. Подними, Фриенд, подними твою голову ко мне; лижи мои руки языком, который столько раз упивался человеческой кровью... У тебя такие же белые зубы, как мои, и не наша вина, если они не так красны, как свежая рана; но кровь смывается кровью... Сколько раз из глубины мрачной пещеры видел я, как молодые кольские и оельмские девушки мыли голые ноги в воде потока, распевая нежным голосом, но твою мохнатую морду, твой хриплый, наводящий ужас на человека рев предпочитаю я их мелодичным голосам и мягким, как атлас, членам.

Когда он это говорил, чудовище лизало его руку, катаясь на спине у его ног и ласкаясь к нему подобно болонке, разыгравшейся на софе своей госпожи.

Особенно странным казалось то разумное внимание, с которым животное по-видимому ловило слова своего хозяина. Причудливые односложные восклицание, которыми пересыпал он свою речь, очевидно тотчас же были понимаемы зверем, который выражал свою понятливость, или быстро выпрямляя голову, или издавая горлом глухое ворчанье.

— Люди говорят, что я избегаю их, — продолжал малорослый, — между тем как на самом деле они бегут при моем приближении; они делают со страху то, что делаю я из ненависти... Ты ведь знаешь, Фриенд, что я рад повстречать человека, когда проголодаюсь или когда меня томит жажда.

Вдруг приметил он, что в глубине галереи появился красноватый свет, постепенно усиливавшийся и слабо озарявший старые серые стены.

— Да вот один из них. Заговори об аде, сатана тотчас же покажет свои рога... Ей! Фриенд, — прибавил он, обращаясь к медведю, — вставай-ка!

Животное поспешно поднялось на ноги.

— Ну, следует наградить твое послушание, удовлетворив твой аппетит.

С этими словами человек нагнулся к предмету, лежавшему на земле. Послышался хруст костей, разрубаемых топором; но к нему не примешивалось ни вздоха, ни стона.

— Кажется, — пробормотал малорослый, — нас только двое осталось в живых в Арбаре... Возьми, друг Фриенд, докончи начатое тобой пиршество.

Он бросил к наружной двери, которую мы описали читателю, то, что оторвал от предмета, валявшегося у его ног. Медведь бросился к своей добыче с такой жадностью, что самый быстрый взор не успел бы приметить, что кинутый кусок имел форму человеческой руки, покрытой зеленой материей мундира Мункгольмских стрелков.

— Вот, сюда приближаются, — пробормотал малорослый, устремив взгляд на усиливавшийся мало-помалу свет. — Товарищ Фриенд, оставь меня одного... Ну! скорее!

Чудовище, повинуясь приказанию, подошло к двери и пятясь задом исчезло в ней, с довольным рычанием унося в пасти свою отвратительную добычу.

В эту же минуту человек высокого роста появился у входа в галерею, в мрачной глубине которой все еще виднелся слабый отблеск огня. Вновь прибывший закутан был в темный длинный плащ и держал в руке потайной фонарь, яркий фокус которого направил на лицо малорослого обитателя Арбарских развалин.

Тот, все сидя на камне с скрещенными на груди руками, вскричал:

— Не в добрый час пришел ты сюда, привлеченный расчетом, а не случайностью.

Незнакомец, ничего не отвечая, казалось, внимательно рассматривал своего собеседника.

— Смотри, смотри на меня, — продолжал малорослый, поднимая голову, — кто знает, может быть через час ты уже не в состоянии будешь похвастаться, что меня видел.

Вновь прибывший, обведя светом фонаря всю фигуру говорившего, по-видимому был более изумлен, чем испуган.

— Ну, чему же ты удивляешься? — спросил малорослый с хохотом, похожим на треск разбиваемого черепа. — У меня такие же руки и ноги как у тебя, только члены мои не будут, как твои, добычей диких кошек и ворон.

Незнакомец ответил наконец хотя уверенным, но тихим голосом, как бы опасаясь только, чтобы кто-нибудь его не подслушал:

— Выслушай меня, я прихожу к тебе не врагом, а другом...

Малорослый перебил его:

— Зачем же в таком случае ты сбросил с себя человеческий образ?

— Я намерен оказать тебе услугу, если только ты тот, кого я ищу...

— То есть ты намерен воспользоваться моими услугами. Напрасный труд! Я оказываю услуги только тем, кому надоела жизнь.

— Из твоих слов я вижу, что ты именно тот человек, которого мне нужно, — заметил незнакомец, — но меня смущает твой рост... Ган Исландец великан, не может быть, чтобы ты был Ган Исландец.

— Вот в первый раз еще сомневаются в этом передо мною.

— Как! Так это ты!

С этим восклицанием незнакомец приблизился к малорослому.

— Но говорят, что Ган Исландец колоссального роста?

— Придай славу мою к росту и увидишь, что я выше Геклы.

— Неужели! Но пожалуйста отвечай толком, точно ли ты Ган, родом из Клипстадура в Исландии?

— Не словами отвечаю я на подобный вопрос, — промолвил малорослый, поднимаясь с своего сиденья, и взгляд, который он кинул на неблагоразумного незнакомца, заставил последнего отступить шага на три.

— Пожалуйста, ограничься этим взглядом, — вскричал незнакомец почти умоляющим голосом и посматривая на порог галереи, как бы раскаиваясь, что переступил его. — Твои личные выгоды привели меня сюда...

Войдя в залу, вновь прибывший, мельком взглянув на малорослого, мог сохранить свое хладнокровие; но когда обитатель Арбарских развалин поднялся с лицом тигра, с мощными членами, окровавленными плечами, едва прикрытыми еще свежей шкурой, с огромными руками, вооруженными когтями, и с пылающим взором, отважный незнакомец содрогнулся, подобно неосмотрительному путнику, который, полагая, что ласкает угря, вдруг почувствует жало змеи.

— Мои выгоды? — повторило чудовище. — Уж не пришел ли ты сообщить мне, что можно отравить какой-нибудь источник, сжечь какую-нибудь деревню или перерезать горло какому-нибудь мункгольмскому стрелку?..

— Может быть. Выслушай меня. Норвежские рудокопы взбунтовались, а тебе известно, какими бедствиями сопровождается каждое возмущение...

— Да, убийством, насилием, святотатством, пожаром, грабежом.

— Все это я предлагаю тебе.

Малорослый расхохотался.

— Нуждаюсь я в твоем предложении!

Свирепая насмешка, звучавшая в этих словах, заставила снова содрогнуться незнакомца. Однако он продолжал:

— От имени рудокопов я предлагаю тебе стать во главе возмущения.

Одну минуту малорослый хранил молчание. Вдруг на мрачной физиономии его появилось выражение адской злобы.

— Так ты от их имени предлагаешь мне? — спросил он.

Этот вопрос, по-видимому, смутил вновь прибывшего; но он успокоился, будучи уверен, что остался неузнанным своим страшным собеседником.

— Для чего же взбунтовались рудокопы? — спросил последний.

— Чтобы освободиться от тягости королевской опеки.

— Только для того? — спросил малорослый тем же насмешливым тоном.

— Они хотят также освободить мункгольмского узника.

— Так это единственная цель восстания? — повторил малорослый тем же тоном, приводившим в смущение незнакомца.

— Я не знаю другой, — пробормотал он.

— А! Ты не знаешь другой!

Эти слова произнесены были тем же ироническим тоном. Незнакомец, чтобы скрыть смущение, вызванное ими, поспешно вытащил из под плаща тяжелый кошелек, который кинул к ногам чудовища.

— Вот плата за твое предводительство.

Малорослый оттолкнул кошель ногою.

— Не надо. Неужто ты думаешь, что если бы мне понадобилось твое золото или кровь, я стал бы дожидаться твоего позволения.

Незнакомец отступил с жестом удивление и почти ужаса.

— Этот подарок королевские рудокопы поручили мне передать тебе...

— Не надо, еще раз говорю тебе. На что мне золото? Люди охотно продают свою душу, но никогда — жизнь. Ее надо брать силою.

— Так я передам предводителям рудокопов, что грозный Ган Исландец не хочет принять начальство над ними?...

— Не приму.

Эти слова, произнесенные отрывистым тоном, по-видимому, неприятно поразили мнимого посланца возмутившихся рудокопов.

— Так не примешь? — спросил он.

— Нет! — ответил малорослый.

— Ты отказываешься принять участие в мятеже, который принесет тебе столько выгод!

— Я предпочитаю один грабить фермы, опустошать деревни, убивать крестьян и солдат.

— Но подумай, что, приняв предложение рудокопов, ты можешь быть уверен в своей безнаказанности.

— Что же, все именем рудокопов обещаешь ты мне безнаказанность? — спросил смеясь малорослый.

— Не скрою от тебя, — отвечал незнакомец с таинственным видом, — что обещаю это от имени могущественного лица, заинтересованного в восстании.

— Да само это могущественное лицо, уверено ли оно, что его не вздернут на виселицу?

— Если бы ты знал его, ты не стал бы так недоверчиво качать головой.

— А! В самом деле! Кто же это такой?

— Я не имею права открыть его имя.

Малорослый приблизился и хлопнул по плечу незнакомца все с тем же сардоническим смехом.

— Хочешь, я назову тебе его?

Движение испуга и уязвленной гордости вырвалось у человека в плаще. Он не ожидал такого грубого вызова и дикой фамильярности чудовища.

— Ты смешон, — продолжал малорослый, — не подозревая, что я знаю все. Это могущественное лицо — великий канцлер Дании и Норвегии, а великий канцлер Дании и Норвегии — ты.

В самом деле, это был граф Алефельд. Прибыв к Арбарским развалинам, на пути к которым мы оставили его с Мусдемоном, он захотел сам лично склонить на свою сторону разбойника, совсем не подозревая, что тот его знал и ждал. Никогда в последствии граф Алефельд, при всем своем лукавстве и могуществе, не мог открыть, каким образом Ган Исландец приобрел эти сведения. Была ли тут измена Мусдемона? Положим, что именно Мусдемон внушал благородному графу мысль лично повидаться с разбойником; но какую выгоду мог он извлечь из такого вероломства? Не нашел ли сам разбойник у какой-нибудь из своих жертв бумаги, относящиеся к предприятию, задуманному великим канцлером? Но кроме Мусдемона, Фредерик Алефельд был единственное живое существо, которому известны были планы канцлера, и, при всей его легкомысленности, он не был на столько безумен, чтобы выдать подобную тайну. К тому же он находился в Мункгольмском гарнизоне, по крайней мере так думал великий канцлер. Тот, кто прочтет до конца описываемую сцену, хотя подобно графу Алефельду не решит этой проблемы, тем не менее убедится насколько достоверно было последнее предположение.

Одним из выдающихся качеств графа Алефедьда было присутствие духа. Услышав свое имя, столь грубо произнесенное малорослым, он не в силах был подавить крик удивление, но в одно мгновение ока на его бледном, надменном лице выражение испуга и удивление сменилось спокойствием и твердостью.

— Ну да! — сказал он. — Я буду с тобой откровенен; я действительно великий канцлер. Но будь же и ты откровенен со мною...

Взрыв хохота малорослого прервал его речь.

— Разве надо было упрашивать меня открыть тебе мое и твое имя?

— Скажи мне по правде, почему ты узнал меня?

— Разве тебе никто не говорил, что Ган Исландец видит даже сквозь горы?

Граф хотел настоять на своем.

— Считай меня своим другом...

— Твою руку, граф Алефельд! — грубо вскричал малорослый.

Взглянув в лицо министру, он продолжал:

— Если бы наши души оставили в эту минуту наши тела, мне сдается, — сам дьявол призадумался бы, которая из них принадлежит чудовищу.

Надменный вельможа закусил губы, но, колеблясь между страхом к разбойнику и необходимостью сделать из него послушное орудие своих планов, он не высказал своего отвращения.

— Не пренебрегай твоими выгодами. Стань во главе восстание и будь уверен в моей признательности.

— Канцлер Норвегии! Ты уверен в успехе твоего предприятие подобно старой бабе, мечтающей о платье, которое она соткет из ворованной пеньки, — а между тем кошка своими когтями перепутает всю пряжу.

— Еще раз говорю тебе, обдумай, прежде чем отвергать мое предложение.

— Еще раз я, разбойник, говорю тебе, великому канцлеру обоих королевств, нет.

— Я ждал другого ответа после важной услуги, которую ты уже оказал мне.

— Какой услуги? — спросил разбойник.

— Разве не тобой убит капитан Диспольсен? — ответил канцлер.

— Весьма возможно, граф Алефельд. Я не знаю его. Что это за человек?

— Как! Разве в твои руки не попал случайно железный ящик, который был при нем?

Этот вопрос, по-видимому, привлек внимание разбойника.

— Постой, — сказал он, — я действительно припоминаю человека и железный ящик. Дело было на Урхтальских берегах.

— В крайнем случае, — продолжал канцлер, — если ты отдашь мне этот ящик, признательность моя будет безгранична. Скажи мне, что сталось с этим ящиком, который должно быть не миновал твоих рук?

Высокородный министр с такой живостью настаивал на этом вопросе, что разбойник, по-видимому, изумился.

— Надо думать, что этот железный ящик имеет громадную важность для твоей милости, канцлер Норвегии?

— Да.

— Чем наградишь ты меня, если я скажу тебе, где его найти?

— Всем, что только ты захочешь, любезный Ган Исландец.

— Ну! Так я тебе не скажу.

— Полно, ты шутишь! Подумай, какую услугу окажешь ты мне.

— Именно об этом я и думаю.

— Обещаю тебе громадное богатство, выпрошу тебе прощение у короля.

— Попроси лучше себе! — сказал разбойник. — Слушай же, великий канцлер Дании и Норвегии: тигры не истребляют гиен. Я намерен выпустить тебя отсюда живым, потому что ты злодей и каждое мгновение твоей жизни, каждая мысль, родившаяся в твоем уме, влекут за собою несчастие людям и новое преступление для тебя. Но не возвращайся сюда более, предупреждаю тебя: моя ненависть не щадит никого, даже изверга. Что же касается твоего капитана, не льсти себя мыслью, что я убил его для тебя. Мундир погубил его, подобно вот этому презренному, которого я умертвил тоже не в угоду тебе.

С этими словами он схватил благородного графа за руку и подвел его к трупу, лежавшему в тени. В ту минуту, когда он замолчал, свет потайного фонаря упал на этот предмет, который на самом деле оказался изуродованным трупом в офицерском мундире мункгольмских стрелков.

Канцлер приблизился к нему с содроганием ужаса, и вдруг взор его упал на бледное окровавленное лицо мертвеца. Раскрытые посинелые губы, всклокоченные волосы, багровые щеки, потухшие глаза, все это не помешало ему узнать покойника. Страшный крик вырвался из груди графа:

— Боже мой! Фредерик! Сын мой!

Нельзя сомневаться, что сердца, по-видимому самые черствые, самые загрубелые, всегда таят в изгибах своих некоторую чувствительность, неведомую им самим, которая, как таинственный свидетель и будущий мститель, кажется скрытой в страстях и пороках. Она хранится там как бы для того, чтобы со временем наказать преступника. Молчаливо ждет она своего часа. Нечестивец носит ее в своей груди, не ощущая ее присутствие, так как обыкновенные огорчение не в силах пробить толстой коры эгоизма и злобы, которая ее окружает.

Но когда редкое истинное горе жизни внезапно поразит человека, оно, подобно кинжалу, погружается в глубину души. Тогда просыпается в несчастном злодее неведомая дотоле чувствительность, тем более жестокая, чем долее она скрывалась, тем более мучительная, чем менее давала она знать о себе прежде. Истинное горе глубоко запускает жало свое в сердце, чтобы нанести ему тяжелую рану.

Натура просыпается и сбрасывает с себя оковы, она повергает несчастного в безысходное отчаяние, причиняет ему невыносимые мучения. Он изнемогает под тяжестью страданий, над которыми так долго издевался. Самые противоположные мучение раздирают сразу его сердце, которое, как бы охваченное мрачным оцепенением, становится добычею страшных пыток. Кажется, будто ад вселяется в человеческую жизнь, внося в нее нечто хуже отчаяния.

Граф Алефельд, сам того не зная, любил своего сына, так как ему неизвестна была измена жены. Фредерик, прямой наследник его имени, по мнению графа, вполне заслуживал этот титул. Полагая, что он не оставлял Мункгольма, как далек был граф Алефельд от мысли найти его в Арбарских развалинах, найти мертвым! А между тем, он был тут, окровавленный, без признака жизни; нельзя было усомниться, что это не он.

Можно представить себе, что творилось в душе графа, когда, одновременно с уверенностью в потере сына, возникло в ней сознание, что он любил его. Все ощущения, слабо изображенные на этих страницах, охватили его сердце подобно громовому удару. Сразу пораженный удивлением, испугом и отчаянием, он отшатнулся, ломая руки и повторяя жалобным голосом:

— Сын мой! Сын мой!

Разбойник захохотал. Трудно представить себе что-нибудь ужаснее смеха, слившегося с рыданиями отца над трупом сына.

— Клянусь предком моим Ингольфом! Кричи сколько душе угодно, граф Алефельд, ты его не разбудишь!

Вдруг его свирепое лицо омрачилось, глухим голосом он продолжал:

— Оплакивай твоего сына, я мщу за моего.

В эту минуту послышался шум поспешных шагов в галерее. Ган Исландец с удивлением оглянулся назад и увидал четырех рослых людей, ворвавшихся в залу с саблями наголо; пятый, приземистый толстяк, следовал за ними, держа в одной руке факел, в другой шпагу. Он был закутан в такой же темный плащ, как и великий канцлер.

— Ваше сиятельство, — произнес он, — мы слышали ваши крики и поспешили к вам на помощь.

Читатель, без сомнение, узнал уже Мусдемона и четырех вооруженных лакеев, составлявших свиту графа.

Когда яркое пламя факела осветило внутренность залы, вновь прибывшие остолбенели, пораженные ужасом при страшном зрелище, представившемся их взору. С одной стороны валялся окровавленный остов волка; с другой — обезображенный труп молодого офицера; далее его отец с исступленным взором, испускавший дикие вопли, а перед ним грозный разбойник, обративший к нападающим свое отвратительное лицо, выражавшее удивление, но без малейшего признака страха.

При виде неожиданной помощи, мысль о мщении мелькнула в голове графа и привела его от отчаяние к ярости.

— Смерть разбойнику! — вскричал он, обнажая свою шпагу. — Он убил моего сына!.. Смерть ему! Смерть!

— Он убил господина Фредерика? — сказал Мусдемон, но свет факела, который он держал в руке, не показал ни малейшего волнение на лице его.

— Смерть! Смерть! — повторял граф в исступлении.

Все шестеро бросились на разбойника. Изумленный быстрым нападением, он отступил к отверстию, выходившему над пропастью, с свирепым ревом, выражавшим скорее ярость, чем испуг.

Шесть шпаг были направлены против него, но взоры его сверкали ярче, черты лица имели более угрожающее выражение, чем у нападающих. Он схватил свой каменный топор и, принужденный численностью противников ограничиться лишь обороной, стал вертеть им с такой быстротой, что круг вращение топора служил ему как бы щитом. Тысячи искр отскакивали с звоном от острие шпаг, ударявшихся о лезвие топора; но ни один клинок не коснулся тела разбойника. Однако, утомленный предшествовавшей борьбой с волком, он мало-помалу отступал назад и вскоре увидел себя припертым к двери, открывавшейся над пропастью.

— Друзья, — вскричал граф, — смелее! Сбросим в пропасть чудовище!

— Скорее звезды упадут туда с неба! — возразил разбойник.

Между тем нападающие удвоили пыл и отвагу, приметив, что малорослый принужден был спуститься на первую ступень, нависшую над бездной.

— Ну, толкайте! — кричал великий канцлер. — Еще одно усилие и он полетит в бездну! Злодей! Ты совершил свое последнее преступление. Смелее, товарищи, смелее!

Не отвечая ни слова, разбойник правой рукой продолжал размахивать своим страшным топором, левой же схватил рог, висевший у пояса и, поднеся к губам, извлек из него несколько хриплых протяжных звуков. Тотчас же в ответ на них из пропасти послышалось рычанье.

Несколько мгновений спустя, в ту минуту, когда граф и его клевреты, все наступая на малорослого, принудили его спуститься на вторую ступень, на закраине отверстия появилась вдруг огромная голова белого медведя. Пораженные удивлением, смешанным с ужасом, наступающие отшатнулись от двери.

Медведь тяжело взобрался по ступеням лестницы, раскрыв окровавленную пасть и оскалив острые зубы.

— Спасибо, мой храбрый Фриенд! — вскричал разбойник.

Воспользовавшись изумлением противников, он бросился на спину зверя, который стал спускаться, пятясь задом и обратив свою угрожающую пасть к врагам своего хозяина.

Вскоре опомнившись от изумление, они увидали медведя, который уносил от них разбойника, спускаясь в пропасть так же, как и вылез из нее, то есть цепляясь за старые стволы дерев и выступы скал. Они хотели было сбросить на него каменную глыбу, но прежде чем успели сдвинуть с места древний кусок гранита, лежавший там спокон веку, разбойник и его чудный конь исчезли в пещере.

### XXVI

Да, глубокий смысл часто таится в том, что люди называют случайностью. Какой-то таинственный перст как бы указывает событиям их путь и цель. Мы жалуемся на капризы фортуны, на причуды судьбы, как вдруг из этого хаоса блеснет или страшная молния, или светлый луч, — и мудрость человеческая смиряется перед высокими поучениями рока.

Если бы, например, когда Фредерик Алефельд рисовался в пышном салоне перед взорами копенгагенских красавиц великолепием своего костюма, тщеславился своим чином и самонадеянностью своих суждений; если кто-нибудь одаренный даром провидение явился бы тогда смутить его легкомысленный ум грозным предвещанием, сказал бы ему, что этот блестящий мундир, составлявший всю его гордость, послужит некогда к его гибели, что чудовище во образе человеческом станет упиваться его кровью подобно тому как он сам — беспечный сластолюбец — упивается французскими и богемскими винами; что волосы его, для которых он не мог наготовиться всевозможных благовонных эссенций и духов, будут волочиться в пыли пещеры диких зверей; что рука, на которую с такой грацией опирались красавицы Шарлоттенбурга, будет брошена медведю как полуобглоданная кость дикой козы, — чем ответил бы Фредерик на эти мрачные предсказания? Взрывом громкого хохота и пируэтом; а что еще ужаснее, — все благоразумные люди одобрили бы эту безумную выходку.

Но вникнем еще глубже в его судьбу. Не видим ли мы таинственной странности в том, что преступление графа и графини Алефельд пало наказанием на их же голову? Они составили позорный заговор против дочери узника; случай доставил этой несчастной покровителя, который счел необходимым удалить их сына, исполнителя их гнусного умысла. Этот сын, их единственная надежда, услан далеко от места своих позорных злоумышлений и едва успел прибыть к месту своего нового назначение, как становится жертвою другого случая-мстителя. Таким образом, желая обесславить невинную беззащитную молодую девушку, они сами толкнули преступного, но дорогого их сердцу сына в могилу. По собственной вине эти презренные накликали на себя несчастие.

### XXVII

Рано утром, на другой день после визита в Мункгольмский замок, Дронтгеймский губернатор приказал заложить дорожную карету, рассчитывая уехать в то время, когда графиня Алефельд еще спит; однако, мы имели уже случай заметить, что сон ее был самый чуткий.

Генерал подписал последние распоряжение епископу, в руки которого временно переходила его власть, и надев подбитый мехом редингот, хотел уже выйти из кабинета, как вдруг лакей доложил о прибытии высокородной канцлерши.

Эта помеха привела в страшное смущение старого солдата, привыкшего смеяться под градом картечи сотни пушек, но пасовавшего перед женским лукавством. Тем не менее он довольно развязно раскланялся с коварной графиней и только тогда досада изобразилась на лице его, когда она наклонилась к его уху с хитрым видом, замаскированным напускной таинственностью:

— Ну-с, достойный генерал, что он сказал вам?

— Кто? Поэль? Он сказал, что карета будет сейчас готова...

— Генерал, я говорю о мункгольмском узнике.

— А!..

— Дал он вам удовлетворительные объяснение на ваши вопросы?

— Но... само собою разумеется, графиня, — отвечал губернатор с замешательством.

— Есть у вас доказательства, что он замешан в бунте рудокопов?

Левин Кнуд не мог удержаться от восклицания.

— Сударыня, он невинен.

Генерал замолчал, чувствуя, что выразил убеждение сердца, а не рассудка.

— Он невинен! — повторила графиня с изумленным и вместе с тем недоверчивым видом.

Она опасалась, что Шумахер действительно доказал генералу свою невинность, которую в интересах великого канцлера необходимо было во что бы то ни стало очернить.

Поразмыслив, губернатор ответил настойчиво канцлерше сомнительным, смущенным тоном, вполне успокоившим ее опасения:

— Невинен... да, если вам угодно...

— Если мне угодно, генерал!

Коварная женщина расхохоталась и этот смех уязвил губернатора до глубины души.

— Сударыня, — сказал он сухим тоном, — позвольте мне одному лишь вице-королю дать отчет в моем объяснении с бывшим великим канцлером.

С глубоким поклоном он поспешил спуститься на двор, где уже ждала его карета.

— Уезжай, странствующий рыцарь, — подумала графиня Алефельд, входя в свои покои, — твой отъезд отнимает защитника у наших врагов и послужит сигналом к возвращению моего Фредерика. Слыханное ли дело, осмелиться услать в эти ужасные горы самого элегантного копенгагенского кавалера! К счастию, теперь не трудно будет вернуть его сюда.

Размышляя о сыне, она обратилась к своей доверенной служанке:

— Милая Лизбета, пришли из Бергена две дюжины тех маленьких гребенок, которые щеголи носят теперь в волосах; справься о новом романе знаменитой Скюдери и позаботься, чтобы непременно каждое утро мыли в розовой воде обезьяну моего дорогого Фредерика.

— Как! Сударыня, — спросила Лизбета, — разве господин Фредерик вернется?

— Конечно; и чтобы устроить ему приятную встречу, надо исполнить его просьбы. Я хочу сделать ему сюрприз, когда он вернется.

Бедная мать!

### XXVIII

Орденер, спустившись с башни, откуда смотрел на Мункгольмский маяк, долго искал повсюду своего злополучного проводника, Бенигнуса Спиагудри. Долго звал он его, но отвечало ему только эхо окрестных развалин.

Удивленный, но не испуганный таким непонятным исчезновением, он приписал его паническому ужасу, обуявшему трусливого смотрителя Спладгеста, и великодушно упрекая себя за то, что оставил его одного на несколько минут, решился провести ночь на Оельмском утесе и обождать его возвращения. Подкрепив себя пищей и завернувшись в плащ, он улегся близ потухающего костра, целуя локон волос Этели, и вскоре крепко заснул. И с тревожным сердцем можно спать, когда совесть чиста.

С восходом солнца он был уже на ногах, но от Спиагудри нашел только котомку и плащ, забытые им в башне и указывавшие, с какой поспешностью решился он на побег. Потеряв всякую надежду встретиться с ним по крайней мере на Оельмском утесе, Орденер решился отправиться в дальнейший путь без проводника, тем более, что на следующий день должен был застать Гана Исландца в Вальдергогской пещере.

Из первых глав этого рассказа можно было понять что Орденер с давних пор уже привык к утомительной скитальческой жизни искателя приключений. Несколько раз уже посетив северные провинции Норвегии, он не нуждался в проводнике особенно теперь, когда знал, где найти разбойника. Одиноко направился он к северо-западу, ощущая отсутствие Бенигнуса Спиагудри, который сказал бы ему, сколько кварца или шпата содержат те или другие холмы, какое предание сохранилось о каждой развалине, объяснил бы ему, отчего произошел тот или другой разрыв в почве, от наводнение ли, или от какого-либо древнего вулканического извержения.

Целый день бродил он в горах, которые, подобно ребрам, отходят на известном расстоянии от главной горной цепи, пересекающей в длину всю Норвегию, тянутся, постепенно понижаясь, вплоть до моря, где и скрываются. Вот почему берега этой страны представляют собою ряд мысов и заливов, а внутренность — непрерывную смену гор и долин, так что эта странная конфигурация почвы позволяет сравнивать Норвегию с огромным рыбьим хребтом.

Путешествие по этой стране не представляет больших удобств. Приходится то идти вместо дороги по каменистому руслу высохшего потока, то перебираться по зыбким мостам из древесных стволов, перекинутых через дорогу, которая превратилась в русло только-что зародившегося потока.

Орденер шел иной раз по целым часам, не встречая следа человеческого присутствие в этих диких местах и изредка лишь примечая крылья ветряной мельницы на вершине холма или прислушиваясь к отдаленному стуку кузниц, дым которых клубился по ветру подобно черному султану.

Изредка попадался крестьянин верхом на низенькой серой лошади, с понуренной головой, менее дикой однако, чем ее хозяин; или торговец пушным товаром на дровнях, запряженных двумя оленями, позади которых болталась длинная узловатая веревка, стучавшая по каменистой дороге и пугавшая этим волков.

Если Орденер просил торговца указать дорогу к Вальдергогской пещере, кочующий купец, знавший только название и местоположение селений, которые ему приходилось проезжать, отвечал равнодушно:

— Ступайте все к северо-западу, пройдите деревню Гервалин, минуйте Додлисакскую лощину и к ночи вы доберетесь до деревушки Сурб. В двух милях от нее находится Вальдергогская пещера.

Если же Орденер обращался с тем же вопросом к крестьянину, тот, пропитанный насквозь преданиями и легендами страны, качал головой и останавливал свою серую клячу, бормоча:

— Вальдергог! Вальдергогская пещера! Там поют камни, там пляшут кости и живет исландский демон! Наверно не Вальдергогскую пещеру ищет ваша милость?

— Нет, именно ее, — ответит Орденер.

— Ну, стало быть у вашей милости померла матушка, или сгорела ферма, а то может быть сосед украл жирного борова?

— Ничуть не бывало, — возразит молодой человек.

— Так значит колдун заворожил вашу милость.

— Добрый человек, я спрашиваю у тебя, как пройти к Вальдергогу.

— Я и отвечаю вам, сударь. Ступайте все к северу! Я знаю, как вы пойдете, но интересно знать как-то вы вернетесь.

С этими словами крестьянин удалялся, осеняя себя крестным знамением.

Трудность и печальное однообразие дороги увеличил мелкий пронизывающий дождь, который стал накрапывать с полудня. Ни одна птица не решалась подняться в воздухе, и Орденер, иззябнув под своим плащем, видел только как кружились над его головой коршуны, кречеты или соколы-рыболовы, которые при шуме его шагов стремительно вылетали из озерного тростника с рыбою в когтях.

Пройдя осиновый и березовый лес, примыкавший к Додлисакской лощине, молодой путешественник в глухую ночь прибыл в деревушку Сурб, где, как помнит читатель, Спиагудри намеревался расположить свою главную квартиру.

Запах смолы и дым от каменного угля предупредили Орденера, что он приближается к рыбачьему селению. Он пошел к первой хижине, примеченной им в темноте. Низкий, тесный вход был завешан по норвежскому обычаю большою прозрачной рыбьей кожей, освещенной в эту минуту красноватым дрожащим пламенем пылающего очага. Орденер постучал в деревянную раму двери, закричав:

— Путешественник!

— Войди, войди, — ответил чей-то голос изнутри.

В ту же минуту услужливая рука подняла дверной кожух. Орденер вошел во внутренность жилища норвежского рыбака. Это был род круглой землянки. Посредине пылал костер, в котором красное пламя торфа смешивалось с бледноватым пламенем ели.

Близ очага за столом, уставленным деревянными тарелками и глиняными кружками сидел рыбак, жена его и двое детей в лохмотьях. На противоположной стороне меж сетей и весел спали два оленя на подстилке из листьев и кож, которая в то же время служила постелью хозяевам хижины и гостям, каких Бог пошлет. С первого взгляда невозможно было различить внутреннее устройство хижины, так как едкий, густой дым, с трудом пробивавшийся в отверстие, проделанное на вершине кровли, застилал все предметы густым волнующимся покровом.

Лишь только Орденер переступил порог, рыбак и его жена поднялись из-за стола и радушно приветствовали посетителя. Норвежские крестьяне любят принимать путешественников, быть может столько же по живой любознательности их, сколько по врожденной склонности к гостеприимству.

— Вы, сударь, должно быть проголодались и порядком прозябли, — начал рыбак, — посушите ваш плащ у огня, а превосходный риндеброд утолит ваш голод. А потом, ваша милость, удостойте сообщить нам, кто вы такой, откуда и куда держите путь и какие сказки рассказывают старые бабы на вашей сторонке.

— Да, сударь, — подхватила женщина, — а к куску превосходного риндеброда, как сказал мой муженек, вы можете присоединить лакомый кусочек соленой трески, приправленной китовым жиром. Садитесь за стол, господин чужестранец.

— А если ваша милость не жалует мяса святого Усуфа[[37]](#footnote-37), — продолжал рыбак, — обождите минутку, ручаюсь, что вы отведаете мяса самой лучшей козули или по крайней мере крылышко королевского фазана. Мы поджидаем самого искусного охотника во всех трех округах. Не так ли, добрая Маас?

Маас, норвежское слово, с которым рыбак обратился к своей жене, значит чайка. Неизвестно, было ли это настоящее имя или только ласковое прозвище, но жена по-видимому нисколько не обиделась им.

— Еще бы, самый искусный охотник! — с гордостью ответила она. — Это мой брат, знаменитый Кеннибол! Да хранит его Господь! Он пришел погостить к нам на несколько дней и вы можете, господин чужестранец, выпить с ним из одной кружки славного пивца. Он такой же странник, как и вы.

— Спасибо, добрая хозяйка, — улыбаясь, сказал Орденер, — но мне придется удовольствоваться твоей аппетитной треской и куском риндеброда. Мне недосуг ожидать твоего брата знаменитого охотника, я должен пуститься в путь, не теряя времени.

Добрая Маас, с одной стороны раздосадованная скорым уходом чужестранца, с другой — польщенная его похвалой ее треске и брату, вскричала:

— Спасибо вам, сударь, на добром слове... Но неужели вы так скоро уйдете от нас?

— Да, мне нельзя мешкать.

— И вы хотите пуститься в горы в такое время, в такую погодку?

— Важное дело принуждает меня к этому.

Ответ молодого человека подстрекнул врожденное любопытство его хозяев и в то же время удивил их.

Рыбак встал из-за стола и сказал.

— Сударь, вы находитесь у Христофора Бальдуса Брааля, рыбака деревушки Сурб.

Жена добавила:

— Маас Кеннибол, его жена и служанка.

Когда норвежские крестьяне хотят вежливо узнать имя незнакомца, они имеют обыкновение объявлять сперва свое.

Орденер ответил:

— А я путешественник, не знающий ни имени своего, ни дороги, по которой ему придется идти.

Этот своеобразный ответ показался неудовлетворительным рыбаку Браалю.

— Клянусь короной старого Гормона, — вскричал он, — я думал, что в настоящее время во всей Норвегии только один человек не уверен в своем имени. Я говорю о благородном бароне Торвике, который, как слышно, скоро получит титул графа Даннескиольда, по причине славной свадьбы своей с дочерью канцлера. Вот, добрая Маас, самая свежая новость, которую узнал я в Дронтгейме. Поздравляю вас, господин чужестранец, с этим сходством с сыном вице-короля, графа Гульденлью.

— Если уж ваша милость, — подхватила Маас с лицом, разгоревшимся от любопытства, — не желаете ничего сказать нам про себя, не можете ли сообщить хоть каких-нибудь вестей, например, о славной свадьбе, про которую говорит мой муж?

— Да, — заметил рыбак с важным видом, — это самая свежая новость. Не пройдет и месяца, как сын вице-короля женится на дочери великого канцлера.

— Вряд ли, — сказал Орденер.

— Вы сомневаетесь, сударь? Могу вас уверить, что дело слажено. Я знаю это из верных источников, так как слышал от господина Поэля, доверенного слуги благородного барона Торвика, то есть именитого графа Даннескиольда. Уж не замутила ли воду буря в эти шесть дней? Может быть этот славный союз не состоится?

— Я так думаю, — ответил улыбаясь молодой человек.

— Ну, значит, я ошибся. Не разводи огня, прежде чем рыба не попалась в сети. Да верно ли, что свадьба разошлась? От кого вы узнали эту новость?

— Ни от кого, — ответил Орденер, — я сам так думаю.

При этих наивных словах, рыбак не мог удержаться от смеха, не смотря на врожденную норвежцам вежливость.

— Простите, сударь. Сейчас видно, что вы путешественник и, без сомнение, чужестранец. Так вы думаете, что все пойдет как вы хотите, что по вашему желанию погода нахмурится или прояснится?

Тут рыбак, интересовавшийся, подобно всем норвежским крестьянам, общественными событиями своей страны, принялся объяснять Орденеру, почему брак этот не может расстроиться, что он необходим для фамилии Алефельдов, что вице-король не может отказать королю, который стоит за этот брак. Кроме того, утверждают, что истинная любовь соединяет будущих супругов; словом, рыбак Брааль вполне был уверен в осуществимости этого союза и хотел бы столь же быть уверенным в том, что завтра ему удастся убить проклятую морскую собаку, опустошавшую Мастербикский пруд.

Орденер нисколько не был расположен поддерживать политические рассуждение грубого простолюдина, и приход нового посетителя вывел его из-затруднения.

— А, вот и он, мой брат! — вскричала старая Маас.

Одно лишь прибытие ее брата могло вывести ее из глубокого удивление и восторга, с которым слушала она длинные рассуждение своего мужа.

Между тем как дети шумно кинулись на шею к своему дяде, рыбак важно протянул ему руку.

— Добро пожаловать, братец, — сказал он и, обратившись к Орденеру, прибавил:

— Сударь, вот брат наш, знаменитый охотник Кольских гор, Кеннибол.

— Здравствуйте, — сказал горец, снимая шапку из медвежьей шкуры. — Ну, братец, я так же плохо охотился на ваших берегах, как ты ловил бы рыбу в наших горах. Мне кажется, скорее можно наполнить охотничью сумку, разыскивая домовых и ведьм в мрачных лесах королевы Маб. Сестрица Маас, ты первая чайка, которую я встречаю сегодня. Вот, друзья, вся моя добыча. Из за какого-нибудь дрянного глухаря первый охотник Дронтгеймского округа принужден был обегать все прогалины в такую пору и непогоду.

С этими словами он вынул из сумки и бросил на стол белую куропатку, заметив, что эта тощая дичина не стоит и выстрела мушкета.

— Но, — пробормотал он сквозь зубы, — будь покоен, верный мушкет Кеннибола, скоро ты поохотишься за жирной дичью. Если тебе не придется портить шкуры серн и оленей, за то ты вдоволь прострелишь зеленых плащей и красных мундиров.

Эти слова, сказанные вполголоса, подстрекнули любопытство Маас.

— Что это ты сказал, братец? — спросила она.

— Я говорю, что всегда какой-нибудь домовой дергает женщину за язык.

— Правда твоя, Кеннибол, — вскричал рыбак, — эти Евины дщери любопытнее своей праматери... Ты, кажется, заговорил о зеленых плащах?

— Знаешь, дружище, — с досадой возразил Кеннибол, — я доверяю свои тайны только мушкету, так как уверен, что он их не выдаст.

— В деревне поговаривают о бунте рудокопов, — невозмутимо продолжал рыбак. — Может статься, ты проведал об этом что-нибудь, братец?

Горец схватил свою шапку и надвинув ее на глаза, искоса взглянул на незнакомца. Затем, нагнувшись к рыбаку, он шепнул ему отрывистым тоном:

— Молчи!

Рыбак покачал головой.

— Эх, брат Кеннибол, как рыба ни молчит, а все попадет в вершу.

На минуту водворилось молчание. Братья выразительно переглянулись; дети ощипывали перья лежавшей на столе куропатки; хозяйка насторожила уши, а Орденер молча наблюдал за всеми.

— Если вы плохо поужинаете сегодня, — произнес вдруг охотник, очевидно желая переменить предмет разговора, — зато с лихвой наверстаете завтра. Ну, брат Брааль, лови теперь кита, я обещаю тебе медвежьего сала на приправу.

— Медвежьего сала! — подхватила Маас. — Так ты встретил медведя в окрестностях?.. Ну, ребятишки, Патрик, Регнер, не сметь выходить из хижины... Медведь как раз сцапает!

— Успокойся, сестра, завтра вам уже нечего будет его бояться. Я действительно встретил медведя в двух милях от Сурба, и притом белого медведя. Мне показалось, что он тащил человека, или скорее какое-то животное. Но нет, скорее это был козий пастух, они ведь одеваются в звериные шкурки. Впрочем, издалека-то порядком ничего не разберешь... Меня удивило только одно обстоятельство, что медведь тащил свою добычу на спине, а не в зубах.

— На спине, братец?

— Да, на спине, и по-видимому добыча то была мертвая, так как не пыталась даже защищаться.

— Но, — рассудительно заметил рыбак, — если бы добыча была мертвая, каким образом могла она держаться на спине медведя?

— В том то и штука, ну да впрочем, это была последняя добыча мишки. Придя в деревню, я сговорился с шестью надежными товарищами и завтра, сестрица Маас, у тебя будет самая роскошная медвежья шкура, которая когда-либо рыскала по снежным горам.

— Берегись, братец, — сказала жена рыбака. — Нет ли тут какой нечисти. Может быть этот медведь дьявол...

— Да ты никак ошалела? — смеясь перебил горец. — Чтобы дьявол оборотился в медведя! В кошку, обезьяну, еще туда-сюда, статочное дело; но в медведя!.. Клянусь святым Эльдоном Заклинателем, за такое суеверие тебя засмеют дети и старые бабы!

Маас смущенно потупила голову.

— Брат, ты был моим покровителем, пока я не вышла замуж. Поступай, как внушит тебе твой ангел-хранитель.

— А где же ты встретил медведя? — спросил горца рыбак.

— По дороге от Смиазена к Вальдергогу.

— Вальдергог! — повторила Маас, осеняя себя крестным знамением.

— Вальдергог! — повторил Орденер.

— Однако, дружище, — заметил рыбак. — Надеюсь, ты не ходил в Вальдергогскую пещеру?

— Я! Избави Боже! Туда шел медведь.

— Так завтра ты туда пойдешь разыскивать его? — с ужасом воскликнула Маас.

— С чего ты это взяла? Возможно ли, чтобы медведь устроил свое логовище в той пещере, где...

Он замолчал и все трое перекрестились.

— Твоя правда, — заметил рыбак, — зверь чутьем поймет, в чем дело.

— Добрые люди, — спросил Орденер, — да чем же страшна эта Вальдергогская пещера?

Все трое с удивлением переглянулись, как бы не понимая смысла подобного вопроса.

— Ведь там гробница короля Вальдера? — продолжал молодой человек.

— Да, — ответила Маас, — каменная гробница, которая поет.

— То ли еще там, — заметил рыбак.

— По ночам там пляшут кости мертвецов, — продолжала Маас.

— То ли еще там, — заметил горец.

Все замолчали, как бы не решаясь вымолвить слова.

— Ну, — спросил Орденер, — еще какие чудеса творятся в этой пещере?

— Молодой человек, — важно заметил горец, — не говорите так легкомысленно о том, что заставляет дрожать такого старого серого волка, как я.

Молодой человек слегка улыбнулся.

— Но мне действительно хотелось бы знать, что за чудеса творятся в Вальдергогской пещере, — возразил он, — так как я иду как раз туда.

При этих словах все трое окаменели от ужаса.

— В Вальдергог! С нами крестная сила! Вы идете в Вальдергог?.. И он говорит это, — вскричал рыбак, — таким тоном, каким другой сказал бы: я иду в Левич продавать треску или на берег Ральфа ловить сельдей! В Вальдергог! Боже милостивый!

— Несчастный молодой человек! — вскричала Маас. — Должно быть он родился без ангела хранителя и ни один святой не покровительствует ему! Увы! Это слишком ясно, он по-видимому даже не знает своего имени.

— Но, милостивый государь, — спросил охотник, — на кой прах понадобилось вам соваться в эту заклятую пещеру?

— Мне надо там порасспросить кой кого, — ответил Орденер.

Эти слова удвоили удивление и любопытство слушателей.

— Послушайте, господин чужестранец; очевидно вы не знаете хорошенько наших мест. Наверно вы ошиблись, не может быть, чтобы вы шли в Вальдергог.

— Да кроме того, — добавил горец, — если вы хотите говорить с человеком, вы не найдете там никого...

— Кроме демона, — подхватила Маас.

— Демона! Какого демона?

— Да, демона, — продолжала она, — для которого поет гробница и пляшут кости мертвецов.

— Разве вы не знаете, сударь, — сказал рыбак тихим голосом, приближаясь к Орденеру, — разве вы не знаете, что Вальдергогская пещера служит обычным местопребыванием...

Жена перебила его:

— Бальдус, не произноси этого имени, оно приносит несчастие.

— Кому же оно служит местопребыванием? — спросил Орденер.

— Воплощенному Вельзевулу, — ответил Кеннибол.

— Право, добрые люди, я не понимаю, что вы хотите сказать. Мне хорошо известно, что в Вальдергоге живет Ган Исландец...

Тройной крик ужаса огласил внутренность хижины.

— Ну вот!.. Вы знали же про этого демона!..

Маас сняла с головы шерстяную повязку, призывая всех святых во свидетели, что не она произнесла это имя.

Придя несколько в себя от ужаса, рыбак пристально взглянул на Орденера, как бы находя в молодом человеке что-то непонятное.

— Знаете ли, сударь, если даже мне суждено прожить больше моего отца, который умер сто двадцати лет от роду, так и в таком случае мне не доведется указать дорогу в Вальдергог человеческому существу, одаренному разумом и верующему в Бога.

— Еще бы! — вскричала Маас. — Да нет, вы не пойдете в эту проклятую пещеру. Если вы отправитесь туда, значит вы хотите заключить договор с дьяволом.

— Я пойду туда, добрые люди, и вы можете оказать мне большую услугу, указав кратчайший путь к пещере.

— Самый кратчайший путь туда, — сказал рыбак, — это кинуться с вершины ближайшего утеса в пропасть.

— Значит, по твоему, — спросил хладнокровно Орденер, — я приду к тому же результату, предпочтя бесполезную смерть полезной опасности?

Брааль покачал головой, между тем как его брат взглянул испытующим взором на юного искателя приключений.

— А, понимаю, — вскричал вдруг рыбак, — вы хотите заработать десять тысяч королевских экю, которые обещаны синдиком за голову Исландского демона.

Орденер улыбнулся.

— Послушайте меня, сударь, откажитесь от вашего намерения, — взволнованно продолжал рыбак, — я стар и беден, но ни за что не отдал бы остатка моей жизни за все ваши королевские экю, если бы даже мне оставалось жить только день.

Сострадательный, умоляющий взгляд женщины выжидал, какое действие произведет на молодого человека просьба ее мужа.

Орденер поспешил ответить:

— Обстоятельства гораздо более важные принудили меня отыскивать разбойника, которого называете вы демоном для других, а не для себя...

Горец, не спускавший глаз с Орденера, вдруг перебил его:

— Теперь и я понял вас; я знаю, зачем вы ищете Исландского демона.

— Я хочу вызвать его на бой, — сказал молодой человек.

— Вам даны важные поручение, не так ли? — спросил Кеннибол.

— Я только что это сказал.

С таинственным видом горец подошел к молодому человеку и к величайшему изумлению Орденера, шепнул ему на ухо:

— Для графа Шумахера Гриффенфельда, не так ли?

— А ты почему знаешь, мой милый? — вскричал Орденер.

Действительно, трудно было объяснить себе, каким образом норвежский горец мог узнать тайну, которую он не доверил никому, даже генералу Левину.

Кеннибол нагнулся к нему:

— От души желаю вам успеха, — сказал он тем же таинственным тоном. — Бог поможет благородному человеку, защищающему так отважно угнетенных.

Изумление Орденера достигло такой степени, что он едва мог спросить горца, каким образом проведал он цель его путешествия.

— Ни слова более, — шепнул Кеннибол, приложив пальцы к губам. — Надеюсь, что ваше объяснение с обитателем Вальдергогской пещеры увенчается успехом. Рука моя, подобно вашей, к услугам мункгольмского узника.

Прежде чем Орденер успел ответить ему, он продолжал громким голосом:

— Бальдус, и ты, сестра Маас, считайте этого честного молодого человека братом. Ну, теперь можно и поужинать...

— Как! — перебила Маас. — Ты, значит, отговорил их милость искать этого демона.

— Сестра, моли Бога, чтобы с ним не случилось несчастия. Это благородный, честный молодой человек. Ну, сударь, поужинайте и отдохните с нами; завтра я укажу вам дорогу и мы отправимся отыскивать — вы дьявола, а я медведя.

### XXIX

Лишь только первые лучи солнца позолотили вершины скал, обрамляющих морской берег, рыбак, до рассвета еще отплывший от берега на несколько выстрелов мушкета, чтобы закинуть сети в виду входа в Вальдергогскую пещеру, приметил какое то существо, закутанное в плащ или саван, которое, спустившись со скал, исчезло под грозными сводами пещеры.

Вне себя от ужаса, он поручил свою лодку и душу покровительству святого Усуфа и бросился домой рассказать своей испуганной семье, что он видел, как на рассвете вышло в пещеру одно из привидений, населяющих жилище Гана Исландца.

Это привидение — предмет будущих толков и ужаса в долгие зимние вечера — был Орденер, сын вице-короля Норвегии, который жертвовал своей жизнью ради той, которой отдал свою душу и сердце, ради дочери осужденного, между тем, как население обоих королевств полагало, что он ухаживает за своей гордой невестой.

Тяжелые предчувствие, зловещие предвещание сопровождали его к цели его путешествия; он только что расстался с семьей рыбака и, простившись с ним, добрая Маас горячо молилась за него на пороге хижины.

Горец Кеннибол и шестеро его товарищей, указав ему дорогу, покинули его за полмили от Вальдергога; эти неустрашимые охотники, которые, смеясь, шли на медведя, долгим испуганным взглядом смотрели в след отважному юноше.

Орденер вошел в Вальдергогскую пещеру, как моряк входит в давно желанную гавань. Неизъяснимую радость испытывал он, помышляя о том, что ему предстоит выполнить, что быть может через несколько мгновений он прольет кровь за свою Этель. Приготовляясь вступить в борьбу с разбойником, наводившим ужас на целый округ, с чудовищем, быть может с самим демоном, он совсем не думал об этом страшилище. В воображении его носился нежный образ узницы, без сомнение молившейся за него перед алтарем своей темницы. Если бы он жертвовал собою для кого-нибудь другого, то хоть минуту подумал бы как предотвратить опасность, но может ли рассуждать юное сердце в ту минуту, когда волнуют его два таких прекрасных ощущение, как самоотверженность и любовь.

Смело шел он под звучными сводами, где многоголосое эхо повторяло шум его шагов, даже не взглянув на сталактиты столетнего базальта, нависшие над его головой вместе с мохом, плющом и лишаями. Причудливые фигуры, образованные этими сталактитами, не раз представлялись суеверным норвежским крестьянам толпой демонов или процессией привидений...

С тем же равнодушием прошел он мимо гробницы короля Вальдера, с которой связывалось столько страшных преданий, и не слышал никаких голосов, кроме протяжного завыванья ветра в мрачных галереях.

Далее он вступил под извилистые своды, слабо освещенные через расселины скал, полузаросшие травой и кустарником. То и дело под ноги ему попадались какие-то обломки, звучно катившиеся по камням и казавшиеся в полумраке расколотыми черепами или челюстями с белыми, обнаженными до корней зубами.

Однако до сих пор он не испытывал ни малейшего чувства страха и удивлялся только тому, что не встретился еще с грозным обитателем страшной пещеры.

Наконец он достиг круглой залы, самой природой образованной в боку утеса. Здесь оканчивалась подземная дорога, по которой он следовал, и в стенах не имелось других отверстий, кроме широких трещин, через которые виднелись горы и окрестные леса.

Удивленный бесплодными поисками в этой роковой пещере, Орденер стал уже терять надежду встретиться здесь с разбойником, как вдруг его внимание привлечено было странной формы монументом, возвышавшимся посреди этой подъемной залы.

Три длинных массивных камня, утвержденных на земле, поддерживали четвертый широкий и четырехугольный, наподобие того, как три столба подпирают крышу. Под этим своеобразным гигантским треножником находился как бы жертвенник, высеченный из дельной глыбы гранита, с круглыми углублениями поверхности.

Орденер сразу узнал одно из тех колоссальных друидических сооружений, которых так часто встречал в своих странствованиях по Норвегии и быть может наиболее изумительные образцы которых представляют во Франции монументы Локмариакер и Карнак — странные древние памятники, выстроенные на земле как бы для временного убежища, и прочность которых зависит исключительно от их массивности.

Погрузившись в задумчивость, молодой человек машинально облокотился на жертвенник, каменное жерло которого почернело от крови человеческих жертв.

Вдруг он вздрогнул; слуха его коснулся голос, который казалось выходил из камня:

— Юноша, одной ногой стоишь ты уже в могиле.

Орденер быстро выпрямился и схватился за рукоять сабли, между тем как отголосок, слабый, как стон умирающего, явственно повторил в глубине пещеры:

— Юноша, одной ногой стоишь ты уже в могиле.

В ту же минуту страшная рыжеволосая голова с диким хохотом появилась по ту сторону друидического жертвенника.

— Да, безумец, — повторила она, — одной ногой стоишь ты уже в могиле.

— А рукой хватаюсь за саблю, — ответил молодой человек, не двигаясь с места.

Чудовище показалось из-за жертвенника, обнаруживая свои мощные жилистые члены, дикую, окровавленную одежду и кривые руки, вооруженные тяжелым каменным топором.

— Это я, — сказало оно с рычанием хищного зверя.

— Это я, — ответил Орденер.

— Я ждал тебя.

— Ну, я трудился больше, — невозмутимо заметил молодой человек, — я искал тебя.

Разбойник скрестил руки на груди.

— Знаешь ты, кто я?

— Да.

— И не боишься?

— Теперь нет.

— А, значит ты боялся, идя сюда?

Чудовище вскинуло голову с торжествующим видом.

— Да, боялся не найти тебя.

— Ты не боишься меня, а между тем ноги твои только что спотыкались о человеческие трупы?

— Завтра, быть может споткнутся о твои.

Малорослый вспыхнул от гнева. Орденер, не шевельнувшись, надменно хранил присутствие духа.

— Берегись! — пробормотал разбойник. — Я обрушусь на тебя, как норвежский град на зонтик.

— Мне не нужно другого щита против тебя.

Что-то во взоре Орденера обуздывало чудовище, которое принялось царапать ногтями шерсть своей одежды подобно тигру, который взрывает траву, прежде чем ринуться на добычу.

— Ты внушаешь мне что то вроде жалости, — сказало оно.

— А ты мне — презрение.

— Дитя, твой голос нежен, лицо твое свежо, как у молодой девушки: выбирай, какую смерть предпочтешь ты?

— Твою.

Малорослый захохотал.

— Ты не знаешь, что я демон, что в меня вселился дух Ингольфа Истребителя.

— Я знаю, что ты разбойник, для золота убивающий людей.

— Ошибаешься, — перебило чудовище, — для крови.

— Разве Алефельды не заплатили тебе за убийство капитана Диспольсена?

— Что такое? Что это за люди?

— Ты не знаешь капитана Диспольсена, которого ты убил на Урхтальском берегу?..

— Очень может быть, но я забыл его, как через три дня забуду тебя.

— Ты не знаешь графа Алефельда, который заплатил тебе за то, что ты отнял у капитана железный ящик?

— Алефельд! Постой; да я знаю его. Вчера еще я пил кровь его сына черепом моего.

Орденер содрогнулся от ужаса.

— Разве тебя недостаточно наградили?

— Наградили? — переспросил разбойник.

— Слушай, мне омерзительно смотреть на тебя, кончим скорее.

— Восемь дней тому назад ты нашел железный ящик на теле одной из твоих жертв, у офицера мункгольмского полка.

При последних словах разбойник вздрогнул.

— У офицера мункгольмского полка! — пробормотал он сквозь зубы, затем продолжал с движением изумления. — Да ты сам не офицер ли мункгольмского полка?

— Нет, — ответил Орденер.

— Жаль!

Лицо разбойника омрачилось.

— Слушай, — продолжал настойчиво Орденер, — куда ты девал ящик, взятый тобой у капитана?

Малорослый, казалось, размышлял одно мгновение.

— Клянусь Ингольфом! Вот странный ящик, которым все интересуются. Ручаюсь, что не так ревностно станут искать гроб с твоими костями, если только кто-нибудь соберет их.

Эти слова показывали, что разбойнику известен был ящик, и вернули Орденеру надежду разыскать его.

— Скажи мне, что ты сделал с ящиком. Может быть, он уже у графа Алефельда?

— Нет.

— Ты лжешь, потому что смеешься.

— Думай что хочешь. Мне что за дело?

Чудовище действительно приняло насмешливый вид, внушавший недоверие Орденеру. Он понял, что ему не остается ничего более, как или привести в ярость разбойника, или устрашить его, если возможно.

— Послушай, — сказал он, возвысив голос. — Ты должен отдать мне этот ящик.

Свирепый хохот был единственным ответом чудовища.

— Ты должен отдать мне его! — повторил молодой человек громовым голосом.

— Разве ты привык повелевать буйволами и медведями? — спросило чудовище с новым взрывом хохота.

— Да, даже демоном в аду.

— Так вот, попробуй теперь.

Орденер выхватил саблю, которая, как молния, сверкнула в темноте.

— Повинуйся!

— Ого, — вскричал разбойник, взмахнув топором, — мне ничего бы не стоило раздробить твои кости и высосать твою кровь, как только ты вошел сюда. Но я удержался; мне интересно было посмотреть, как воробей станет нападать на ястреба.

— Презренный, — вскричал Орденер, — защищайся!

— В первый раз еще говорят мне это, — пробормотал разбойник, скрежеща зубами.

С этими словами он вскочил на гранитный жертвенник и съежился там подобно леопарду, поджидающему на вершине скалы охотника, чтобы неожиданно кинуться на него.

Взоры его пристально устремились на молодого человека, он как бы выбирал, с какой стороны лучше напасть на противника. Еще одно мгновение, и Орденер погиб бы, но не дав времени разбойнику размыслить, он стремительно бросился на него и ударил по лицу концом сабли.

Завязался поединок, ожесточение которого трудно себе вообразить. Малорослый, стоя на жертвеннике, как статуя на пьедестале, казался одним из тех ужасных идолов, которым во времена варварства приносили здесь беззаконные и святотатственные жертвы.

Движение разбойника до такой степени были проворны, что откуда Орденер ни нападал на него, всюду встречал он зверскую физиономию и лезвие топора. На первых же порах он был бы изрублен в куски, если бы по счастливому вдохновению не накинул плаща на свою левую руку, для того чтобы подставлять этот развевающийся щит бесчисленным ударам разъярившегося врага.

В продолжение нескольких минут неслыханные усилия обоих противников ранить друг друга оставались тщетными. Серые пылающие, как угли, глаза малорослого выкатились из орбит. Удивленный столь энергичным и смелым сопротивлением по-видимому столь слабого врага, он перешел от дикой насмешливости к мрачному бешенству.

Свирепая неподвижность черт лица чудовища, невозмутимое спокойствие физиономии Орденера составляли страшный контраст с проворством их движений и стремительностью нападений.

В зале не слышно было другого шума, кроме стука оружие, беспорядочных шагов молодого человека и тяжелого дыхание сражающихся, как вдруг малорослый испустил страшный рев.

Топор его запутался в складках плаща. Он напряг все свои силы, яростно замахал рукой, но еще больше запутывал рукоять и лезвие в плаще, который, с каждым усилием его еще крепче обвивался вокруг топора.

Свирепый разбойник почувствовал наконец саблю противника у своей груди.

— Еще раз говорю тебе, — закричал Орденер, торжествуя победу, — отдашь ты мне железный ящик, который ты украл таким подлым образом?

Одну минуту малорослый хранил молчание, потом заревел:

— Никогда, будь ты проклят!

Орденер продолжал, все грозя саблей жизни побежденного:

— Подумай!

— Нет, я уж сказал тебе: не отдам, — повторил разбойник.

Благородный молодой человек опустил свою саблю.

— Ну, — сказал он, — освободи топор из складок плаща и будем продолжать бой.

Презрительный хохот был ответом чудовища.

— Щенок, я не нуждаюсь в твоем великодушии!

Прежде чем удивленный Орденер успел обернуться, он стал ногой на плечо своего великодушного победителя и одним прыжком очутился в двенадцати шагах от него.

Другим прыжком он вскочил на Орденера и повис на нем подобно пантере, впившейся пастью и когтями в бока громадного льва. Ногти его вонзились в плечи молодого человека; кривые ноги стиснули бедра, и Орденер увидал над собой свирепое лицо с окровавленным ртом и зубами хищного зверя, готовыми терзать его тело.

Чудовище хранило молчание; ни одно человеческое слово не вырвалось из его задыхающегося горла и только глухой рев, смешанный с хриплыми яростными криками, выражал его бешенство. Разбойник был отвратительнее дикого зверя, чудовищней демона; это был человек, в котором не оставалось ничего человеческого.

Орденер пошатнулся под тяжестью малорослого и упал бы от неожиданного толчка, если бы сзади не поддержала его широкая колонна друидического памятника. Он устоял на ногах, полусогнув спину и задыхался в объятиях непримиримого врага. Чтобы составить себе малейшее понятие об этом страшном моменте борьбы, надо знать, что только что описанная нами сцена была делом еле измеримого промежутка времени.

Мы сказали, что молодой человек пошатнулся, но он не дрогнул и только поспешил мысленно проститься с Этелью. Эта мысль любви была как бы молитвой, она вернула ему силы. Охватив чудовище обеими руками и взяв клинок сабли по середине, он приставил конец ее перпендикулярно к спинному хребту разбойника.

Раненое чудовище испустило страшный вой, неистово вырвалось из рук неустрашимого противника, который снова пошатнулся, и упало в нескольких шагах позади, держа в зубах лоскут зеленого плаща, оторванный им в ярости.

С ловкостью и проворством молодой серны малорослый очутился на ногах и битва завязалась в третий раз, еще ожесточеннее прежнего. Случайно вблизи от него находилась груда обломков скалы, в течение веков поросшая мохом и терновником. Два человека обыкновенной силы с трудом могли бы поднять малейший из них, но разбойник схватил обломок обеими руками и высоко подняв его над головой, замахнулся им на Орденера. Взгляд его был ужасен в эту минуту. Камень, пущенный изо всех сил, тяжело пронесся в воздухе, так что молодой человек едва успел отскочить в сторону. Гранитный обломок разлетелся вдребезги внизу подземной стены, с страшным треском, долго повторявшемся отголосками глубокой пещеры.

Оглушенный Орденер едва успел прийти в себя, как уже разбойник размахивал другим обломком. Раздраженный при виде такой подлой обороны, молодой человек устремился на малорослого, высоко подняв саблю, с намерением изменить бой, но огромная глыба, вращаясь в тяжелой мрачной атмосфере пещеры, встретила на пути своем хрупкий обнаженный клинок. Сабля сломилась как кусок стекла и зверский хохот чудовища огласил подземные своды.

Орденер был обезоружен.

— Хочешь ты перед смертью просить о чем Бога или дьявола, — закричал разбойник.

Глаза его сверкали зловещим огнем, все мускулы напряглись от яростной радости, и с нетерпеливым воем кинулся он за топором, валявшимся на земле в складках плаща...

Бедная Этель!

Вдруг отдаленный рев послышался снаружи пещеры. Чудовище остановилось. Рев усиливался; человеческие крики смешивались с жалобным рычаньем медведя. Разбойник прислушался. Жалобный вой продолжался. Разбойник схватил поспешно топор и кинулся, не на Орденера, но в одну из трещин, о которых мы говорили, и через которые проникал дневной свет.

Изумленный таким оборотом дела, Орденер тоже бросился за ним к этой природной двери и увидал на ближайшей прогалине громадного белого медведя, окруженного семью охотниками; среди них, как ему показалось, он узнал Кеннибола, накануне удивившего его своими словами.

Орденер обернулся. Разбойника не было уже в пещере, а снаружи доносились страшные крики:

— Фриенд! Фриенд! Я с тобой! Я здесь!

### XXX

Полк мункгольмских стрелков стройно двигался по ущельям, находящимся между Дронтгеймом и Сконгеном. Он то извивался вдоль русла потока, причем непрерывная цепь истоков ползла по оврагам, подобно длинной змее, чешуя которой сверкает на солнце; то спиралью взбирался на гору, походившую тогда на триумфальную колонну, уставленную бронзовым войском.

Солдаты маршировали, опустив оружие в плащах на распашку, с недовольным, скучающим видом, так как эти достойные люди любят только сражение или отдых. Грубые шуточки, старые остроты, забавлявшие их вчера, не веселили их теперь: погода была холодная, небо пасмурно. Хохот редко слышался в строю и поднимался разве, когда маркитантка неловко сваливалась с своей клячи, или жестяной котел катился со скалы на скалу в глубину пропасти.

Чтобы развлечься от скуки, нагоняемой дорогой, молодой датский барон, поручик Рандмер подошел к старому капитану Лори.

Капитан шел в мрачном молчании тяжелой, но твердой поступью; поручик ловко помахивал хлыстом, сорванным в кустарнике, росшем по сторонам дороги.

— Ну, капитан, что это с вами? Никак вам взгрустнулось?

— Вероятно, есть о чем, — ответил старый офицер не поднимая головы.

— Э, полноте хмуриться. Посмотрите на меня: разве я печален? А между тем побьюсь об заклад, мое горе не легче вашего.

— Вряд ли, барон Рандмер. Я потерял все мое имущество, все мое сокровище.

— Капитан Лори, наше горе одинаково, пятнадцать дней тому назад я проиграл поручику Альберику мой прекрасный родовой замок с поместьями. Я разорился в конец, а между тем, как видите, весел по прежнему.

Капитан ответил грустным тоном:

— Поручик, вы потеряли только ваш прекрасный замок, я же лишился собаки.

При этом ответе молодой человек оставался в нерешимости, смеяться ему или сожалеть.

— Послушайте, капитан, — начал он, — я лишился замка...

Капитан перебил его:

— Так что же из этого? Завтра вы выиграете другой.

— Да, но и вы найдете другую собаку.

Старик покачал головой.

— Я найду собаку, но не верну бедного Драка.

Он замолчал. Крупные слезы катились из его глаз по грубым, загорелым щекам.

— Это был мой единственный друг, — продолжал он, — я не знал ни отца, ни матери, да упокоит Бог их души! Поручик, бедный Драк спас мне жизнь в померанскую войну и я назвал его в честь знаменитого адмирала. Добрая собака, она не изменяла мне ни в счастии, ни в горе. После сражение при Огольфане, великий генерал Шак поласкал его рукою, говоря: «Славная у тебя собака, сержант Лори!» В то время я был еще сержантом.

— А! — перебил молодой барон, помахивая хлыстиком. — Как странно, должно быть, быть сержантом.

Старый служака не слушал его. По-видимому он рассуждал сам с собою и бессвязные слова срывались с его языка.

— Бедный Драк! Сколько раз здрав и невредим выбирался ты из брешей и траншей и для чего же? Чтобы утонуть как кошка в проклятом дронтгеймском заливе! Бедная собака! Мой храбрый друг! Ты достоин был умереть вместе со мною на поле битвы.

— Полноте хныкать, капитан, — вскричал поручик, — завтра, быть может, нам придется драться.

— Да, — презрительно ответил старый капитан, — с достойными врагами!

— А что же, с разбойниками рудокопами! С дьявольскими охотниками!

— С каменотесами, с грабителями больших дорог, с субъектами, которые не сумеют выстроить свиной головы или угла Густава Адольфа! Вот с каким сбродом придется иметь дело мне, побывавшему в померанском и голштинском походах, сделавшему сканийскую и далекарлийскую кампании! Сражавшемуся с знаменитым генералом Шаком и храбрым графом Гульденлью!..

— Но вы забываете, — перебил Рандмер, — что у этих банд страшный предводитель, дикий и сильный великан, подобный Голиафу, изверг, упивающийся человеческою кровью, демон, в котором соединились все силы ада...

— Кто же это такой? — спросил капитан.

— Знаменитый Ган Исландец!

— Брр! Побьюсь об заклад, что этот грозный полководец не съумеет зарядить мушкет в четыре приема!

Рандмер расхохотался.

— Смейтесь, смейтесь, — продолжал капитан, — действительно будет очень весело, когда наши добрые сабли скрестятся с грубыми заступами и славные копья с навозными вилами! Нечего сказать, достойные противники! Мой храбрый Драк не стал бы даже кусать их за ноги!..

Капитан продолжал энергически изливать свою досаду, как вдруг речь его прервана была появлением офицера, подбежавшего к ним запыхавшись.

— Капитан Лори! Милейший Рандмер.

— Что такое? — разом спросили оба.

— Друзья мои... я леденею от ужаса... Алефельд! Поручик Алефельд! Сын великого канцлера! Знаете, любезный барон Рандмер, этот Фредерик... этот элегантный щеголь!..

— Да, чересчур элегантный, — ответил барон. — Однако на последнем балу в Шарлоттенбурге я перещеголял его костюмом... Но что с ним случилось?

— Знаю, о ком вы говорите, — сказал в то же время капитан Лори, — Фредерик Алефельд, поручик третьей роты с синими лацканами. Он порядком неглежировал службой.

— На него не станут теперь жаловаться, капитан Лори.

— Это почему? — спросил Рандмер.

— Он в Вальстромском гарнизоне, — равнодушно заметил старый капитан.

— Именно. Полковник только-что получил известие... бедный Фредерик!

— Но что с ним случилось? Капитан Боллар, вы пугаете меня.

Старый Лори продолжал:

— Брр! Наш щеголь по обыкновению не поспел на перекличку; капитан посадил под арест канцлерского сынка, — вот и все несчастие, которое так подействовало на капитана Боллара.

Боллар хлопнул его по плечу.

— Капитан Лори, поручик Алефельд съеден заживо.

Капитаны значительно переглянулись, а Рандмер, сначала удивленный, вдруг расхохотался.

— Э! Капитан Боллар, у вас всегда найдется какая-нибудь скверная шутка. Но предупреждаю вас, меня вы не проведете.

Скрестив руки, поручик дал полную волю своей веселости, клянясь, что его больше всего забавляет легковерие, с которым Лори принимает вздорные выдумки Боллара.

— Выдумка действительно забавная, — говорил он, — одна мысль, что Фредерик, так заботившийся о своей коже, съеден живым, в состоянии уморить со смеху.

— Полно дурачиться, Рандмер, — сердито сказал Боллар, — говорю вам, Алефельд умер, я слышал это от самого полковника.

— О! Да он отлично играет свою роль! — продолжал барон, не переставая смеяться. — Шутник!

Боллар пожал плечами и обратился к старому Лори, который хладнокровно просил его рассказать подробности.

— В самом деле, любезный капитан Боллар, — подметил неистощимый весельчак, — расскажите же нам, кем это съеден наш молодчик. Достался ли он на завтрак волку, или на обед буйволу, или на ужин медведю?

— Полковник, — сказал Боллар, — только что получил в дороге депешу, которая сперва извещает, что Вальстромский гарнизон отступает к нам, теснимый значительным отрядом мятежников...

Старый Лори нахмурился.

— А затем, — продолжал Боллар, — что поручик Фредерик Алефельд, отправившись три дня тому назад на охоту в горы к Арбарским развалинам, встретился с чудовищем, которое утащило его в свою пещеру и пожрало.

Веселость поручика Рандмера удвоилась.

— О! о! С каким легковерием добрый Лори верит детским сказкам! Превосходно! Храните вашу серьезность, милый Боллар; вы удивительно забавны! Однако, вы не сказали нам, какое чудовище, какой леший или вампир утащил нашего поручика и пожрал его как шестидневного козленка.

— Я говорю не вам, — пробормотал с досадою Боллар, — а Лори, который не дурачится как вы. Любезный Лори, чудовище, упившееся кровью Фредерика, Ган Исландец.

— Предводитель разбойников! — вскричал старый офицер.

— Ну вот, мой храбрый Лори, — подхватил со смехом Рандмер, — надо ли уметь заряжать мушкет, когда так ловко работаешь челюстями.

— Барон Рандмер, — сказал Боллар, — вы ужасно походите на Алефельда. Берегитесь, чтобы вас не постигла та же участь.

— Ей Богу, мне больше всего нравится невозмутимая серьезность капитана Боллара, — вскричал молодой человек.

— А меня, — возразил тот, — больше всего пугает неистощимая веселость поручика Рандмера.

В эту минуту толпа офицеров, с живостью о чем-то разговаривавших, подошла к нашим собеседникам.

— Ах, черт возьми! — вскричал Рандмер. — Надо позабавить их выдумкой Боллара. Знаете ли, господа, — продолжал он, идя к ним навстречу, — несчастный Фредерик Алефельд съеден заживо извергом Ганом Исландцем.

Сказав это, он не мог удержаться от смеха, который к его удивлению встречен был почти негодующими криками:

— Как! Вы смеетесь! Я не ожидал, чтобы Рандмер стал сообщать таким тоном подобную новость. Смеяться над несчастием товарища!

— Как? — с смущением спросил Рандмер. — Неужели это правда?

— Да вы сами же говорите! — кричали ему со всех сторон. — Разве вы уже не верите своим слова?

— Но я полагал, что это выдумка Боллара...

— Выдумка была бы самая непозволительная, — вмешался старый офицер, — но к несчастию, известие это вполне достоверно. Наш полковник, барон Ветгайн, только что получил эту роковую весть.

— Страшное происшествие! Какой ужас! — послышались голоса в толпе.

— Нам придется драться с волками и медведями в образе человеческом, — заметил кто-то.

— На нас посыпятся выстрелы неведомо откуда, — сказал другой, — нас перестреляют по одиночке как старых фазанов в птичнике.

— Невольно содрогнешься, подумав о смерти Алефельда, — вскричал Боллар торжественным тоном, — наш полк несчастлив. Смерть Диспольсена, гибель бедных солдат в Каскадтиморе, страшная участь Алефельда, — вот три трагических происшествие в короткий промежуток времени.

Молодой барон Рандмер вышел наконец из своей молчаливой задумчивости.

— Просто не веришь своим ушам! — вскричал он. — Фредерик, этот ловкий танцор!

После этого глубокомысленного изречение, он снова замолчал, между тем как капитан Лори, искренно соболезнуя смерти молодого поручика, заметил второму стрелку, Торику Бельфасту, что медь на его перевязи не так ярко блестит как прежде.

### XXXI

При заходе солнца вид сжатой оголенной нивы наводит на душу какую-то зловещую грусть, когда идешь одиноко, шурша ногами в стеблях высохшей соломы, прислушиваясь к монотонному треску кузнечика и следя, как огромные бесформенные облака медленно ложатся на горизонте, подобно призрачным трупам.

Такое ощущение испытывал Орденер вечером, после неудачной встречи своей с исландским разбойником. Изумленный на минуту его поспешным бегством он намеревался сперва броситься за ним в погоню, но заблудившись в кустарнике, потерял целый день, бродя по диким необработанным полям, не встречая следа человеческого. К вечеру он очутился в обширной степи, окаймленной со всех сторон небосклоном и не представлявшей никакого убежища юному путнику, истомленному усталостями и голодом.

Страдание телесные усилились и душевными муками. Предприятие его не увенчалось успехом. У него не осталось даже обманчивой надежды, заставлявшей его преследовать разбойника; тысячи печальных мыслей, о которых вчера не было и помину, зароились теперь в его утомленном мозгу.

Что теперь делать? Как вернуться к Шумахеру, не принося с собой спасение Этели? Какие страшные бедствие мог отклонить он, разыскав роковой ящик? А брак его с Ульрикой Алефельд! Ах! Если бы по крайней мере удалось ему вырвать свою Этель из тюрьмы, если бы мог он бежать с ней и скрыть свое блаженство где-нибудь на краю света!..

Завернувшись в плащ, Орденер лег на землю — небо было мрачно; грозная молния по временам прорывалась сквозь тучи, как сквозь траурное покрывало, и быстро потухала. Холодный ветер бушевал на равнине. Молодой человек почти не обращал внимание на эти признаки приближающейся бури; если бы и мог он где-нибудь укрыться от непогоды и отдохнуть от усталости, нигде не скрылся бы он от своего несчастия и тревожных мыслей, не дававших ему покоя.

Вдруг смутный шум человеческих голосов достиг его слуха. С удивлением приподнялся он на локоть и приметил в некотором расстоянии странные тени, двигавшиеся в темноте. Он стал всматриваться пристальнее. Луч света сверкнул в таинственной толпе и Орденер с легко понятным изумлением увидал, что все эти фантастические признаки один за другим погружаются в землю. Затем все исчезло.

Орденер был чужд предрассудков своего времени и своей страны. Его зрелый, серьезный ум презирал те суеверие и страхи, которые тревожат детство людей, и народов. Однако, в этом страшном видении было что-то сверхъестественное, заставившее его усомниться в доводах рассудка. Кто знает, может быть духи умерших действительно возвращаются иногда на землю?

Он тотчас же поднялся с земли, осенил себя крестным знамением и направился к тому месту, где скрылись видения. Дождь стал накрапывать крупными каплями, плащ Орденера надувался как парус, перо на шляпе, развевавшееся по ветру, било его по лицу.

Вдруг он остановился. Блеск молнии указал ему невдалеке отверстие широкого круглого колодца, в который он непременно свалился бы, если бы не спасительный блеск грозы. Он приблизился к этой пропасти, в страшной глубине которой виднелся неясный свет, распространявший внизу красноватый отблеск по стенам цилиндрической шахты, ведшей в недра земли. Этот огонь, казавшийся волшебным пламенем гномов, как бы увеличивал необъятный мрак, представлявшийся взору.

Бесстрашный юноша стал прислушиваться, наклонившись над бездной. Отдаленный шум голосов достиг его слуха. Он более не сомневался, что существа, столь чудным образом явившиеся и исчезнувшие в его глазах, скрылись в эту пропасть, и почувствовал непреодолимое желание спуститься туда за ними, если бы даже эти призраки привели его в самый ад. К тому же буря разыгралась не на шутку, а в пропасти можно было найти убежище.

Но как спуститься туда? Какой путь избрали его предшественники, если только то не были призраки? Новый блеск молнии подоспел на выручку, осветив у ног Орденера первые ступени лестницы, исчезавшей в глубине колодца. Это было толстое вертикальное бревно с железными перекладинами для рук и ног того, кто отважится спуститься в бездну.

Орденер не колебался ни минуты, и смело ступив на опасную лестницу, стал спускаться в пропасть, не зная даже, доведут ли ступени его до конца, не думая, что может быть ему не суждено уже еще раз взглянуть на солнце. Скоро во мраке, обступившем его со всех сторон, он мог различать небо только при голубоватом блеске молнии, то и дело прорезывающей тучи. Проливной дождь, затоплявший поверхность земли, падал на него тонкой туманной росой. Порывы ветра, стремительно врывавшиеся в колодец, с протяжным свистом бушевали над его головой. А он спускался все ниже и ниже, медленно приближаясь к подземному свету, и остерегаясь лишь смотреть в глубину, чтобы не упасть от головокружения.

Между тем воздух становился все удушливее, голоса слышнее и красноватый отблеск, дрожавший на стенах колодца, возвещал близость дна пропасти. Спустившись еще несколько ступеней, Орденер мог наконец различить внизу лестницы вход в подземелье, освещенный красноватыми дрожащими лучами, и услышал слова, приковавшие все его внимание.

— А Кеннибола все еще нет! — нетерпеливо говорил кто-то.

— Чтобы это могло задержать его? — спросил тот же голос после минутного молчания.

— Сами не знаем, господин Гаккет, — послышалось в ответ.

— Эту ночь он хотел провести у сестры своей Маас Брааль в деревне Сурб, — заметил другой голос.

— Вы видите, — возразил первый, — я сдержал свои обещания... Я обязался привести вам предводителя, Гана Исландца, и привел...

При этих словах поднялся шум, значение которого трудно было бы угадать. Любопытство Орденера, пробудившееся при имени Кеннибола, столь удивившего его вчера, удвоилось при имени Гана Исландца.

Тот же голос продолжал:

— Ну, друзья мои, Джонас, Норбит, отсутствие Кеннибола не составляет большой важности. Нас теперь так много, что нам уже нечего бояться. Нашли вы знамена в Крагских развалинах?

— Да, господин Гаккет, — ответило несколько голосов.

— Ну, так теперь пора поднять знамя восстания! Вот вам деньги! У вас есть непобедимый предводитель! Смелее! Идем освободить благородного Шумахера, несчастного графа Гриффенфельда!

— Ура! Да здравствует Шумахер! — закричала толпа и тысячи отголосков повторили имя Шумахера под сводами подземелья.

Орденер, изумление и любопытство которого росли с каждой минутой, слушал затаив дыхание. Слушал, не смея верить и не отдавая себе отчета в слышанном. Имя Шумахера в связи с именем Кеннибола и Гана Исландца! Что за мрачная драма, которой он, тайный зритель, видел лишь одну сцену? Кого хотели защищать? О чьей голове шло дело?

— Слушайте! — продолжал тот же голос. — Перед вами друг, доверенный друг благородного графа Гриффенфельда...

Орденер в первый раз слышал этот голос. Тот продолжал:

— Положитесь на меня вполне, как он; друзья, все вам благоприятствует; вы достигнете Дронтгейма, не встретив ни одного врага.

— Так пойдемте же, господин Гаккет, — перебил чей-то голос, — только вот Петерс уверяет, что видел в ущельях Мункгольмский полк, выступивший против нас в полном составе.

— Лжет он, — уверенным тоном ответил Гаккет, — правительству еще ничего не известно о вашем возмущении; его неведение таково, что даже тот, кто отверг ваши справедливые требование, ваш притеснитель и гонитель знаменитого несчастного Шумахера, генерал Левин Кнуд отправился из Дронтгейма в столицу присутствовать при бракосочетании своего воспитанника Орденера Гульденлью с Ульрикой Алефельд.

Можно представить себе изумление Орденера, когда он слушал такую речь. В дикой, пустынной стране, под сводами подземной пещеры, какие-то незнакомцы произносили имена близких ему людей, даже его собственное! Мучительное сомнение запало в его душу. Возможно ли это? Неужели тот, чей голос он слышал, действительно агент графа Шумахера? Неужели Шумахер, этот почтенный старец, благородный отец его дорогой Этели, возмутился против короля, своего монарха, подкупил разбойников, зажег пламя междоусобной войны? И для этого лицемера, для этого бунтовщика он, сын вице-короля Норвегии, воспитанник генерала Левина, пренебрег своей будущностью, рисковал своей жизнью! Ради него разыскал и вступил в борьбу с исландским разбойником, с которым, по-видимому, Шумахер сам имел сношение, если вручал ему предводительство над этими бандитами!

Кто знает, может быть тот ящик, из-за которого Орденер едва не поплатился жизнью, заключал в себе какия-нибудь гнусные тайны этого низкого замысла? Не насмехался ли над ним мстительный узник Мункгольмской крепости? Быть может, он узнал в нем сына вице-короля; быть может — как мучительна была эта мысль великодушному молодому человеку! — склонив его предпринять это роковое путешествие, он рассчитывал только на гибель сына своего врага!..

Увы! Когда к какому-нибудь несчастливцу долгое время питаем мы уважение и любовь, когда мысленно в глубине души поклялись в неизменной преданности гонимому судьбой, — как ужасна бывает горечь той минуты, в которую он окажется неблагодарным и когда нам приходится разочаровываться в своем великодушии и проститься с чистым, прекрасным наслаждением самопожертвования. В одно мгновение стареем мы самой печальной старостью, стареем опытностью, теряем самые чудные иллюзии жизни, которая и привлекательна-то только своими иллюзиями.

Эти горькие мысли беспорядочно толпились в уме Орденера, который хотел бы умереть в эту роковую минуту. Ему казалось, что все счастие его жизни теперь рушилось навсегда. Многое в уверениях того, который выдавал себя доверенным агентом Гриффенфельда, казалось ему ложным и сомнительным, но так как все это клонилось к тому, чтобы обмануть несчастных поселян, Шумахер еще более являлся виновным в его глазах: и этот Шумахер был отцом его Этели!..

Эти размышление мучительно волновали его душу. Он дрожал, держась за ступени лестницы, и продолжал слушать. Иной раз с невыразимым нетерпением, с страшной жадностью ждем мы несчастий, которых наиболее страшимся.

— Да, — продолжал голос посланца, — теперь вами предводительствует страшный Ган Исландец. Кто теперь осмелится с вами сражаться? Вы боретесь за своих жен, за детей, у которых столь низко отнимают наследство, за благородного несчастливца, который вот уж двадцать лет несправедливо томится в позорной тюрьме. Идем, вас ждет Шумахер и свобода! Смерть притеснителям!

— Смерть притеснителям! — подхватила тысяча голосов.

Стук оружие и хриплые звуки горных рожков огласили своды подземелья.

— Стой! — закричал Орденер, поспешно соскочив с лестницы.

Мысль избавить Шумахера от преступление, а отечество от стольких бедствий совершенно овладела его душой. Но лишь только переступил он порог подземной пещеры, страх необдуманным вмешательством погубить отца его Этели, а быть может и ее самое, заглушил в нем всякое другое чувство. Побледнев, остановился он у порога, с изумлением смотря на странное зрелище, открывшееся его взорам.

Пещера похожа была на обширную площадь подземного города, границы которой терялись в массе столбов, поддерживавших своды. Столбы эти сверкали как хрусталь при свете тысячи факелов, которыми размахивала толпа странно вооруженных людей, в беспорядке расхаживавших в глубине площади. При виде этих огней и страшных призраков, блуждавших во мраке, можно было вообразить себя в одном из тех сказочных сборищ, куда, по древним сказаниям, стекаются колдуны и нечистая сила с звездами в руках вместо светильников, освещая по ночам древние леса и разрушенные замки.

Поднялись оглушительные крики:

— Незнакомец! смерть! смерть ему!

Сто рук поднялось над Орденером, который схватился за свою саблю... Благородный юноша! В своем великодушном порыве он забыл, что он одинок и безоружен.

— Стой! стой! — вскричал голос, по которому Орденер узнал посланца Шумахера.

Низенький толстяк, в черной одежде, с проницательными коварными глазами, приблизился к Орденеру.

— Кто ты такой? — спросил он.

Орденер не отвечал. Его так стиснули со всех сторон, что на груди его не осталось места, в которое бы не опиралось оружие сабли или дуло пистолета.

— Что, струсил? — спросил усмехаясь толстяк.

— Если бы вместо этих шпаг рука твоя лежала на моем сердце, — хладнокровно ответил Орденер, — ты убедился бы, что оно бьется не скорее твоего, если только у тебя есть сердце.

— О! о! Да ты еще храбришься! Ну, так спровадьте его! — сказал толстяк, повернувшись к нему спиною.

— Убей меня, — заметил Орденер, — это все, чем я буду тебе обязан.

— Позвольте, господин Гаккет, — сказал старик с густой бородой, опиравшийся на свой длинный мушкет, — вы здесь у меня, и один я имею право отправить этого христианина к мертвецам рассказать им, что он у нас высмотрел.

Господин Гаккет расхохотался.

— Как угодно, милейший Джонас! Мне все равно, кто станет судить этого шпиона, лишь бы засудить его.

Старик обернулся к Орденеру:

— Ну, скажи-ка нам кто ты такой, зачем это понадобилось тебе узнать, что мы за люди?

Орденер хранил молчание. Окруженный странными защитниками Шумахера, ради которого он готов был пролить свою кровь, Орденер в эту минуту желал одной лишь смерти.

— Ваша милость не хочет удостоить нас ответом, — сказал старик. — Лиса тоже молчит, когда попадет в капкан. Прикончите с ним!

— Послушай, Джонас, — заметил Гаккет, — пусть Ган Исландец покажет нам свою силу над этим шпионом.

— Да, да! — с живостью подхватило несколько голов.

Изумленный, но не терявший мужества Орденер стал искать глазами Гана Исландца, против которого так храбро защищал свою жизнь в это утро и еще с большим удивлением увидал, что к нему приближался человек колоссального телосложение, одетый в костюм горцев.

Гигант устремил на Орденера бессмысленный зверский взор и спросил топор.

— Ты не Ган Исландец, — твердо сказал Орденер.

— Убей его! Убей его! — яростно вскричал Гаккет.

Орденер знал, что всякое сопротивление будет бесполезно. Желая в последний раз поцеловать локон волос Этели, он поднес руку к груди и при этом движении из-за пояса его выпала бумага.

— Что это за бумага? — спросил Гаккет. — Норбит, подними-ка ее.

Норбит, молодой человек, загорелые грубые черты лица которого дышали благородством, поднял и развернул бумагу.

— Боже мой! — вскричал он, — это охранительная грамота бедного Христофора Недлама, злополучного товарища, которого неделю тому назад казнили на Сконгенской площади за подделку монеты.

— Ну, возьми себе этот клочек бумаги, — сказал Гаккет тоном обманутого ожидания, — я думал, что это какой-нибудь важный документ. А ты, Ган, расправься-ка поскорей с этим молодчиком.

Молодой Норбит стал перед Орденером.

— Этот человек под моей защитой, — вскричал он, — пока голова моя на плечах, ни один волос не упадет с его головы. Я не допущу, чтобы издевались над охранительной грамотой моего друга Христофора Недлама.

При виде столь неожиданного защитника Орденер с умилением потупил голову; он вспомнил как надменно принято было им трогательное пожелание священника Афанасия Мюндера, чтобы дар умирающего оказал благодеяние путнику!

— Ба! Что за вздор, Норбит! — возразил Гаккет. — Этот человек шпион и должен умереть.

— Дайте сюда топор, — повторил гигант.

— Он не умрет! — вскричал Норбит. — Это возмутит дух бедного Недлама, которого подло вздернули на виселицу. Говорю вам, он не умрет, таково было предсмертное желание Недлама.

— Действительно, Норбит прав, — вмешался старый Джонас. — Как можете вы требовать смерти этого незнакомца, господин Гаккет, когда у него охранная грамота Христофора Недлама.

— Но ведь это шпион, соглядатай, — возразил Гаккет.

Старик стал возле Норбита перед Орденером, и оба твердили упрямо:

— У него охранная грамота Христофора Недлама, повешенного в Сконгене.

Гаккет понял, что придется уступить, когда вся толпа заволновалась, крича, что незнакомца нельзя убивать, когда при нем охранная грамота фальшивого монетчика Недлама.

— Ну, как знаете, — пробормотал он сквозь зубы с затаенной яростью, — будете пенять на себя.

— Будь он сам дьявол, я и то не убил бы его, — заметил Норбит с торжествующим видом.

Затем он обратился к Орденеру.

— Послушай, — продолжал он, — ты должно быть добрый товарищ, если злополучный Недлам передал тебе свою охранную грамоту. Мы королевские рудокопы и бунтуем теперь, чтобы освободиться от опеки. Господин Гаккет, которого ты видишь пред собой, говорит, будто мы бунтуем за какого то графа Шумахера, но я и в глаза его не видал. Послушай, дело наше правое; отвечай мне, как ответил бы своему святому покровителю. Хочешь идти с нами за одно?

Счастливая идее вдруг мелькнула в уме Орденера.

— Хочу, — ответил он.

Норбит подал ему свою саблю, которую тот взял молча.

— Брат, — сказал Норбит, — если ты задумаешь нам изменить, сперва убей меня.

В эту минуту под сводами подземелья раздался звук рожка и вдали послышались крики:

— Вот и Кеннибол!

### XXXII

Иной раз внезапное вдохновение неожиданно освещает нашу душу, — и целый том размышлений и рассуждений не в состоянии выразить всю обширность его, или измерить его глубину, подобно тому как свет тысячи светильников не в силах сравниться с беспредельным и мгновенным блеском молнии.

И так, не станем анализировать того непреодолимого таинственного побуждение, повинуясь которому, благородный сын вице-короля Норвегии принял предложение Норбита и очутился в рядах бандитов, восставших на защиту Шумахера.

Нет сомнение, что в этом побуждении не малую долю занимало великодушное желание во что бы то ни стало проникнуть мрачную тайну, — желание, смешанное отчасти с горьким отвращением к жизни, с равнодушным отчаянием в будущности; но кроме того, Орденер никак не мог примириться с мыслью о виновности Шумахера и в этом поддерживали его подозрительность всего, что он видел, инстинктивное сознание лжи, а более всего любовь к Этели. Наконец им руководило безотчетное сознание важности той услуги, которую здравомыслящий друг может оказать Шумахеру в среде его ослепленных защитников.

### XXXIII

Заслышав крики, возвестившие о прибытии знаменитого охотника Кеннибола, Гаккет поспешно бросился к нему на встречу, оставив Орденера с двумя другими начальниками.

— Наконец то, дружище Кеннибол! Идем, я представлю тебя вашему страшному предводителю, самому Гану Исландцу.

При этом имени Кеннибол, вошедший в подземелье бледный, задыхающийся, со всклоченными волосами, с лицом облитым потом, с окровавленными руками, отступил шага на три.

— Гану Исландцу!

— О! Успокойся, он будет помогать вам, как друг и товарищ, — заметил Гаккет.

Кеннибол не слушал его.

— Ган Исландец здесь! — повторил он.

— Ну да, — ответил Гаккет, подавляя двусмысленную усмешку, — не бойся...

— Как! — в третий раз перебил охотник. — Вы говорите, что Ган Исландец в этой шахте...

Гаккет обратился к окружающим:

— Что это, уж не рехнулся ли храбрый Кеннибол? Да ты и запоздал-то, должно быть, боясь Гана Исландца, — заметил он Кенниболу.

Кеннибол поднял руки к небу.

— Клянусь святой великомученицей Этельдерой Норвежской, не страх к Гану Исландцу, господин Гаккет, а сам Ган Исландец помешал мне прибыть сюда вовремя.

Ропот изумление поднялся при этих словах в толпе горцев и рудокопов, окружавших Кеннибола. Физиономие Гаккета снова омрачилась, как минуту тому назад при появлении и неожиданном спасении Орденера.

— Что? Что ты сказал? — спросил он, понизив голос.

— Я говорю, господин Гаккет, что если бы не ваш проклятый Ган Исландец, я был бы здесь до первого крика совы.

— Неужто! В чем же дело?

— Ох! Уже не спрашивайте лучше! Пусть побелеет моя борода в один день, как шкурка горностая, если я еще раз рискну охотиться за белым медведем.

— Уж не помял ли тебя медведь, чего добраго?

Кеннибол презрительно пожал плечами.

— Медведь! Вот страшилище-то! Чтобы Кеннибола помял медведь! Да за кого вы меня принимаете, господин Гаккет?

— Ах, сударь, если бы вы знали, что со мной случилось, — продолжал старый охотник, понизив голос, — вы не уверяли бы меня, что Ган Исландец здесь.

Гаккет снова смутился и поспешно схватил Кеннибола за руку, как бы опасаясь, чтобы он не подошел ближе к тому месту подземной площади, где над головами рудокопов виднелась огромная голова гиганта.

— Дружище Кеннибол, — сказал он почти торжественным тоном, — прошу тебя, расскажи мне толком, что тебя задержало. Ты понимаешь, что в настоящее время всякая безделица может иметь для нас важное значение.

— Это правда, — согласился Кеннибол после минутного раздумья.

Затем, уступив настоятельным просьбам Гаккета, он рассказал ему как в это утро с шестью товарищами преследовал он белого медведя почти до самых окрестностей Вальдергогской пещеры, не примечая в пылу охоты близости этой страшной местности; как на вой почти издыхающего зверя выбежал из пещеры малорослый, чудовище, демон и, размахивая каменным топором, кинулся защищать против них медведя. При появлении этого дьявольского существа, которое не могло быть никем другим кроме Гана, исландского демона, кровь застыла от ужаса в жилах семерых охотников; шесть его злополучных товарищей пали жертвой обоих чудовищ, а Кеннибол спасся лишь поспешным бегством, благодаря своему проворству, утомлению Гана Исландца, а главным образом, благодаря покровительству патрона охотников, святого Сильверста.

— И так, господин Гаккет, — докончил он свой страшный рассказ, изукрашенный цветистым красноречием горцев, — вы видите, что я запоздал не по своей вине. Скажите на милость, ну возможное ли это дело, чтобы этот исландский демон находился теперь здесь, в этой Апсилькорской шахте, как наш друг и союзник, когда я сегодня утром оставил его с медведем в Вальдергогском кустарнике у трупов моих злополучных товарищей? Уверяю вас, это немыслимая вещь. Я знаю теперь этого воплощенного демона; я сам видел его!

Гаккет, внимательно выслушавший его рассказ, заметил важным тоном:

— Дружище Кеннибол, когда ты говоришь о Гане Исландце, или об аде, знай, что для них все возможно. Все, что ты рассказал сию минуту, мне было уже раньше известно...

Выражение крайнего изумление и самой простодушной доверчивости появилось в суровых чертах старого охотника Кольских гор.

— Как?..

— Да, — продолжал Гаккет, в лице которого более зоркий наблюдатель мог бы уловить выражение насмешливого торжества, — я знал все, за исключением, конечно, того, что ты сам был героем этого печального приключения. Ган Исландец, идя со мной сюда, рассказал мне все это.

— Неужели! — вскричал Кеннибол, смотря на Гаккета со страхом и почтением.

Гаккет хладнокровно продолжал:

— Очень просто; но теперь ты можешь успокоиться; я сам представлю тебя этому страшному Гану Исландцу.

Кеннибол вскрикнул от ужаса.

— Говорю тебе, не бойся ничего, — повторил Гаккет, — смотри на него, как на вашего предводителя и товарища. Только чур! Не напоминай ему о сегодняшнем приключении. Понимаешь?

Надо было покориться, но не без живейшего внутреннего отвращение решился охотник приблизиться к демону. Они подошли к толпе, в которой находились Орденер, Джонас и Норбит.

— Бог в помощь, друзья мои Джонас, Норбит, — поздоровался Кеннибол.

— Спасибо на добром слове, Кеннибол, — ответил Джонас.

В эту минуту взгляд Кеннибола встретился с вгзлядом Орденера, который не спускал с него глаз.

— А, и вы здесь, молодой человек, — вскричал охотник, с живостью подходя к нему и протягивая свою грубую морщинистую руку, — добро пожаловать. По-видимому ваша смелая попытка увенчалась успехом?

Орденер, не понимая намеков горца, хотел было попросить у него объяснение, когда Норбит вскричал:

— Так ты знаешь этого незнакомца, Кеннибол?

— Святые угодники, знаю ли я его! Я его люблю и уважаю! Он, как все мы, стоит за наше правое дело.

С этими словами он бросил на Орденера значительный взгляд, но когда тот хотел ответить ему, Гаккет подвел к ним гиганта, от которого с ужасом сторонились все бандиты.

— Храбрый охотник Кеннибол, — сказал он, — вот ваш знаменитый предводитель, Ган Клипстадурский.

Скорее с изумлением, чем со страхом Кеннибол взглянул на исполинского разбойника и шепнул на ухо Гаккету:

— Господин Гаккет, Ган Исландец, с которым я встретился сегодня близ Вальдергога, был низок ростом...

Гаккет отвечал ему тихим голосом:

— Вспомни, Кеннибол! Демон!

— И то правда, — согласился легковерный охотник, — долго ли ему оборотиться.

С невольной дрожью он отошел в сторону и украдкой осенил себя крестным знамением.

### XXXIV

В мрачном дубовом лесу, куда едва проникали бледные утренние сумерки, низкого роста человек подошел к другому, который по-видимому поджидал его. Разговор начался вполголоса.

— Простите, ваше сиятельство, что я заставил вас ждать. Меня задержали непредвиденные случайности...

— Что такое?

— Начальник горцев Кеннибол только в полночь пришел на сходку, а тем временем мы встревожены были неожиданным свидетелем.

— Свидетелем?

— Да, какой то субъект, как сумасшедший ворвался в наше сборище в шахте. Сперва я подумал, что это шпион и велел было убить его; но у него нашлась охранная грамота какого-то висельника, пользовавшегося уважением среди рудокопов, которые и приняли незнакомца под свое покровительство. Рассудив хорошенько, я полагаю, что это должно быть какой-нибудь искатель приключений или полоумный ученый. На всякий случай относительно его я уже принял свои меры.

— Ну, а вообще как идут дела?

— Превосходно. Рудокопы Гульдбранхаля и Фа-Рёра, под начальством молодого Норбита и Джонаса, кольские горцы под предводительством Кеннибола теперь должно быть уже выступили в путь. Их товарищи из Губфалло и Зунд-Моёра присоединятся к ним в четырех милях от Синей Звезды. Конгсберцы и отряд смиазенских кузнецов, которые, как известно высокородному графу, заставили уже отступить Вальстромский гарнизон, будут поджидать их несколько миль далее. Наконец, все эти соединенные банды остановятся на ночь в двух милях от Сконгена, в ущельях Черного Столба.

— Ну, а как принят был ваш Ган Исландец?

— Без малейшего недоверия.

— О! Как бы мне хотелось отмстить этому чудовищу за смерть сына! Как жаль, что он вывернулся из наших рук!

— Ваше сиятельство, пользуйтесь сперва именем Гана Исландца, чтобы отмстить Шумахеру, а потом мы найдем средство отмстить и самому Гану... Мятежники целый день будут в пути, на ночь же остановятся в ущельях Черного Столба, в двух милях от Сконгена.

— Что вы? Разве можно подпустить так близко к Сконгену такую банду разбойников?.. Мусдемон!..

— Вы меня подозреваете, граф! Пошлите, не теряя времени, гонца к полковнику Ветгайну, полк которого должен находиться теперь в Сконгене; предупредите его, что все скопище мятежников расположится сегодня ночью в ущельях Черного Столба, как нарочно созданных для засады...

— Понимаю, но зачем, милейший Мусдемон, навербовали вы такую гибель бунтовщиков?

— Граф, вы забываете, что чем значительнее будет мятеж, тем тяжелее преступление Шумахера и тем важнее ваша заслуга. Кроме того, необходимо разом положить конец бунту.

— Прекрасно! Но не слишком ли близко место стоянки к Сконгену?

— Из всех горных ущельев это единственное, в котором невозможно защищаться. Оттуда выйдут только те, кому назначено явиться перед судилищем.

— Превосходно!.. Однако, Мусдемон, мне хотелось бы поскорее развязаться с этим делом. Если с этой стороны все идет как нельзя лучше, зато с другой — мало утешительного. Вы знаете, что мы предприняли в Копенгагене тайные розыски насчет тех бумаг, которые могли попасть в руки какого-то Диспольсена?..

— Знаю, граф.

— Ну, так я недавно узнал, что этот интриган имел тайные сношение с проклятым астрологом Кумбизульсумом...

— Который на днях умер?

— Да; и при смерти этот старый колдун вручил агенту Шумахера бумаги...

— Чорт возьми! У него были мои письма, изложение нашего предприятия!..

— Вашего предприятие, Мусдемон?

— Виноват, ваше сиятельство; но к чему было доверяться этому шарлатану Кумбизульсуму!?.. Старому плуту!..

— Послушайте, Мусдемон, я не так недоверчив, как вы... Не без серьезных оснований верил я всегда в волшебную науку старого астролога.

— Вы, ваше сиятельство, могли верить в его науку, но зачем же было полагаться на его честность? Во всяком случае нам нечего бояться, граф. Диспольсен умер, бумаги пропали; а через несколько дней не будет и тех, кому они могли сослужить службу.

— Конечно; как бы то ни было, кто посмеет обвинить меня?

— Или меня, пользующегося покровительством вашего сиятельства?

— О да, вы всегда можете рассчитывать на меня; но прошу вас, не затягивайте этого дела. Я тотчас же пошлю гонца к полковнику. Пойдемте, слуги поджидают меня за этими кустами, мы отправимся прямо в Дронтгейм, откуда должно быть уже выехал мекленбуржец. Служите мне верой и правдой и я защищу вас от всех Кумбизульсумов и Диспольсенов на свете!

— Верьте, ваше сиятельство... Дьявол!

Оба исчезли в лесу; голоса их затихли мало-помалу и вскоре послышался топот двух лошадей.

### XXXV

В то время как в одном из лесов, окружающих Смиазенское озеро происходил вышеописанный разговор, мятежники, разделившись на три отряда, вышли из Апсилькорской свинцовой рудокопни через главный вход, расположенный на дне глубокого оврага.

Орденер, который, не смотря на свое желание сблизиться с Кенниболом, попал в отряд Норбита, видел перед собой длинную процессию факелов, пламя которых, борясь с рассветом зарождающегося утра, отразилось в топорах, вилах, заступах, в железных наконечниках дубин, в тяжелых молотах, ломах, баграх и тому подобных грубых рабочих орудиях, какими только могли воспользоваться мятежники, не пренебрегая и обыкновенным оружием, свидетельствовавшим, что бунт был последствием заговора. Мушкеты, копья, сабли, карабины и пищали дополняли собой вооружение банды.

Когда солнце взошло над горизонтом и факелы издавали один лишь чад, Орденер мог лучше рассмотреть это странное войско, выступавшее в беспорядке с хриплыми песнями и дикими криками, и походившее на стаю голодных волков, почуявших запах трупа.

Все войско разделено было на три отряда или, скорее, на три толпы.

Впереди шли кольские горцы под предводительством Кеннибола, на которого все они походили как одеждой из звериных шкур, так и своими дикими суровыми физиономиями.

Далее следовали молодые рудокопы под начальством Норбита и старые — под командой Джонаса — в своих больших войлочных шляпах, в широких панталонах, с голыми руками и почерневшими лицами, с взглядом, тупо устремленным на солнце. Над этой беспорядочной толпой развевались там и сям огненного цвета знамена с различными надписями, как то: «Да здравствует Шумахер!» — «Освободим нашего благодетеля!» — «Свобода рудокопам!» — «Свобода графу Гриффенфельду!» — «Смерть Гульденлью!» — «Смерть притеснителям!» — «Смерть Алефельду!»

Бунтовщики смотрели на эти знамена скорее как на бесполезную ношу, чем на украшение, и они передавали их из рук в руки, когда знаменоносец уставал или хотел принять участие в нестройном хоре рожков и завываниях своих соратников.

Ариергард этого странного войска составлял десяток телег, запряженных оленями и большими ослами и предназначенных вероятно для фуража. Гигант, приведенный Гаккетом, один шел впереди отряда с дубиною и топором, а в некотором отдалении позади него с затаенным ужасом следовали первые ряды горцев Кеннибола, который не спускал глаз с этого дьявольского вождя, ожидая, что он того гляди изменит свой вид.

С дикими криками и оглашая сосновые леса звуками рожков, банда мятежников спустилась с южных гор Дронтгеймского округа. Тут присоединились к ним отдельные отряды из Сунд-Мора, Губфалло, Конгсберга и толпа смиазенских кузнецов, представлявших странный контраст с прочими бунтовщиками. Эти рослые, сильные люди, вооруженные клещами и молотами, в кирасах из широких медных пластинок, с деревянным крестом вместо знамени, мерно выступали вперед, распевая библейские псалмы. Предводителем их был крестоносец, шедший во главе без всякого оружия.

Все эти скопища мятежников не встречали ни души на пути своем. При их приближении пастухи загоняли стада свои в пещеры, поселяне бежали из деревень. Житель равнин и долин везде одинаков; он равно боится и разбойника и полицейского.

В таком порядке проходили они по холмам и лесам, редко встречая на пути селения; следовали по извилистым дорогам, на которых виднелось больше звериных, чем человеческих следов, огибали озера, переправлялись через потоки, овраги и болота.

Орденеру совсем незнакома была местность, по которой ему приходилось идти. Раз только взор его приметил вдали на горизонте виднеющуюся скалу и, обратившись к одному из своих спутников, он спросил.

— Приятель, что это за скала виднеется там на юге?

— Ястребиная шея, Ольемский утес, — ответил ему рудокоп.

Орденер глубоко вздохнул.

### XXXVI

Обезьяна, попугаи, гребешки и ленты, все приготовлено у графини Алефельд к приезду поручика Фредерика. Она выписала даже за дорогую цену последний роман знаменитой Скюдери. В роскошном переплете с позолоченными чеканными застежками он положен был по ее приказанию среди флаконов с духами и коробочек с мушками на элегантном туалете с золочеными ножками и с мозаичной инкрустацией в будущем будуаре ее ненаглядного Фредерика.

Исполнив таким образом эту мелочную материнскую заботливость, которая смягчила на время ее злобную натуру, она стала обдумывать, как бы вернее и скорее погубить Шумахера и Этель, которые с отъездом Левина лишились своего последнего защитника.

В короткий промежуток времени в Мункгольмской крепости произошло несколько событий, о которых графиня Алефельд имела самые смутные понятия. Кто этот раб, вассал или чужак, которого, судя по уклончивым и загадочным словам Фредерика, полюбила дочь бывшего канцлера? В каких отношениях мог находиться барон Орденер к Мункгольмским узникам? Что за непонятная причина его странного отсутствие в то время, когда оба королевства заняты были его близкой свадьбой с Ульрикой Алефельд, которой он по-видимому чуждался? Наконец, что произошло при свидании Левина Кнуда с Шумахером?...

Ум графини терялся в догадках и предположениях. В конце концов, чтобы выеснить себе эти тайны, она решилась лично отправиться в Мункгольм, побуждаемая с одной стороны женским любопытством, с другой — ненавистью к врагам.

Однажды вечером, когда Этель находилась одна в саду крепости и в шестой раз принималась чертить алмазом своего перстня какие-то таинственные буквы на черном столбе у входа, на пороге которого в последний раз видела она своего Орденера, дверь отворилась.

Молодая девушка вздрогнула. В первый раз еще отворялась эта дверь, с тех пор как она захлопнулась за Орденером.

Бледная, высокая женщина, одетая в белое платье, стояла перед Этелью, с сладостной, как отравленный мед, улыбкой, с кротким, доброжелательным взглядом, в котором сверкало по временам выражение ненависти, досады и невольного удивления.

Этель смотрела на нее с изумлением, граничащим с страхом. После смерти ее старой кормилицы, скончавшейся на ее руках, это была первая женщина, которую видела она в мрачных стенах Мункгольмской крепости.

— Дитя мое, — нежно спросила незнакомка, — вы дочь мункгольмского узника?

Этель невольно отвернулась. Незнакомка не внушала ей доверие, ей казалось, что даже дыхание этого нежного голоса было отравлено ядом.

— Меня зовут Этель Шумахер, — ответила она после минутного молчания, — отец говорил мне, что в колыбели меня называли графиней Тонгсберг и княжной Воллин.

— Ваш отец говорил вам это!.. — вскричала незнакомка с выражением, которое поспешила смягчить, добавив: — Сколько горя вытерпели вы!

— Горе постигло меня при моем рождении, — ответила молодая девушка. — Батюшка говорит, что оно не оставит меня до могилы.

Улыбка мелькнула на губах незнакомки, которая продолжала сострадательным тоном:

— И вы не ропщете на тех, кто бросил вас в эту темницу? Вы не проклинаете виновников вашего несчастия?

— Нет, наши проклятие могут накликать несчастие на тех, которые заставляют нас страдать.

— А знаете ли вы, — бесстрастно продолжала незнакомка, — кто виновник ваших страданий?

После минутного раздумья Этель сказала.

— Все делается по воле Божией.

— Ваш отец никогда не говорит вам о короле?

— О короле?.. Я не знаю его, но молюсь за него каждое утро и вечер.

Этель не поняла, отчего при этом ответе незнакомка закусила себе губы.

— Ваш несчастный отец никогда не называл вам в минуту раздражение своих заклятых врагов, генерала Аренсдорфа, епископа Сполисона, канцлера Алефельда?..

— Я никогда не слыхала таких имен.

— А известно ли вам имя Левина Кнуда?

Воспоминание о сцене, происходившей два дня тому назад между Дронтгеймским губернатором и Шумахером, было еще слишком живо в уме Этели, чтобы она забыла имя Левина Кнуда.

— Левин Кнуд? — повторила она. — Мне кажется, батюшка больше всех любит и уважает этого человека.

— Как!

— Да, — продолжала молодая девушка, — этого Левина Кнуда с жаром защищал третьего дня батюшка против наветов Дронтгеймского губернатора.

При этих словах удивление незнакомки удвоилось.

— Против Дронтгеймского губернатора. Не издевайтесь надо мной, моя милая; я пришла сюда для вашей же пользы. Не может быть, чтобы отец ваш защищал генерала Левина Кнуда от наветов Дронтгеймского губернатора!

— Генерала! Мне кажется капитана Левина Кнуда... Ах, нет! Ваша правда. Мой отец, — продолжала Этель — показал столько же любви к этому генералу Левину Кнуду, сколько ненависти к Дронтгеймскому губернатору.

«Вот еще странная тайна!» — подумала бледная высокая женщина, любопытство которой росло с каждой минутой.

— Милое дитя, что же произошло между вашим отцом и Дронтгеймским губернатором?

Эти вопросы утомили бедную девушку, и она пристально посмотрела на незнакомку.

— Разве я преступница, что вы допрашиваете меня таким образом?

Этот простой вопрос по-видимому смутил незнакомку, которая почувствовала, что коварство изменило ей. Тем не менее она продолжала слегка обиженным тоном.

— Вы бы не сказали мне этого, если бы знали, для чего и для кого пришла я сюда...

— Как! — вскричала Этель, — Вы от него? Вы принесли мне весточку от...

Вся кровь бросилась ей в лицо; сердце ее сильно забилось в груди, волнуемой нетерпением и беспокойством.

— От кого? — спросила незнакомка.

Молодая девушка не решилась произнести имя своего возлюбленного. В глазах незнакомки приметила она блеск мрачной, как бы адской радости и сказала печально.

— Так вы его не знаете!

Выражение обманутого ожидание второй раз появилось на ласковом лице посетительницы.

— Бедная девушка! Чем могу я помочь вам?

Этель не слушала ее. Мысли увлекли ее в северные горы за отважным путешественником. Голова ее поникла на грудь, руки невольно скрестились.

— Надеется ли ваш батюшка выйти когда-нибудь из этой тюрьмы?

Она дважды повторила этот вопрос, пока Этель вышла из задумчивости.

— Да, — ответила она.

Слезы навернулись на ее глазах.

Глаза незнакомки сверкнули при этом ответе.

— Надеется, говорите вы! Как?.. Каким образом?.. Когда?..

— Он надеется, что смерть освободит его из тюрьмы.

Иной раз простота юной невинной души оказывается настолько могущественной, что разрушает хитросплетение заматерелого в коварстве сердца. Мысль эта должно быть пришла на ум незнакомки, которая вдруг изменилась в лице и, положив свою холодную руку на плечо Этели, сказала почти чистосердечно:

— Послушайте, знаете ли вы, что жизни вашего отца грозит новая опасность? Что его подозревают как подстрекателя в мятеже северных рудокопов?

Этель не поняла этого вопроса и с удивлением устремила свои большие черные глаза на незнакомку.

— Что вы хотите сказать?

— Я говорю, что ваш отец составил заговор против правительства; что его виновность почти дознана, что его преступление влечет за собою смертную казнь...

— Смертную казнь! Преступление!.. — вскричала несчастная девушка.

— Преступление и смертная казнь, — торжественно повторила незнакомка.

— Мой отец! — вскричала Этель, — мой несчастный благородный отец, который проводит целые дни, слушая как я читаю ему Эдду и Евангелие, он заговорщик? Что он вам сделал?

— Не смотрите на меня таким образом; повторяю вам, я не из числа ваши врагов. Я только предупреждаю вас, что вашего отца подозревают в тяжком преступлении. Быть может, вместо ненависти, я скорее заслуживаю благодарности.

Этот упрек тронул Этель.

— О, сударыня, простите меня! До сих пор мы не встречали ни одного живого существа, которое бы не относилось к нам враждебно. Простите меня, если я не доверяла вам.

Незнакомка улыбнулась.

— Как, дитя мое! До сих пор вы не встречали еще ни одного дружеского существа?..

Щеки Этели вспыхнули румянцем. Одну минуту она колебалась в нерешимости.

— Да... Богу известно, что мы нашли только одного друга...

— Одного? — поспешно спросила незнакомка. — Прошу вас назовите мне его; вы не знаете как это важно... для спасения вашего батюшки... Кто этот друг?

— Не знаю, — сказала Этель.

Незнакомка побледнела.

— Вы насмехаетесь надо мной, между тем как я хочу вам помочь. Подумайте, дело идет о жизни вашего отца. Кто он? Скажите мне, кто этот друг, о котором вы мне говорили?

— Бог мне свидетель, сударыня, что я знаю только его имя: Орденер.

Этель произнесла эти слова с таким затруднением, которое испытываем мы, открывая постороннему человеку священное имя, пробуждающее в нас самые отрадные воспоминания.

— Орденер! Орденер! — с странным волнением повторила незнакомка, конвульсивно теребя белые кружева своего покрывала. — А как зовут его отца? — спросила она, запинаясь.

— Не знаю, — ответила молодая девушка. — Что мне за дело до его семьи и отца. Орденер, сударыня, самый благородный человек в мире!

Увы! Тон этих слов открыл сердечную тайну Этели.

Незнакомка приняла спокойную важную осанку и спросила, устремив на молодую девушку пристальный взгляд.

— Слышали вы о скорой свадьбе сына вице-короля с дочерью нынешнего великого канцлера, графа Алефельда?

Она принуждена была повторить свой вопрос, чтобы привлечь на него внимание Этели, мысли которой блуждали вдали.

— Кажется, слышала.

Ее спокойствие и равнодушие по-видимому донельзя поразили незнакомку.

— Ну, что же вы думаете об этом союзе?

Невозможно было приметить хотя бы малейшую перемену во взорах Этели, когда она ответила:

— По правде сказать, ничего. Дай Бог, чтобы союз их оказался счастливым.

— Но ведь граф Гульденлью и граф Алефельд, родители помолвленных, заклятые враги вашего отца.

— Все же я желаю счастия их детям, — тихо повторила Этель.

— Мне пришло в голову, — продолжала коварная незнакомка, — так как жизнь вашего отца находится в опасности, вы могли бы, по случаю предстоящего брака, просить помилование у сына вице-короля.

— Бог наградит вас за вашу добрую заботливость, сударыня. Но разве просьба моя дойдет до сына вице-короля?

Искреннее простодушие этих слов до такой степени поразило незнакомку, что та вскрикнула с изумлением.

— Как! Разве вы его не знаете?

— Этого вельможу! — удивилась Этель. — Вы забываете, что до сих пор я не делала шагу из этой крепости.

— Это правда, — пробормотала сквозь зубы незнакомка. — Что же лгал мне этот выживший из ума Левин? Очевидно, она не знает его...

— Однако, это немыслимая вещь! — продолжала она громким голосом, — Вы должны были видеть сына вице-короля, он был здесь.

— Может быть, сударыня. Но из всех, приходивших сюда я не знаю никого, кроме моего Орденера...

— Вашего Орденера!.. — перебила незнакомка и продолжала, как бы не примечая смущение Этели: — Знаете вы молодого человека с благородной открытой физиономией, с стройным станом, с важной твердой поступью? Взор его величествен и благосклонен, лицо нежное, как у молодой девушки, волосы каштановые?..

— Ах! — вскричала несчастная Этель. — Это он! Это жених мой! Мой обожаемый Орденер! Не слыхали ли вы о нем чего?.. Где вы встретились с ним?.. Не правда ли, он сказал вам, что удостоил меня своей любовью? Говорил вам, как горячо я люблю его? Увы! У несчастной узницы нет другого утешение в этом мире!.. Великодушный друг! Нет еще недели, как стоял он на этом самом месте в зеленом плаще, под которым билось его благородное сердце, с черным пером, так красиво развевавшемся над его прекрасным челом!..

Этель вдруг замолчала. Она приметила, что незнакомка дрожит, бледнеет и краснеет; и наконец услышала эти безжалостные слова.

— Несчастная! Ты любишь Орденера Гульденлью, жениха Ульрики Алефельд, сына смертельного врага твоего отца, вице-короля Норвегии.

Этель упала без чувств.

### XXXVII

— А что, старый товарищ Гульдон Стайнер, вечерний-то ветерок не на шутку хлещет по моему лицу волосьями моей шапки?

С этими словами Кеннибол, отведя на минуту взор свой от великана, шествовавшего во главе мятежников, обратился к одному из случившихся возле него горцев.

Стайнер покачал головой, и тяжело вдохнув от усталости, переложил знамя с одного плеча на другое.

— Гм!.. Я полагаю, начальник, что в этих проклятых ущельях Черного Столба, где ветер бушует как поток, нам не согреться и на раскаленных угольях.

— Надо будет развести такой костер, чтобы всполошились все старые совы на вершинах скал и в развалинах. Терпеть не могу я этих сов; в ужасную ночь, когда привиделась мне фея Убфем, она явилась передо мною в виде совы.

— Клянусь святым Сильвестром! — пробормотал Гульдон Стайнер, отворачивая голову. — Ангел ветра безжалостно бьет нас своими крыльями! По-моему, Кеннибол, следовало бы поджечь все горные ели. Прекрасное бы вышло зрелище: войско греется целым лесом!

— Избави Боже, приятель Гульдон! А дикие козы!.. Кречеты, фазаны! Жарить дичину расчудесное дело; но зачем же жечь ее!

Старый Гульдон засмеялся.

— Начальник! Ты все тот же чорт Кеннибол, волк для диких коз, медведь для волков и буйвол для медведей!

— А далеко ли до Черного Столба? — спросил кто-то из охотников.

— К ночи, товарищ, мы достигнем ущелий, — ответил Кеннибол, — теперь же приближаемся к Четырем Крестам.

На минуту водворилось молчание; только слышен был шум многочисленных шегов, завывание ветра и отдаленное пение смиазенских кузнецов.

— Дружище Гульдон Стайнер, — спросил Кеннибол, перестав насвистывать охотничью песню Роллона, — говорят, ты недавно вернулся из Дронтгейма?

— Да, начальник. Мой брат, рыбак Георг Стайнер, захворал, и я работал за него в лодке, чтобы его несчастная семья не умерла с голоду, пока он умирал от болезни.

— Так. А не случалось ли тебе, когда ты был в Дронтгейме, видеть там этого графа, узника... Шумахера... Глеффенгема... как бишь его зовут-то? Ну да того, за которого мы взбунтовались, чтобы освободиться от королевской опеки, и чей герб несешь ты на этом знамени огненного цвета?

— Да, его не легко таскать! — промолвил Гульдон. — Ты спрашиваешь об узнике Мункгольмской крепости, о графе... ну да все равно как ни зовут его. Но как же ты хочешь, начальник, чтобы я его видел? Для этого, — продолжал он, понизив голос, — необходимо иметь глаза того демона, который идет впереди вас, не оставляя, однако, за собой серного запаха, — глаза этого Гана Исландца, который видит сквозь стены, или кольцо феи Маб, которая может проникнуть даже в замочную скважину. Я убежден, что в эту минуту среди нас только один человек видел графа... узника, о котором ты спрашиваешь меня.

— Один?.. Да, правда, господин Гаккет! Но его теперь нет с нами. Он покинул нас прошлой ночью, чтобы вернуться...

— Да я не о господине Гаккете говорю тебе, начальник.

— О ком же?

— А вон об этом молодчике в зеленом плаще, с черным пером, который как с неба свалился к нам прошлой ночью...

— Ну?

— Ну, — продолжал Гульдон, приближаясь к Кенниболу, — вот он-то и знает графа... того знаменитого графа, все равно как я тебя, начальник Кеннибол.

Кеннибол взглянул на Гульдона, подмигнул ему левым глазом и ударив его по плечу, вскричал с торжеством человека, довольного своей проницательностью:

— Представь себе, я это подозревал!

— Да, начальник, — продолжал Гульдон Стайнер, снова перекладывая огненного цвета знамя с одного плеча на другое, — могу уверить тебя, что этот зеленый молодчик видел графа... как бишь его зовут-то? Ну того, за которого мы будем драться... в самой Мункгольмской крепости, и по-видимому, ему так же хотелось проникнуть в эту тюрьму, как нам с тобой войти в королевский парк.

— Откуда же ты это узнал, приятель?

Старый горец схватил Кеннибола за руку и с подозрительной осторожностью распахнул свой кожаный плащ.

— Погляди-ка! — сказал он ему.

— С нами крестная сила! — вскричал Кеннибол. — Блестит как настоящий алмаз!

Действительно, роскошная бриллиянтовая пряжка красовалась на грубом поясе Гульдона Стайнера.

— Да это и есть настоящий алмаз, — возразил горец, снова запахивая полы плаща, — это так же верно, как то, что от луны два дня пути до земли и что мой пояс сделан из буйволовой кожи.

Лицо Кеннибола омрачилось, выражение изумление сменилось на нем суровостью. Он потупил глаза в землю, произнеся с грозной торжественностью:

— Гульдон Стайнер, уроженец деревни Шоль-Се в Кольских горах, твой отец, Медпрат Стайнер, безупречно дожил до ста двух лет, потому что убить нечаянно королевскую лань или лося не составляет еще преступления. Гульдон Стайнер, твоей седой голове добрых пятьдесят семь лет, возраст, считающийся молодежью только у одних сов. Старый товарищ, мне хотелось бы, чтобы алмазы этой пряжки превратились в просяные зерна, если ты добыл их не таким же законным путем, каким королевский фазан получает свинцовую пулю мушкета.

Произнося это странное увещание, голос начальника горцев звучал в одно и тоже время угрозой и трогательным убеждением.

— Как верно то, что ваш начальник Кеннибол самый отважный охотник Кольских гор, — отвечал Гульдон без малейшего замешательства, — и что эти алмазы неподдельные камни, так же верно и то, что я законно владею ими.

— Полно, так ли? — возразил Кеннибол тоном, выражавшим и доверие, и сомнение.

— Клянусь Богом и моим святым патроном, дело было так, — отвечал Гульдон. — Однажды вечером — неделю тому назад — едва успел я указать дорогу к Дронтгеймскому Спладгесту землякам, которые несли труп офицера, найденный на Урхтальском берегу, — какой-то молодчик, подойдя к моей лодке, закричал мне: «В Мункгольм!» Я, начальник, не обратил было внимания: какой птице охота летать вокруг клетки? Осанка у молодого человека была гордая, величественная, сопровождал его слуга с двумя лошадьми, и вот не обращая на меня внимание, он прыгнул ко мне в лодку. Делать нечего, я взял мои весла, то есть весла моего брата, и отчалил. Когда мы приехали, молодой человек, поговорив с сержантом, должно быть начальником крепости, бросил мне — Бога беру во свидетели — вместо платы алмазную пряжку, которую я тебе показывал и которая досталась бы моему брату Георгу, а не мне, если в ту минуту, когда нанял меня путешественник, не кончил день моей работы за Георга. Вот тебе и весь сказ, Кеннибол.

— Тем лучше для тебя.

Мало-помалу от природы мрачные и суровые черты лица охотника прояснились, и смягчившимся голосом он спросил Гульдона:

— А точно ли ты уверен, старый товарищ, что это тот самый молодчик, который идет за нами в отряде Норбита.

— Уверен ли! Да я из целой тысячи узнаю лицо моего благодетеля; и в добавок тот же плащ, то же черное перо...

— Верю, верю, Гульдон.

— И, ясное дело, что он хотел видеться с знаменитым узником, потому что, если бы тут не было какой-нибудь тайны, разве стал бы он так щедро награждать перевозчика? Он и теперь неспроста пристал к нам.

— И то правда.

— Мне даже сдается, начальник, что граф-то, которого мы хотим освободить, больше доверяет этому молодому незнакомцу, чем господину Гаккету, который, правду сказать, только и умеет, что мяукать дикой кошкой.

Кеннибол выразительно кивнул головой.

— Я того же мнение, товарищ, и в этом деле скорее послушаюсь этого незнакомца, чем Гаккета. Клянусь святым Сильвестром и Олаем, товарищ Гульдон, если нами предводительствует теперь исландский демон, то этим мы более обязаны незнакомцу, чем болтливой сороке Гаккету.

— Ты так думаешь, начальник?.. — спросил Гульдон.

Кеннибол хотел было ответить, как вдруг Норбит хлопнул его по плечу.

— Кеннибол, нам изменили! Гормон Воестрем только что прибыл с юга и говорит, что весь полк стрелков выступил против нас. Шлезвигские уланы уже в Спарбо, три отряда датских драгун поджидают лошадей в Левиче. Вся дорога точно позеленела от их зеленых мундиров. Поспешим занять Сконген, не останавливаясь на ночлег. Там по крайней мере, мы можем защищаться. Гормон к тому же уверяет, что видел блеск мушкетов в кустарниках ущелья Черного Столба.

Молодой начальник был бледен и взволнован, однако взгляд и тон его голоса выражали мужественную решимость.

— Быть не может, — вскричал Кеннибол.

— К несчастию это так, — ответил Норбит.

— Но господин Гаккет...

— Изменник или трус, поверь мне, товарищ Кеннибол... Ну, где этот Гаккет?..

В эту минуту старый Джонас подошел к двум начальникам. По глубокому унынию, выражавшемуся в чертах его лица, легко можно было видеть, что ему известна уже роковая новость.

Взгляды старых товарищей Джонаса и Кеннибола встретились и оба как бы по молчаливому согласию покачали головой.

— Ну что, Джонас? — спросил Норбит.

Старый начальник Фа-Рёрских рудокопов медленно потер рукою морщинистый лоб, и тихо ответил на вопросительный взгляд старого предводителя Кольских горцев:

— Да, к несчастию все это слишком справедливо, Гормон Воестрем сам видел их.

— В таком случае, что же делать? — спросил Кеннибол.

— Что делать? — повторил Джонас.

— Полагаю, товарищ Джонас, что нам благоразумнее остановиться.

— А еще благоразумнее, брат Кеннибол, отступить.

— Остановиться! Отступить! — вскричал Норбит. — Напротив, надо идти вперед!

Оба старика холодно и удивленно взглянули на молодого человека.

— Идти вперед! — повторил Кеннибол. — А Мункгольмские стрелки?

— А Шлезвигские уланы! — подхватил Джонас.

— А Датские драгуны! — напомнил Кеннибол.

Норбит топнул ногой.

— А Королевская опека! А моя мать, умирающая от голода и холода!

— Чорт возьми эту Королевскую опеку! — вскричал рудокоп Джонас с невольной дрожью.

— Что нам за дело до нее! — возразил горец Кеннибол.

Джонас взял Кеннибола за руку.

— Эх, товарищ! Ты охотник и не знаешь как сладка эта опека нашего доброго государя Христиана IV. Да избавит нас от нее святой король Олай!

— Ищи этой защиты у своей сабли! — мрачно заметил Норбит.

— Ты за смелым словцом в карман не полезешь, товарищ Норбит, — сказал Кеннибол, — а подумай только, что будет, если мы двинемся дальше и все зеленые мундиры...

— А ты думаешь нас лучше встретят в горах? Как лисиц, бегущих от волков! Бунт и имена наши уже известны, по-моему, умирать так умирать, лучше пуля мушкета, чем петля виселицы!

Джонас одобрительно кивнул головой.

— Чорт возьми! Братьям нашим опека! Самим нам виселица! Мне кажется, Норбит прав.

— Дай руку, храбрый товарищ! — вскричал Кеннибол, обращаясь к Норбиту. — Опасность грозит нам и спереди и с тылу. Лучше прямо броситься в пропасть, чем упасть в нее навзничь.

— Так идем же! — вскричал старый Джонас, стукнув эфесом своей сабли.

Норбит с живостью пожал им руки.

— Послушайте, братья! Будьте отважны как я, я же поучусь у вас благоразумию. Пойдемте прямо на Сконген; гарнизон его слабый, мы живо справимся с ним. Теперь же, делать нечего, пройдем ущелья Черного Столба, но только в величайшей тишине. Их необходимо пройти, даже если неприятель засел там в засаду.

— Я думаю, что стрелки не дошли еще до Ордельского места перед Сконгеном... Но все равно: теперь ни гу-гу!

— Тише! — повторил Кеннибол.

— Теперь, Джонас, — шепнул Норбит, — вернемся к нашим отрядам. Завтра, Бог даст, мы будем в Дронтгейме, не смотря на всех стрелков, уланов, драгунов и зеленые мундиры южан.

Начальники разошлись. Вскоре приказание: «тише!» — пронеслось по рядам и вся банда мятежников, за минуту пред тем столь шустрая, теперь в пустоте, утопавшей в темноте ночного сумрака, превратилась в толпу немых призраков, которые бесшумно блуждают по извилистым тропинкам кладбища.

Между тем, дорога постепенно становилась все уже, как бы углубляясь в скалистой ограде, которая все круче и круче уходила к небесам. В ту минуту, когда красноватая луна выплыла из-за туч, клубившихся вокруг нее с фантастической подвижностью, Кеннибол шепнул Гульдону Стайнеру:

— Надо идти как можно тише, теперь мы вступаем в ущелья Черного Столба.

В самом деле слышался уже шум потока, который промеж гор следует за всеми извилинами дороги, а на дороге высилась огромная продолговатая гранитная пирамида Черного Столба, рисовавшаяся на сером фоне неба и снеговом покрове окружающих гор. На западе в туманной дали виднелся на горизонте Спарбский лес и длинный амфитеатр скал, шедших уступами подобно лестнице гигантов.

Мятежники, принужденные вытянуть свои колонны на узкой, стиснутой между скал дороге, безмолвно продолжали свой путь и вошли в ущелье, не засветив ни одного факела. Даже шум их шегов заглушался оглушительным ревом водопадов и завыванием бурного ветра, гнувшего столетние деревья и крутившего тучи вокруг льдистых снежных вершин.

Теряясь в мрачной глубине ущелья, мерцающее сияние лунного света не достигало металлических наконечников оружие мятежников и даже белые орлы, пролетавшие иногда над их головами, не подозревали, что такое огромное скопище людей, решилось потревожить в эту минуту их уединение.

Вдруг старый Гульдон Стайнер коснулся плеча Кеннибола прикладом своего карабина.

— Начальник! Что-то блеснуло в кустах остролиста и дрока.

— Видел, — ответил Кеннибол. — Это блеск облака в потоке.

Прошли далее.

Гульдон снова поспешно схватил руку начальника.

— Посмотри-ка, уж не мушкеты ли сверкают там в тени скал, — спросил он.

Кеннибол наклонил голову и пристально посмотрел в указанном направлении.

— Успокойся, брат Гульдон, это лунный свет играет на ледяной вершине.

Никакая опасность, по-видимому, не грозила им и отряды бунтовщиков, беззаботно проходя по извилинам ущелья, мало-помалу забыли всю критичность их положения.

После двух часов ходьбы, часто затруднительной по дороге, загроможденной упавшими деревьями и глыбами гранита, передовой отряд вошел в сосновую рощу, которой оканчивалось ущелье Черного Столба и над которой нависли почернелые мшистые скалы.

Гульдон Стайнер приблизился к Кенниболу, заявляя ему свою радость, что скоро выберутся из этого проклятого ущелья и поблагодарят святого Сильвестра, спасшего их от гибели у Черного Столба.

Кеннибол рассмеялся, утверждая, что совсем не испытывал этого бабьего страха. Большинство людей имеют обыкновение отрицать опасность, когда она уже миновала, и не веря ей, стараются выказать свою неустрашимость, которой быть может не было у них и в помине.

Между темь, внимание его привлечено было двумя круглыми огоньками, которые подобно раскаленным углям мелькали в чаще кустарника.

— Клянусь спасением моей души, — прошептал он, схватив Гульдона за руку, — вот глаза самой великолепной дикой кошки, когда-либо мяукавшей в этом кустарнике.

— Ты прав, — ответил старый Стайнер, — и если бы он не шел впереди нас, я подумал бы, что это глаза проклятого исландского демо...

— Тс! — шепнул Кеннибол и схватился за карабин.

— Ну, — продолжал он, — я не допущу, чтобы сказали, что такой славный зверь мог безнаказанно вертеться на глазах Кеннибола.

Выстрел прогремел, прежде чем Гульдон Стайнер мог тому воспрепятствовать, схватив руку неблагоразумного охотника... Не жалобный вой дикой кошки ответил на звучный раскат выстрела, но страшный рев тигра, сопровождаемый еще более страшным хохотом человека.

Не слышно было отголоска ружейного выстрела, подхваченного эхом в глубине горных ущельев. Лишь только свет выстрела блеснул в ночной темноте, лишь только роковой взрыв пороха нарушил окружающую тишину, как вдруг тысячи грозных голосов заревели в горах, в ущельях, в лесу, крик «да здравствует король!» подобно раскату грома грянул над головами мятежников, спереди, сзади, с боков; убийственный огонь опустошительных залпов, сыпавшихся со всех сторон, уничтожал и освещал ряды бунтовщиков, указывая им сквозь красные клубы дыма баталион за каждой скалой, солдата за каждым деревом.

### XXXVIII

Рано утром в тот день, когда мятежники оставили Апсиль-Корские свинцовые рудники, в Сконген вошел полк стрелков, который мы видели в пути в тридцатой главе этого правдивого повествования.

Распорядившись относительно размещение солдат, полковник Ветгайн переступал уже порог своей квартиры близ городских ворот, как вдруг почувствовал, что чья-то тяжелая рука фамильярно хлопнула его по плечу.

Обернувшись, он увидал перед собою малорослого человека, из под широкой шляпы которого, скрывавшей черты его лица, виднелась лишь густая рыжая борода. Он тщательно закутан был в серый шерстяной плащ с капюшоном, делавшим одежду его похожей на отшельническую рясу, и руки свои прятал в толстых перчатках.

— Что тебе надо, почтеннейший! — сердито спросил полковник.

— Полковник Мункгольмских стрелков, — ответил незнакомец с страшным выражением в голосе, — пойдем со мной на минуту, я имею нечто сообщить тебе.

При этом неожиданном приглашении барон Ветгайн остолбенел от удивления.

— Я имею сообщить нечто важное, — повторил человек в толстых перчатках.

Такая настойчивость заинтересовала полковника. Имея в виду брожение, которое происходило в провинции, и поручение, возложенное на него правительством, он не мог пренебрегать малейшими сведениями.

— Пойдем, — согласился он.

Малорослый пошел впереди, и выйдя из городских ворот, остановился.

— Полковник, — обратился он к барону Ветгайну, — хочешь ты одним ударом истребить всех бунтовщиков?

Полковник рассмеялся.

— Да, недурно было бы начать этим кампанию.

— Ну так поспеши сегодня же устроить засаду в ущельях Черного Столба, в двух милях от города. Банды бунтовщиков расположатся там лагерем в эту ночь. Лишь только сверкнет первый огонек, устремись на них с своими солдатами и победа твоя обеспечена.

— Спасибо, почтеннейший, за доброе известие, но откуда ты это знаешь?

— Если бы ты знал меня, полковник, ты бы скорее спросил бы как могу я этого не знать.

— Кто ж ты такой?

Незнакомец топнул ногой.

— Я не затем пришел сюда, чтобы рассказывать тебе кто я.

— Не бойся ничего. Кто бы ты не был, услуга, оказанная тобою, служит защитою. Может быть ты из числа бунтовщиков?

— Я отказался помогать им.

— В таком случае, зачем же скрывать свое имя, если ты верноподданный короля?

— Что мне за дело до короля?

Полковник надеялся добиться у этого странного вестника еще каких-нибудь сведений и спросил:

— Скажи мне, правда ли, что разбойниками предводительствует знаменитый Ган Исландец.

— Ган Исландец! — повторил малорослый, делая страшное ударение на этом слове.

Барон повторил свой вопрос. Но взрыв хохота, который можно было принять за вой дикого зверя, был ему единственным ответом.

Полковник пытался было еще разведать о численности и начальниках рудокопов, но малорослый принудил его замолчать.

— Полковник Мункгольмских стрелков, я сказал тебе все, что нужно было тебе знать. Устрой сегодня же засаду в ущельях Черного Столба со всем твоим полком, и ты уничтожишь все мятежнические отряды.

— Ты не хочешь открыть своего имени и тем лишаешь себя королевской милости; но справедливость требует, чтобы барон Ветгайн вознаградил тебя за оказанную услугу.

С этими словами полковник кинул свой кошелек к ногам малорослого.

— Сохрани для себя твое золото, полковник, — сказал тот презрительно, — я в нем не нуждаюсь. А если бы, — прибавил он, указывая на толстый мешок, висевший у его веревочного пояса, — тебе самому понадобилась награда за уничтожение этих людей, у меня найдется, полковник, достаточно золота, чтобы заплатить тебе за их кровь.

Прежде чем полковник успел прийти в себя от удивление, которым поразили его непонятные слова таинственного существа, малорослый исчез.

Барон Ветгайн медленно вернулся в город, размышляя — может ли он положиться на сведение, доставленное таким странным образом. Когда он входил в свое жилище, ему подали пакет, с печатью великого канцлера. Письмо действительно оказалось от графа Алефельда и полковник с легко понятным изумлением нашел в нем то же известие и тот же совет, который только что получил у городских ворот от таинственного незнакомца в широкой шляпе и в толстых перчатках.

### XXXIX

Нет возможности описать панику, распространившуюся в без того уже нестройных рядах бунтовщиков, когда роковое ущелье вдруг выказало им свои вершины, усеянные штыками, свои пещеры, переполненные неожиданными врагами. Оглушительный крик тысячи голосов так внезапно раздался среди пораженной ужасом толпы, что трудно было различить крик ли это отчаяние, испуга или бешенства.

Убийственная пальба отовсюду выступавших взводов королевских войск усиливалась с каждой минутой и прежде чем бунтовщики успели сделать первый залп после гибельного выстрела Кеннибола, густое облако огненного дыма окружило их со всех сторон, поражая градом шальных пуль. Каждый видел только себя, с трудом различая в отдалении стрелков, драгунов и уланов, смешавшихся на вершинах скал и опушке леса подобно злым духам в пекле.

Отряды бунтовщиков растянулись на целую милю по узкой извилистой дороге, к которой с одной стороны примыкал глубокий поток, а с другой скалистая стена, и не могли быстро сплотиться, напоминая собою разрубленную на части змею, еще живые звенья которой долго извиваются в пене, пытаясь соединиться.

Когда прошла первая минута замешательства, единодушное отчаяние воодушевило этих от природы свирепых и неустрашимых людей. Видя себя беззащитными, безжалостно истребляемые, они пришли в страшную ярость, испустив вопль, заглушивший торжествующие крики неприятеля. Солдаты, отлично вооруженные, размещенные в стройном порядке и в безопасности, и не терявшие ни одного товарища, с ужасом взирали как их враги, не имевшие предводителя, почти безоружные, беспорядочно лезли под опустошительным огнем залпов на острые утесы, руками и зубами цепляясь за терновник, нависший над пропастью, грозя молотами и железными вилами.

Многие из этих освирепевших людей влезали по грудам мертвых тел, по плечам товарищей, образовавших на скалистой стене живую лестницу, до самых вершин, занятых неприятелем. Но лишь только успевали они вскрикнуть: «Да здравствует свобода!» — поднять топор или суковатую дубину, лишь только показывали свое почерневшее от дыму и искаженное от ярости лицо, как в ту же минуту были свергаемы в бездну и при падении своем увлекали за собой отважных товарищей, повисших на кусте или уцепившихся за выступ скалы.

Все попытки бунтовщиков к бегству или обороне оставались тщетными. Все выходы из ущелья были заняты, все доступные места густо усеяны солдатами. Многие из злосчастных бунтовщиков, сломав на гранитном утесе топор или нож, умирали, грызя песчаную дорогу. Другие, скрестив руки на груди, потупив взор в землю, садились на камни у края дороги и в молчаливой неподвижности ожидали, когда шальная пуля низвергнет их в поток.

Те из них, которых предусмотрительный Гаккет снабдил негодным оружием, сделали на удачу несколько выстрелов в вершину скал и в отверстие пещер, откуда сыпался на них непрерывный град пуль. Смутный шум, в котором можно было различить яростные крики начальников бунтовщиков и спокойная команда офицеров, сливался то и дело с громом перемежающейся и учащенной пальбы, между темь как кровавый пар поднимался, расстилаясь над местом кровопролитной схватки и отбрасывая на вершины скал дрожащий свет. Пенящийся поток, как враг, мчался среди неприятельских отрядов, унося с собой свою кровавую добычу.

В начале схватки, или вернее сказать кровопролитной резни самый сильный урон понесли Кольские горцы, бывшие под начальством храброго, но неосторожного Кеннибола. Читатель помнит, что они составляли авангард бунтовщиков и вошли уже в сосновую рощу, которою оканчивалось ущелье Черного Столба.

Лишь только неосмотрительный Кеннибол сделал выстрел из мушкета, как роща, словно по волшебству оживившись от неприятельского огня, замкнула их в огненный круг. С высоты эспланады, расположенной под нависшими скалами, целый баталион мункгольмского полка, выстроившись углом, стал осыпать их пулями.

В эту ужасную критическую минуту, Кеннибол растерялся и взглянул на таинственного великана, ожидая спасение только от сверхъестественной силы Гана Исландца. Однако этот страшный демон не развертывал своих огромных крыльев, не взлетал над сражающимися, изрыгая гром и молнию на королевских стрелков, не вырастал разом до облаков, не опрокидывал гор на нападающих, не топал ногой по земле, пробивая пропасти под ногами баталионов засевших в засаду. Этот грозный Ган Исландец попятился, подобно ему, при первом залпе мушкетов и, почти растерявшись, приблизился к нему, прося карабина и говоря самым обыкновенным голосом, что в такую минуту его топор бесполезнее веретена старой бабы.

Изумленный, но не совсем еще разочарованный Кеннибол отдал великану свой мушкет с ужасом, вытеснившим на минуту страх перед сыпавшимися вокруг него пулями. Все еще надеясь на чудо, он ожидал, что его роковое оружие вырастет в руках Гана Исландца в пушку или превратится в крылатого дракона, извергающего пламя из глаз, пасти и ноздрей. Ничего подобного не случилось, и удивление бедного охотника перешло всякие границы, когда он приметил, что демон заряжает карабин обыкновенным порохом и свинцом так же, как и он, подобно ему прицеливается и стреляет даже хуже его.

Вне себя от изумление и разочарование Кеннибол долго смотрел на эти заурядные приемы, и убедившись наконец, что ему нечего рассчитывать на чудо, стал раздумывать каким бы человеческим способом выручить себя и товарищей из-затруднительного положения. Уже его старый бедный товарищ Гульдон Стайнер, весь израненный, пал рядом с ним; уже все горцы, потерявшие присутствие духа, видя, что бегство отрезано, теснимые со всех сторон, не думали защищаться и с плачевными воплями бросились друг к другу.

Кеннибол вдруг приметил, что толпа его товарищей служила верной мишенью для неприятеля, который с каждым залпом вырывал из их рядов человек по двадцати. Тотчас же приказал он горцам кинуться в рассыпную, в лес, росший по краям дороги, которая здесь была гораздо шире чем в ущельях Черного Столба, спрятаться под хворостом и меткими выстрелами отвечать на все более и более опустошительный огонь баталионов. Горцы, занимавшиеся преимущественно охотой, а потому по большей части отлично вооруженные, исполнили приказание предводителя с точностью, какой быть может не выказали бы в минуту менее критическую. Люди вообще теряют голову, стоя лицом к лицу с опасностью и беспрекословно повинуются тому, кто выдается в их среде своим хладнокровием и присутствием духа.

Однако эта благоразумная мера не могла доставить не только победы, но даже спасения. Уже большая часть горцев была истреблена, многие же из оставшихся в живых, не смотря на пример и ободрение предводителя и великана, опершись на бесполезные мушкеты или распростершись близ раненых товарищей, упрямо решились умереть, не пытаясь даже защищаться.

Быть может удивятся, что эти люди, привыкшие ежедневно рисковать жизнью, перескакивая в погони за диким зверем с одной ледяной вершины на другую, так скоро утратили всякое мужество. Но пусть не заблуждаются: храбрость в обыкновенных сердцах — чувство условное. Можно смеяться под градом картечи и трусить в темноте или на краю пропасти; можно каждый день гоняться за диким зверем, перепрыгивать бездны и удариться в бегство при пушечном выстреле. Зачастую бывает, что неустрашимость есть результат привычки и, перестав страшиться того или другого рода смерти, не перестают бояться самой смерти.

Кеннибол, окруженный грудою умирающих товарищей, сам начинал приходить в отчаяние, хотя получил лишь легкую рану в левую руку и хотя в виду его дьявольский великан с успокоительным хладнокровием то и дело разряжал свой карабин.

Вдруг он приметил, что в роковом баталионе, засевшем на вершине скалы, произошло странное замешательство, которое невозможно было приписать урону, причиняемому слабым огнем его горцев. Страшные болезненные крики, стоны умирающих, испуганные восклицание поднялись в этом победоносном отряде. Вскоре пальба прекратилась, дым рассеялся и Кеннибол мог видеть как рушились огромные глыбы гранита на мункгольмских стрелков с высоты утеса, господствовавшего над площадкой, где засел неприятель.

Эти обломки скал падали друг за другом с ужасающей быстротой; с страшным шумом разбивались один о другой и падали в толпу солдат, которые, расстроив ряды, в беспорядке бросились с высоты и бежали по всем направлениям.

При виде этой неожиданной помощи Кеннибол обернулся: великан стоял на том же месте! Горец остолбенел от изумления; потому что был уверен, что Ган Исландец взлетел наконец на вершину утеса и оттуда поражает неприятеля. Он снова взглянул на вершину, с которой сыпались массивные обломки, но ничего там не заметил. В то же время он не мог также предположить, чтобы какой-нибудь отряд бунтовщиков взобрался на эту опасную вышину, так как не видно было блеска оружие, не слышно торжествующих криков.

Между тем пальба с площадки окончательно прекратилась; лесная чаща скрыла остатки баталиона, собравшегося у подошвы утеса. Застрельщики тоже ослабили огонь и Кеннибол искусно воспользовался этой неожиданной выгодой и воодушевил своих товарищей, показав им при мрачном красноватом свете, озарявшем сцену резни, груду неприятельских тел на эспланаде среди обломков скалы, все еще падавших по временам с высоты.

Тогда горцы в свою очередь ответили торжествующими криками на болезненный вопль неприятеля, построились в колонну и хотя все еще тревожимые застрельщиками, рассеявшимися по кустам, с обновленным мужеством решились пробиться из гибельного ущелья.

Сформированная таким образом колонна готовилась уже двинуться вперед, уже Кеннибол при оглушительных криках: «Да здравствует свобода! Долой опеку!» — подал сигнал своим охотничьим рогом; — как вдруг впереди них раздался барабанный бой и звук трубы. Остатки баталиона с эспланады, пополнив свои ряды свежими силами, появились на ружейный выстрел от поворота дороги и горцы увидели перед собою щетинистый строй пик и штыков. Очутившись неожиданно в виду колонны Кеннибола, баталион остановился, а командир его, размахивая маленьким белым знаменем, направился к горцам в сопровождении трубача.

Неожиданное появление этого отряда ничуть не смутило Кеннибола. Есть минуты опасности, когда удивление и страх уже не властны над человеком. При первых звуках трубы и барабана старая лисица Кольских гор остановила своих товарищей. В ту минуту, когда батальон развернул в стройном порядке свой фронт, Кеннибол приказал зарядить карабины и расположил своих горцев по два в ряд, чтобы уменьшить тем губительное действие неприятельского огня. Сам же он стал во главе рядом с великаном, с которым в пылу резни начал уже обращаться почти дружески, приметив, что глаза его совсем не пылали как горн в кузнице, а пресловутые ногти ничуть не длиннее обыкновенных человеческих ногтей.

Увидев командира королевских стрелков, приближавшегося по-видимому для переговоров о сдаче, и не слыша более пальбы застрельщиков, хотя голоса их все еще слышались в лесу, Кеннибол приостановил пока приготовление к обороне.

Между тем, офицер с белым знаменем, пройдя половину расстояние между обоими отрядами, остановился и сопровождавший его трубач трижды затрубил в рог. Тогда офицер закричал громким голосом, так чтобы горцы могли расслышать его, не смотря на возраставший шум битвы, которая все еще продолжалась в горных ущельях:

— Именем короля объявляю прощение тем мятежникам, которые положат оружие и выдадут зачинщиков правосудию его величества!

Лишь только парламентер умолк, как из-за соседнего куста прогремел выстрел. Раненый офицер зашатался, сделал несколько шагов вперед, поднял знамя и упал с криком: «Измена...!»

Никто не знал чья рука направила этот роковой выстрел...

— Измена! Предательство! — повторил батальон стрелков, вне себя от ярости.

Страшный залп ружей грянул в горцев.

— Измена! — подхватили в свою очередь горцы, освирепевшие при виде падавших от пуль товарищей.

Общая перестрелка завязалась в ответ на неожиданный залп королевских стрелков.

— Вперед, ребята! Смерть подлым изменникам, смерть! — кричали офицеры стрелкового баталиона.

— Бей изменников! — подхватили горцы.

Противники устремились друг на друга с обнаженными саблями, два отряда с оглушительным стуком оружие и криками сошлись почти на трупе злополучного офицера.

Ряды их, врезавшись один в другой, смешались. Предводители бунтовщиков, королевские офицеры, солдаты, горцы, все без разбора сталкивались, схватывались, теснили друг друга, как две стаи голодных тигров, встретившихся в пустыне. Длинные копья, штыки, бердыши оказались бесполезными; одни лишь сабли и топоры сверкали над головами и многие из сражавшихся, очутившись лицом к лицу могли пустить в ход только кинжал или зубы.

И стрелков, и горцев наравне охватило бешенство и негодование; крики «измена! мщение!» слились в общем гуле. Схватка достигла такого ожесточение, что всякий предпочитал смерть неведомого врага своей собственной жизни и равнодушно ступал по грудам раненых и мертвых, среди которых умирающий собирал свои последние силы, чтобы укусить врага, попиравшего его ногами.

В эту минуту малорослый человек, которого многие из сражавшихся, ослепленные дымом и кровавыми парами, приняли сперва за дикое животное, судя по одежде из звериных кож, с страшным хохотом и радостным воем кинулся в средину кровопролитной схватки.

Никто не знал, откуда он явился, чью сторону держал, и его каменный топор, не разбирая жертв, с одинаковой силой дробил череп мятежника и распарывал живот солдата. Однако, казалось, что он предпочтительно истреблял мункгольмских стрелков. Все расступались перед ним; как злой дух носился он в схватке и его окровавленный топор беспрерывно вращался вокруг него, разбрасывая во все стороны клочки мяса, оторванные члены, раздробленные кости. Подобно прочим он тоже кричал: «Мщение!», бормотал странные слова, между которыми то и дело повторялось имя Жилль. Этот грозный незнакомец чувствовал себя в пылу резни как на празднестве.

Какой-то горец, на котором остановился его убийственный взгляд, упал к ногам великана, обманувшего все надежды Кеннибола, крича:

— Ган Исландец, спаси меня!

— Ган Исландец! — повторил малорослый.

Он приблизился к великану.

— Так это ты Ган Исландец? — спросил он.

Великан вместо ответа замахнулся своим железным топором. Малорослый отступил, и лезвие, пролетев, раскроило череп несчастного, взывавшего к великану о помощи.

Незнакомец захохотал.

— О! о! Клянусь Ингольфом! Я считал Гана Исландца более ловким.

— Вот как Ган Исландец спасает умоляющих его! — сказал великан.

— Ты прав. — Два грозных противника яростно ринулись друг на друга. Железный топор встретился с каменной секирой и стукнулся с такой силой, что оба лезвие разлетелись вдребезги.

Быстрее мысли обезоруженный малорослый схватил валявшуюся на земле тяжелую дубину и, увернувшись от великана, который нагнулся, чтобы схватить его руками, нанес страшный удар по лбу своего колоссального противника.

С глухим криком великан повалился на землю. С бешеной радостью торжествующий малорослый стал топтать его ногами.

— Ты носил имя не по себе, — пробормотал он, и, размахивая своей победоносной дубиной, бросился за новыми жертвами.

Великан не был мертв. Страшный удар оглушил его и без чувств поверг на землю. Когда он стал открывать глаза и сделал слабое движение, один из стрелков заметил его и бросился к нему с криком:

— Ган Исландец взят! Ура!

— Ган Исландец взят! — повторило множество голосов с различными оттенками торжества и отчаяния.

Малорослый исчез.

Уже некоторое время горцы стали слабеть, подавляемые численностью неприятеля, так как на подкрепление к мункгольмским стрелкам присоединились рассеянные по лесу застрельщики, отряды спешившихся драгунов и уланов, которые мало-помалу являлись в ущелье, где сдача главных предводителей бунта прекратила резню. Храбрый Кеннибол, раненый еще в начале схватки, был взят в плен. Взятие Гана Исландца лишило горцев последнего мужества и они положили оружие.

Когда первый свет утренней зари заблестел на острых ледяных высотах, еще до половины погруженных в тени, зловещая тишина царила уже в ущельях Черного Столба и лишь изредка легкий утренний ветерок доносил с собой слабые стоны. Черные тучи воронов слетались к роковому ущелью со всех сторон и пастухи, проходившие на рассвете по скалам, в испуге вернулись в свои хижины, уверяя, что видели в ущелье Черного Столба зверя в образе человеческом, который пил кровь, сидя на груде мертвых тел.

### XL

— Дитя мое, отвори это окно; стекла запотели, а мне хотелось бы поглядеть на свет Божий.

— Смотрите, батюшка; скоро наступит ночь.

— Нет, солнечные лучи еще играют на холмах, окружающих залив. Мне надо подышать вольным воздухом сквозь решетку моей тюрьмы. Как ясен небосклон!

— Батюшка, гроза собирается за горизонтом.

— Гроза, Этель! Где ты видишь?.

— Батюшка, я жду грозы, когда небосклон слишком ясен.

Старик с удивлением взглянул на молодую девушку.

— Если бы в молодости я рассуждал как ты, меня бы не было здесь.

Помолчав, он добавил спокойнее:

— Ты сказала правду, но такая опытность несвойственна твоему возрасту. Не понимаю, почему твой юный ум так походит на мою старую опытность.

Этель потупила голову, как бы смущаясь этим простым и метким замечанием. Руки ее болезненно сжались, глубокий вздох вырвался из груди.

— Дитя мое, — продолжал старик-узник, — с некоторых пор я стал примечать, что ты бледнеешь, как будто жизнь уже не греет кровь в твоих жилах. По утрам ты являешься ко мне с красными распухшими веками, с заплаканными глазами, которых не смыкала всю ночь. Вот уже несколько дней, Этель, ты упорно молчишь, твой голос не пытается отвлечь меня от мрачных дум о прошедшем. Ты сидишь подле меня печальнее меня самого, хотя на твоей душе не лежит бремя пустой суетной жизни. Печаль окружает твою молодость, но она не могла еще проникнуть в твое сердце. Утренние тучи скоро исчезнут на небе. Ты в таком теперь возрасте, когда в мечтах намечают свою будущность, как бы худо ни было настоящее. Что случилось с тобой, дитя мое? Однообразие узничества защищает тебя от неожиданных огорчений. Что сделала ты? Не может быть, чтобы ты горевала о моей участи; ты должна была привыкнуть к моему несчастию, которому пособить нельзя. Правда, в разговорах моих ты никогда не слышала надежды, но это не причина, чтобы я читал отчаяние в твоих взорах.

Суровый голос узника смягчился почти до отеческой нежности. Этель молча стояла перед ним; вдруг она отвернулась с конвульсивным движением, упала на колени и закрыла лицо руками, как бы для того, чтобы заглушить слезы и рыдание, волновавшие ей грудь.

Сердце несчастной девушки разрывалось от непосильного горя. Что сделала она этой роковой незнакомке, зачем открыла она ей тайну, разбившую все мечты ее жизни? Увы! С тех пор, как узнала она, кто был Орденер, глаза ее не смыкались ни на минуту, душа не знала минуты покоя. Ночь приносила ей одно лишь облегчение: она могла плакать свободно. Все кончено! Ей уж не принадлежал тот, к которому неслись все ее мечты, которого она в скорбях и молитвах считала своим, который в сновидениях являлся ей супругом. Тот вечер, когда Орденер так нежно сжимал ее в своих объятиях, был для нее только сном, сладким сном, повторявшимся каждую ночь.

И так любовь, которую она невольно питала к отсутствующему другу, чувство преступное для нее! Ее Орденер жених другой! Кто в состоянии выразить мучение девственного сердца, когда в него змеей вползает страшное, неведомое дотоле чувство ревности? Когда в долгие часы бессонницы, разметавшись на жарком ложе, она воображала своего Орденера в объятиях другой женщины, которая красивее, богаче и знатнее ее?

— Как глупо было, — говорила она себе, — поверить, что он пошел на смерть за меня. Орденер, сын вице-короля, сын могущественного вельможи, а я не более как бедная узница, презренная дочь изгнанника. Он свободен и ушел! Ушел, конечно, для того, чтобы жениться на прекрасной невесте, на дочери канцлера, министра, гордого графа!.. Неужели Орденер обманул меня? Боже! Кто бы мог сказать, что этот голос говорит ложь?..

Злополучная Этель заливалсь слезами и снова представлялся ей Орденер, ее обожаемый Орденер, который, во всем блеске своего сана, ведет другую к алтарю, к другой обращает улыбку, составлявшую некогда все ее счастие.

Однако, не смотря на всю глубину ее невыразимого отчаяние, ни на минуту не забыла она своей дочерней нежности. Сколько геройских усилий стоило этой слабой девушке скрыть от несчастного отца свое горе. Нет ничего мучительнее, как в печали таить свою печаль, сдерживаемые слезы несравненно горче проливаемых. Только спустя несколько дней молчаливый старик приметил перемену в своей Этели, и только нежное участие его могло наконец вызвать слезы, так давно накопившиеся в ее груди.

Несколько минут отец с горькой улыбкой смотрел на свою плачущую дочь и покачал головой.

— Этель, — спросил он наконец, — ты не жила с людьми, о чем же ты плачешь?

Лишь только произнес он эти слова, благородная, прелестная девушка поднялась, перестала плакать и отерла слезы.

— Батюшка, — сказала она с усилием, — батюшка, простите меня... Это была минута слабости.

Она взглянула на него, пытаясь улыбнуться.

Она отыскала в глубине комнаты Эдду, села у ног своего безмолвного отца и, на удачу развернув книгу, принялась читать, сдерживая волнение, дрожавшее в ее голосе. Но чтение ее было бесполезно: старик не слушал ее, сама она не понимала, что читала.

Шумахер махнул рукой.

— Довольно, перестань, дитя мое.

Этель закрыла книгу.

— Этель, — спросил Шумахер, — вспоминаешь ли ты когда Орденера?

Молодая девушка смутилась и вздрогнула.

— Да, — продолжал он, — Орденера, который отправился...

— Батюшка, — перебила Этель, — что нам за дело до него? Я разделяю ваше мнение: он отправился, чтобы никогда не возвращаться сюда.

— Не возвращаться сюда, дитя мое! Я не мог этого говорить. Не знаю, но какое-то предчувствие напротив убеждает меня, что он вернется.

— Вы этого не думали, батюшка, когда с такою недоверчивостью отзывались о нем.

— Разве я выражал к нему недоверие?

— Да, батюшка, и я разделяю ваш взгляд. Я думаю что он обманул нас.

— Обманул нас, дитя мое! Если я так думал о нем, я подражал людям, которые обвиняют, не разбирая вины... До сих пор я не знал человека преданнее Орденера.

— Но, батюшка, уверены ли вы, что под его добродушием не скрывается вероломства?

— Обыкновенно люди не лицемерят с несчастным, впавшим в немилость. Если бы Орденер не был предан мне, что могло привлечь его в эту тюрьму?

— Убеждены ли вы, — слабым голосом возразила Этель, — что, приходя сюда, он не имел другой цели?

— Но какую же? — с живостью спросил старик.

Этель молчала.

Ей невыносимо было продолжать обвинять своего возлюбленного Орденера, которого прежде она так горячо защищала пред отцом.

— Я уже не граф Гриффенфельд, — продолжал Шумахер, — я уже не великий канцлер Дании и Норвегии, не временщик, который раздает королевские милости, не всемогущий министр. Я презренный государственный преступник, изменник, политическая чума. Надо иметь много смелости, чтобы без брани и проклятий говорить обо мне с теми, которые обязаны мне своими почестями и богатством. Нужна большая преданность, чтобы перешагнуть, не будучи ни тюремщиком, ни палачом, порог этой темницы. Надо иметь много героизма, дитя мое, чтобы являться сюда, называясь моим другом... Нет, я не буду неблагодарен, подобно всем людям. Этот юноша заслужил мою признательность. Не показал ли он мне своего участие, не ободрял ли меня?...

Этель с горечью слушала эти слова, которые обрадовали бы ее несколько дней тому назад, когда этот Орденер был для нее еще моим Орденером. После минутного молчание, Шумахер продолжал торжественным тоном:

— Слушай, дитя, внимательно, я хочу поговорить с тобой о важном деле. Я чувствую, что силы медленно оставляют меня, жизнь мало-помалу гаснет; да, дитя мое, мой конец приближается.

Подавленный стон вылетел из груди Этели.

— Ради Бога, батюшка, не говорите этого! Пожалейте вашу несчастную дочь! Вы тоже хотите меня покинуть? Что станется со мною, одинокой на свете, если я лишусь вашего покровительства?

— Покровительство изгнанника! — сказал отец, поникнув головой. — Вот об этом-то я и думал, потому что твое будущее благосостояние занимает меня гораздо более, чем мои прошлогодние бедствия... Выслушай и не перебивай меня. Дитя мое, Орденер вовсе не заслуживает, чтобы ты так сурово относилась к нему, и до сих пор я не думал, чтобы ты питала к нему отвращение. Наружность его привлекательна, дышит благородством; положим, что это еще ничего не доказывает, но я принужден сознаться, что заметил в нем несколько добродетелей, хотя ему достаточно обладать человеческой душой, чтобы носить в себе зародыш всех пороков и преступлений. Нет пламени без дыму!

Старик опять остановился и, устремив на дочь свой пристальный взор, добавил:

— Предчувствуя близость своей кончины, я размышлял о нем и о тебе, Этель; и если он, как я надеюсь, возвратится, я избираю его твоим покровителем и мужем.

Этель побледнела и вздрогнула; в ту минуту, когда блаженные грезы оставили ее навсегда, отец пытался осуществить их. Горькая мысль — так я могла быть счастлива! — еще более растравила ее отчаяние. Несчастная девушка не смела вымолвить слова, опасаясь, чтобы не хлынули из глаз ее душившие ее слезы.

Отец ожидал ответа.

— Как! — сказала она, наконец, задыхающимся голосом. — Вы назначали мне его в мужья, батюшка, не зная его происхождение, его семьи, его имени?

— Не *назначал,* дитя мое, а *назначил.*

Тон старика был почти повелителен. Этель вздохнула.

— Назначил, повторяю тебе; да и что мне за дело до его происхождения? Мне не надо знать его семьи, если я знаю его самого. Подумай: это единственный якорь спасения, на который ты можешь рассчитывать. Мне кажется, что, по счастию, он не питает к тебе того отвращение, как ты выказываешь к нему.

Бедная девушка устремила свой взор к небу.

— Ты понимаешь меня, Этель; повторяю, что мне за дело до его происхождения? Очевидно, он не знатного рода, потому что родившегося во дворце не учат посещать тюрьмы. Да, дитя мое, оставь свои горделивые сетования; не забудь, что Этель Шумахер уже не княжна Воллин, не графиня Тонгсберг; ты низведена теперь ниже той ступени, откуда стал возвышаться твой отец. Будь счастлива и довольна судьбой, если этот человек, какого бы он ни был рода, примет твою руку. Даже лучше, если он не знатного происхождение, по крайней мере, дни твои не будут знать бурь, возмущавших жизнь твоего отца. Вдали от людской ненависти и злобы, в неизвестности, твоя жизнь протечет не так, как моя, потому что кончится лучше, чем началась...

Этель упала на колени перед узником.

— Батюшка!.. Сжальтесь!

Он с удивлением протянул руки.

— Что ты хочешь сказать, дитя мое?

— Ради Бога, не описывайте мне этого блаженства, оно не для меня!

— Этель, — сурово возразил старик, — не шути так целою жизнью, которая лежит пред тобой. Я отказался от руки принцессы царственной крови, принцессы Гольштейн Аугустенбургской, понимаешь ли? И понес жестокое наказание за мою гордость. Ты пренебрегаешь человеком незнатным, но честным; смотри, чтобы твою гордость не постигла такая же тяжелая кара.

— О, если бы это был человек не знатный и честный! — прошептала Этель.

Старик встал и взволнованно прошелся по комнате.

— Дитя мое, — сказал он, — тебя просит, тебе приказывает твой несчастный отец. Не заставляй меня перед смертью беспокоиться о твоей будущности. Обещай мне выйти за этого незнакомца.

— Я всегда готова повиноваться вам, батюшка, но не надейтесь на его возвращение...

— Я уже все обдумал и полагаю, судя по тону, каким Орденер произносит твое имя...

— Что он меня любит! — с горечью докончила Этель. — О, нет! Не верьте ему!

Отец возразил холодно:

— Не знаю, любит ли он тебя, как обыкновенно выражаются молодые девушки; но знаю, что он вернется.

— Оставьте эту мысль, батюшка. К тому же, быть может вы сами не захотите назвать его своим зятем, когда узнаете кто он.

— Этель, он будет им, не смотря на его имя и звание.

— Но, — возразила она, — если этот молодой человек, в котором вы видели своего утешителя, в котором хотите видеть опору вашей дочери, батюшка, что если это сын одного из ваших смертельных врагов, сын вице-короля Норвегии, графа Гульденлью?

Шумахер отшатнулся.

— Что ты сказала? Боже мой! Орденер! Этот Орденер!.. Не может быть!..

Невыразимая ненависть, вспыхнувшая в тусклых взорах старика, оледенила сердце дрожащей Этели, которая поздно раскаивалась в своих неблагоразумных словах.

Удар был нанесен. Несколько мгновений Шумахер оставался недвижим, скрестив руки на груди; все тело его вздрагивало как на раскаленных угольях, его сверкающие глаза выкатились из орбит, его взор, устремленный в каменный пол, казалось, хотел уйти в его глубину. Наконец несколько слов сорвалось с его бледных губ, и он произнес слабым голосом, как бы сквозь сон.

— Орденер!.. Да, так и есть, Орденер Гульденлью. Превосходно! И так, Шумахер, старый безумец, открывай ему свои объятие, этот честный юноша готовится поразить тебя кинжалом.

Вдруг он топнул ногой и продолжал громким голосом.

— Они подсылали ко мне все свое гнусное отродье, что бы издеваться над моим бедствием и заточением! Я уже видел одного из Алефельдов, радушно принимал Гульденлью! Чудовища! Кто бы мог думать, что этот Орденер носит такое имя и такую душу! Горе мне! Горе ему!

Он упал в кресло в изнеможении; и между тем как его стесненная грудь волновалась от глубоких вздохов, бедняжка Этель, дрожа от ужаса, плакала у его ног.

— Не плачь, дитя мое, — сказал он мрачным голосом, — встань, прижмись к моему сердцу.

Он открыл ей свои объятия.

Этель не могла объяснить себе этой нежности, проявившейся в минуту гнева, как вдруг он сказал:

— По крайней мере, дитя мое, ты была дальновиднее твоего старого отца. Тебя не обманули чарующие ядовитые глаза змеи. Позволь поблагодарить тебя за ненависть, которую ты питаешь к этому гнусному Орденеру.

Девушка вздрогнула от похвалы, столь мало заслуженной.

— Батюшка, — начала она, — успокойтесь...

— Обещай мне, — продолжал Шумахер, — всегда питать это чувство к сыну Гульденлью; поклянись мне.

— Бог запрещает клясться, батюшка...

— Поклянись, дочь моя, — повторил Шумахер с запальчивостью. — Не правда ли, сердце твое никогда не переменится к этому Орденеру Гульденлью?

Этель ответила, не задумываясь.

— Никогда.

Старик привлек ее к своей груди.

— Благодарю, дитя мое; по крайней мере ты наследуешь мою ненависть к ним, если не можешь наследовать почестей и богатства, отнятых ими. Слушай: они лишили твоего старого отца сана и знатности, взведя на эшафот, они бросили меня в темницу, подвергнув мучительной пытке, как бы для того, чтобы запятнать меня позором. Гнусные люди! Мне обязаны они могуществом, которым задавили меня! О! Да услышат меня силы небесные и земные, да будут прокляты мои враги и все их потомство!

Он помолчал минуту, затем обняв бедную, испуганную его проклятиями девушку, сказал:

— Но, Этель, моя единственная отрада и гордость, скажи мне, каким образом ты оказалась прозорливее меня? Каким образом открыла ты, что этот изменник носит самое ненавистное для меня имя, желчью вписанное в глубине моего сердца? Каким образом проведала ты эту тайну?

Она собиралась с силами, чтобы ответить, как вдруг дверь отворилась.

Какой то человек в черной одежде, с жезлом из черного дерева в руках, с стальной цепью на шее, показался на пороге двери, окруженный алебардщиками, тоже одетыми в черное.

— Что тебе нужно? — спросил узник с досадой и удивлением.

Незнакомец, не отвечая на вопрос и не смотря на Шумахера, развернул длинный пергамент с зеленой восковой печатью на шелковых шнурках и прочел громко:

— «Именем его величества, всемилостивейшего повелителя и государя нашего, короля Христиерна!

Повелеваем Шумахеру, государственному узнику королевской Мункгольмской крепости, и дочери его следовать за подателем сего указа».

Шумахер повторил свой вопрос:

— Что тебе нужно от меня?

Незнакомец невозмутимо принялся снова читать королевский указ.

— Довольно, — сказал старик.

Он встал и сделал знак изумленной и испуганной Этели идти с ним за этим мрачным конвоем.

### XLI

Настала ночь; холодный ветер завывал вокруг Проклятой Башни, и двери развалин Виглы шатались на петлях, как будто одна рука разом толкала их.

Суровые обитатели башни, палач с своей семьей, собрались у очага, разведенного посреди залы нижнего жилья. Красноватый мерцающий свет огня освещал их мрачные лица и красную одежду. В чертах детей было что то свирепое, как смех родителя, и угрюмое как взор их матери.

И дети, и Бехлия смотрели на Оругикса, по-видимому отдыхавшего на деревянной скамье; его запыленные ноги показывали, что он только что вернулся издалека.

— Слушайте, жена и дети! Не с дурными вестями пришел я к вам после двухдневной отлучки. Пусть я разучусь затягивать мертвую петлю, пусть разучусь владеть топором, если раньше месяца не сделаюсь королевским палачом. Радуйтесь, волчата, быть может, отец оставит вам в наследство копенгагенский эшафот.

— В чем дело, Николь? — спросила Бехлия.

— Радуйся и ты, старая цыганка, — продолжал Николь с грубым хохотом, — ты можешь купить себе синее стеклянное ожерелье и украсить им твою шею, похожую на горло задушенного аиста. Нашему браку скоро выйдет срок; но через месяц, увидев меня палачом обоих королевств, наверно ты не откажешься распить со мной еще кружку.

— В чем дело, в чем дело? — кричали дети, из которых старший играл с окровавленной деревянной кобылой, младший же забавлялся, ощипывая перья с живой маленькой птички, вынутой им из гнезда.

— Что случилось, детки?.. Задуши птичку, Гаспар, она пищит, словно тупая пила. К чему бесполезная жестокость. Задуши ее. Что случилось? Да ничего особенного, за исключением разве того, что дней через восемь бывший канцлер Шумахер, мункгольмский узник, с которым я уже встречался в Копенгагене, и знаменитый исландский разбойник Ган из Клипстадуры, быть может, оба разом попадут в мои лапы.

В тусклых глазах Бехлии мелькнуло выражение удивление и любопытства.

— Шумахер! Ган Исландец! Что это значит, Николь?

— А вот что. Вчера утром я встретил по дороге в Сконген на Ордальском мосту полк мункгольмских стрелков, с победоносным видом возвращавшихся в Дронтгейм. Я спросил одного из солдат, который удостоил меня ответом, должно быть не зная отчего красны мой плащ и повозка. Я узнал, что стрелки возвращаются из ущельев Черного Столба, где разбили на голову шайку разбойников, то есть возмутившихся рудокопов. Видишь ли, Бехлия, эти бунтовщики под предводительством Гана Исландца восстали за Шумахера и таким образом первого будут судить за возмущение против королевской власти, а второго за измену. Само собою разумеется, оба господина попадут или на виселицу, или на плаху. Так вот, только эти две славные казни принесут мне по меньшей мере по пятнадцати дукатов за каждую, не говоря уже о других менее важных...

— Да правда ли это! — перебила Бехлия. — Неужели Ган Исландец схвачен?

— Не смей перебивать меня, старая ворона, — закричал палач, — да, наконец-то знаменитый, неуловимый Ган Исландец взят живьем, а вместе с ним захвачены и другие предводители бунтовщиков, с которых мне придется по двенадцати экю за голову, не считая стоимости трупов. Да, он взят, говорю тебе, и чтобы вполне удовлетворить свое любопытство, узнай, что я сам видел как он шел в рядах солдат.

Жена и дети с любопытством придвинулись к Оругиксу.

— Так ты видел его?

— Цыц, волчата! Вы вопите, словно мошенник, уверяющий в своей невинности. Да, я сам видел его. Этот великан шел с руками, скрученными за спиной, с повязкой на лбу. Без сомнение, он ранен в голову, но пусть будет спокоен, я живо залечу ему эту рану.

Палач заключил свою страшную шутку выразительным жестом и продолжал:

— Следом за ним вели четырех его товарищей, тоже раненых. Всех их отправят в Дронтгейм, где будут судить вместе с бывшим великим канцлером Шумахером в присутствии главного синдика и под председательством нынешнего великого канцлера.

— А как выглядели другие пленники?

— Два старика, на одном войлочная шляпа рудокопа, на другом меховая шапка горца. Оба заметно приуныли. Из остальных пленников, один молодой рудокоп шел весело, посвистывая, другой... Помнишь ты, Бехлия, тех путников, которые дней десять тому назад, в бурную ночь нашли убежище в этой башне?..

— Как сатана помнит день своего падение, — ответила жена.

— А приметила ты между ними молодчика, сопровождавшего старого выжившего из ума ученого, в огромном парике?.. Помнишь, молодчик в широком зеленом плаще с черным пером на шляпе?

— Еще бы! Как теперь помню, он сказал мне: добрая женщина, у нас есть золото...

— Ну вот, старуха; если четвертый пленник не этот молодчик, так я обязуюсь душить одних глухих тетеревей. Правда, из-за пера, шляпы, волос и плаща я не мог хорошенько разглядеть его, да и голову то он повесил; но на нем была та же самая одежда, те же сапоги... ну, словом, я готов проглотить Сконгенскую каменную виселицу, если это не тот самый молодчик! Как тебе это нравится, Бехлия? Не забавно ли будет, если я, поддержав сперва жизнь этого незнакомца, теперь отправлю его на тот свет?

Палач захохотал зловещим смехом, потом продолжал:

— Ну, выпьем на радостях, Бехлия; налей-ка стакан того пивца, что дерет горло как напилок, за здоровье почтеннейшего Николя Оругикса, будущего королевского палача! Признаться, мне уж не хотелось идти в Нес вешать какого то мелкого воришку; однако я сообразил, что тридцатью двумя аскалонами пренебрегать не следует, что пока мне удастся снять голову благородному графу, бывшему великому канцлеру, и знаменитому исландскому демону, я ничуть не обесславлю себя, казня воров и тому подобных негодяев... Поразмыслив это, в ожидании диплома на звание королевского палача, я и спровадил на тот свет какого-то каналью из Неса. На, старуха, получай тридцать два аскалона полностью, — прибавил он, вытаскивая кожаный кошелек из дорожной котомки.

В эту минуту снаружи башни послышался троекратный звук рожка.

— Жена, — вскричал Оругикс, подымаясь с скамьи, — это полицейские главного синдика.

С этими словами он торопливо сбежал вниз.

Минуту спустя, он вернулся с большим пергаментом и поспешил сломать печать.

— Вот что прислал мне главный синдик, — сказал палач, подавая пергамент жене, — прочти-ка, ты ведь разбираешь всякую тарабарскую грамоту. Почем знать, может быть это мое повышение; да оно и понятно: судить будут великого канцлера, председательствовать будет великий канцлер, необходимо, чтобы и исполнителем приговора был королевский палач.

Жена развернула пергамент и, рассмотрев его, стала читать громким голосом, между тем как дети тупо уставились на нее глазами.

«Именем главного синдика Дронтгеймского округа, приказываем Николю Оругиксу, окружному палачу, немедленно явиться в Дронтгейм с топором, плахой и трауром».

— И все? — спросил палач раздосадованным тоном.

— Все, — ответила Бехлия.

— Окружной палач! — проворчал сквозь зубы Оругикс.

С минуту он с досадой рассматривал приказ синдика.

— Делать нечего, — сказал он наконец, — надо повиноваться, если требуют топор и траур. Позаботься, Бехлия, надо вычистить топор от ржавчины, да посмотреть, не запачкана ли драпировка. Впрочем, не к чему отчаиваться; может быть повышение ждет меня в награду за выполнение такой славной казни. Тем хуже для осужденных: они лишаются чести умереть от руки королевского палача.

### XLII

Граф Алефельд, влача широкую черную симарру из атласа, подбитого горностаем, с озабоченным видом расхаживал по комнате своей жены. На нем был полный мундир великого канцлера Дании и Норвегии, с грудью, украшенной множеством звезд и орденов, среди которых виднелись цепи королевских орденов Слона и Даннеброга. Широкий судейский парик покрывал его голову и плечи.

— Пора! Уже девять часов, суд должен открыть свои заседания; нельзя заставлять его дожидаться, потому что необходимо, чтобы приговор был произнесен ночью и приведен в исполнение не позже завтрашнего утра. Главный синдик заверил меня, что палач будет здесь до зари... Эльфегия, приказали вы приготовить мне лодку для отъезда в Мункгольм?

— Вот уж полчаса, как она ждет вас, граф, — ответила графиня, поднимаясь с кресла.

— А готовы ли мои носилки?

— Они у дверей.

— Хорошо... Так вы говорите, Эльфегия, — добавил граф, ударив себя по лбу, — что между Орденером Гульденлью и дочерью Шумахера завелась любовная интрижка?

— Слишком серьезная, уверяю вас, — возразила графиня с гневной и презрительной улыбкой.

— Кто бы мог это думать? Впрочем, я подозревал, что тут что-то неладно.

— Я тоже, — заметила графиня, — эту шутку сыграл с нами проклятый Левин.

— Старый мекленбургский плут! — пробормотал канцлер. — Ну погоди, поручу я тебя Аренсдорфу! О! Если бы только мне удалось навлечь на него гнев короля!.. Э! Да вот прекрасный случай, Эльфегия.

— Что такое?

— Вы знаете, что сегодня мы будем судить в Мункгольмском замке шестерых: Шумахера, от которого завтра в этот час надеюсь отделаться навсегда; горца великана, нашего подставного Гана Исландца, который дал клятву выдержать роль до конца в надежде, что Мусдемон, подкупивший его золотом, доставит средства к побегу... У этого Мусдемона поистине дьявольские замыслы!.. Из остальных обвиняемых трое — предводители мятежников, а четвертый какой то незнакомец, Бог весть откуда явившийся на сходку в Апсиль-Кор и захваченный нами, благодаря предусмотрительности Мусдемона. Мусдемон видит в нем шпиона Левина Кнуда, и действительно, когда его привели сюда, первым делом он спросил генерала и по-видимому сильно смутился, узнав об отсутствии мекленбуржца. Впрочем, он не хотел отвечать ни на один вопрос Мусдемона.

— Но отчего вы сами не допросили его, спросила графиня.

— Странный вопрос, Эльфегия; у меня и без того по горло хлопот с самого моего приезда. Я поручил все это дело Мусдемону, который не меньше моего заинтересован в нем. Впрочем, милая моя, этот человек сам по себе равно ничего не значит, это какой-то несчастный бродяга. Мы можем воспользоваться им, выставив его агентом Левина Кнуда, и так как он взят вместе с бунтовщиками, не трудно будет доказать преступное соумышление между Шумахером и мекленбуржцем, который если не будет отдан под суд, то по крайней мере попадет в немилость.

Графиня, по-видимому, что-то обдумывала.

— Вы правы, граф... Но эта роковая страсть барона Торвика к Этели Шумахер...

Канцлер снова хлопнул себя по лбу, но потом пожал плечами.

— Послушайте, Эльфегия, мы с вами уже немолоды, не новички в жизни, а между тем совсем не знаем людей! Когда Шумахер во второй раз будет обвинен в измене и взведен на эшафот, когда дочь его, свергнутая ниже последних подонков общества, будет запятнана на всю жизнь публичным позором отца, неужели вы думаете, что Орденер Гульденлью не распростится тотчас же с своим юношеским увлечением, которое вы, основываясь на экзальтированных словах взбалмошной девочки, величаете страстью; неужели вы думаете, что он хоть минуту станет колебаться в выборе между обесславленной дочерью преступника и знатной дочерью канцлера? Об людях, милая моя, надо судить по себе; где вы видели таких идеальных людей?

— Дай Бог, чтобы вы были правы... Однако, надеюсь вы одобрите, что я потребовала от синдика, чтобы дочь Шумахера присутствовала на процессе отца в одной ложе со мною. Мне хочется покороче узнать это создание.

— Нельзя пренебрегать ничем, что только может выяснить нам это дело, — равнодушно заметил канцлер, — но, скажите мне, известно ли, где находится теперь Орденер?

— О нем нет ни слуху, ни духу; этот достойный воспитанник старого Левина такой же странствующий рыцарь. Должно быть, он теперь в Вард-Гуте...

— Ну, наша Ульрика сумеет приковать его к месту. Однако пора, я забыл, что суд ждет моего прибытия...

Графиня остановила великого канцлера.

— Одно слово, граф. Я вчера спрашивала вас, но вы были так заняты, что не удостоили меня ответом. Где Фредерик?

— Фредерик! — печально повторил граф, закрывая лицо руками.

— Да, скажите мне, где Фредерик? Его полк вернулся в Дронтгейм без него. Поклянитесь мне, что Фредерик не участвовал в страшной резне в ущельях Черного Столба. Отчего вы изменились в лице при его имени? Я смертельно беспокоюсь о нем.

Канцлер снова принял хладнокровный вид.

— Успокойтесь, Эльфегия. Клянусь вам, его не было в ущельях Черного Столба... Притом, уже обнародован список офицеров, убитых или раненых в этой резне.

— В самом деле, — сказала графиня, успокоившись, — убито только два офицера, капитан Лори и молодой барон Рандмер, который проказничал с моим бедным Фредериком на копенгагенских балах! О! Уверяю вас, я читала и перечитывала список; но в таком случае значит он остался в Вальстроме?..

— Да, он там, — ответил граф.

— Друг мой, — сказала мать с принужденной нежной улыбкой, — сделайте для меня одну милость, прикажите вернуть Фредерика из этой отвратительной страны...

Канцлер с трудом освободился из ее объятий.

— Графиня, суд ждет меня. Прощайте, я не властен исполнить вашу просьбу.

С этими словами он поспешно вышел из комнаты.

Графиня осталась одна в мрачном раздумьи.

— Не властен! — прошептала она, — когда ему достаточно одного слова, чтобы вернуть мне моего сына! О! Недаром я считала моего мужа самым бессердечным человеком.

### XLIII

По выходе из башни Шлезвигского Льва стража разлучила испуганную Этель с отцом и по мрачным, неведомым ей коридорам привела ее в темную келью, дверь которой тотчас же затворилась за нею. Напротив двери кельи находилось решетчатое отверстие, пропускавшее мерцающий свет факелов и свечей.

Перед отверстием на скамье сидела женщина в черной одежде под густым вуалем. При входе Этели она сделала ей знак сесть рядом с ней. Изумленная девушка молча повиновалась.

Глаза ее тотчас же устремились на решетчатое отверстие и мрачная величественная картина явилась пред ними.

В глубине обширной, обитой трауром комнаты, слабо освещаемой медными светильниками, привешенными к своду, возвышалась черная трибуна в виде лошадиной подковы, занимаемая семью судьями в черной одежде. Грудь одного из них, сидевшего посредине на высоком кресле, изукрашена была брильянтовыми цепями и блестящими золотыми орденами. Судья, помещавшийся вправо от него, отличался от прочих белою перевязью и горностаевой мантиею. Это был главный синдик округа. Вправо от трибуны на эстраде под балдахином восседал старец в одежде первосвященника, влево стоял стол, заваленный бумагами, в которых рылся приземистый человек в огромном парике и длинной черной одежде со складками.

Перед судьями находилась деревянная скамья, окруженная алебардщиками, державшими факелы, свет которых, отражаясь от копий, мушкетов, и бердышей, мерцающими лучами падал на головы многочисленной толпы зрителей, теснившихся за железной решеткой, отделявшей их от трибуны.

Как бы пробудившись от сна, Этель смотрела на открывшееся перед нею зрелище, сознавая, что так или иначе она причастна тому, что происходило у ней перед глазами. Какой то тайный, внутренний голос побуждал ее напрячь все свое внимание, убеждал в близости решительного переворота в ее жизни.

Сердце молодой девушки волнуемо было двумя противоположными стремлениями; ей хотелось или сразу узнать в какой степени заинтересована она происходившим у ней на глазах, или же не знать этого никогда. В последнее время мысль, что Орденер навсегда потерян для нее, внушала ей отчаянное желание разом покончить с существованием, одним взглядом прочесть книгу своей судьбы. Вот почему, сознавая, что пробил решительный час ее жизни, она рассматривала мрачную обстановку залы не столько с отвращением, сколько с нетерпеливой, отчаянной радостью.

Наконец увидела она, что председатель поднялся с своего места и именем короля провозгласил заседание суда открытым.

Низкий человек в черной одежде стал по левую руку от трибунала и тихим, но быстрым голосом стал читать длинный доклад, в котором имя отца Этели то и дело повторялось в связи с словами заговор, бунт рудокопов, государственная измена.

Этель вспомнила в это мгновение слова роковой незнакомки, которая в крепостном саду сообщила ей, что отцу ее грозит какое то обвинение. Она вздрогнула, когда человек в черном платье кончил доклад, сделав ударение на последнем слове — смерть.

С ужасом обратилась она к женщине под вуалем, к которой, сама не зная почему, чувствовала какой-то страх:

— Где мы? Что это значит? — робко осведомилась она.

Таинственная незнакомка сделала знак, приказывавший молчать и слушать. Молодая девушка снова устремила свой взгляд на залу трибунала.

Почтенный старик в епископском одеянии поднялся между тем с своего места и Этель не проронила ни слова из его речи:

— Во имя всемогущего, милосердного Создателя, я, Памфил Элевтер, епископ королевский Дронтгеймской области, приветствую уважаемое судилище, творящее суд именем короля, нашего монарха и повелителя.

Видя в узниках, предстоящих пред судилищем, людей и христиан, не имеющих за себя ходатая, я заявляю уважаемым судьям о моем намерении предложить им мою слабую помощь в жестоком положении, в котором очутились они по воле Всевышнего.

Молю Бога, да укрепит он своей силою мою дряхлую слабость, да просветит мою глубокую слепоту.

С таким намерением я, епископ королевской епархии, решаюсь предстать перед уважаемым и праведным судилищем.

С этими словами, епископ сошел с своего первосвященнического седалища и опустился на деревянную скамью, предназначенную для обвиняемых. Одобрительный шепот пронесся в толпе зрителей.

Председатель встал и сказал сухим тоном:

— Алебардщики, наблюдайте за тишиной!.. Владыко, судилище от лица обвиняемых благодарит ваше преосвященство. Жители Дронтгеймского округа, будьте внимательны, верховное королевское судилище должно произнести безапелляционный приговор. Стражи, введите подсудимых.

Толпа зрителей стихла в ожидании и страхе; только масса голов волновалась в тени, подобно мрачным волнам бурного моря, над которым готова разразиться гроза.

Вскоре Этель услышала под собою в мрачных проходах залы глухой шум и необычайное движение; зрители заволновались от нетерпение и любопытства; раздались многочисленные шаги; заблистало оружие алебардщиков и в залу трибунала вошло шесть человек, закованных в кандалы и окруженных стражею.

Этель видела лишь первого из узников, старца с седой бородой, в черной симарре — своего отца.

Почти без чувств оперлась она на каменную баллюстраду, возвышавшуюся перед скамьей; окружающие предметы закружились у ней в глазах, ей казалось, что сердце бьется у ней в ушах. Слабым голосом она могла только прошептать:

— Боже, помоги мне!

Незнакомка наклонилась к ней, дала ей понюхать соли и темь вывела из летаргического забытья.

— Ради Бога, сударыня, — проговорила Этель, оживляясь, — скажите хоть слово, чтобы я убедилась, что не адские призраки издеваются надо мною.

Но незнакомка, не обращая внимание на ее просьбу, снова повернулась к трибуналу и бедной девушке пришлось молча последовать ее примеру.

Председатель начал медленным, торжественным голосом:

— Подсудимые, вас привели сюда для того, чтобы суд разобрал степень вашей виновности в измене, заговоре, в поднятии оружие против власти короля, нашего милостивого монарха. Обдумайте теперь же ваше положение, так как над вами тяготеет обвинение в оскорблении его величества.

В эту минуту луч света упал на лицо одного из шестерых подсудимых, на молодого человека, который стоял с головой, опущенной на грудь, и как бы нарочно скрытой под длинными кудрями ниспадающих на плечи волос.

Этель содрогнулась, холодный пот выступил на ее лбу; ей показалось, что она узнала... но нет, это была простая иллюзия; освещение залы было так слабо, люди двигались в ней подобно теням, даже с трудом можно было различить лоснящееся черного дерева распятие, возвышавшееся над креслом председателя.

Однако, молодой человек, по-видимому, был в плаще, издали казавшимся зеленым; растрепавшиеся волосы его как будто имели каштановый отлив и случайный луч, упавший на его лицо... Но нет, это немыслимо, невозможно! Это страшная иллюзия, не более.

Подсудимые сели на скамью рядом с епископом. Шумахер поместился на одном краю; между ним и молодым человеком с темно-русыми волосами находились четверо его товарищей по несчастию в грубой одежде простолюдинов. Один из них выдавался над всеми своим великанским ростом. Епископ сидел на другом краю скамьи.

Президент обратился к отцу Этели.

— Старик, — спросил он сурово, — как тебя зовут, кто ты?

Старик с достоинством поднял голову.

— Было время, — отвечал он, устремив пристальный взгляд на президента, — когда меня звали графом Гриффенфельдом и Тонгсбергом, князем Воллин и князем священной империи, кавалером королевского ордена Слона, кавалером германского ордена Золотого Руна и английского — Подвязки, первым министром, главным попечителем университетов, великим канцлером Дании и...

Председатель перебил его:

— Подсудимый, суду нет дела как тебя звали и кто ты был; суд желает знать, как тебя зовут и кто ты?

— Если так, — с живостью возразил старик, — то теперь меня зовут Иван Шумахер, мне шестьдесят девять лет и я никто иной, канцлер Алефельд, как ваш бывший благодетель.

Президент по-видимому смутился.

— Я вас узнал, граф, — добавил Шумахер, — но так как видимо вы на узнаете меня, то я решаюсь напомнить вашему сиятельству, что мы с вами старинные знакомые.

— Шумахер, — сказал председатель тоном подавленного гнева, — суду дорого время.

Старый узник перебил его:

— Мы поменялись ролями, достойный канцлер. Было время, когда я вас звал просто Алефельд, а вы величали меня вашим сиятельством.

— Подсудимый, — возразил председатель, — ты вредишь сам себе, напоминая о постигшем тебя позорном приговоре.

— Может быть этот приговор позорен для кого-нибудь, граф Алефельд, только не для меня.

Старик привстал, с ударением произнося эти слова. Председатель протянул к нему руку.

— Садись и не издевайся над судилищем и судьями, обвинившими тебя, и над королем, назначившим тебе этих судей. Вспомни, что его величество даровал тебе жизнь, и ограничься теперь своей защитой.

Шумахер в ответ пожал плечами.

— Можешь ты, — спросил председатель, — сообщить что-нибудь трибуналу касательно уголовного преступление, в котором ты обвиняешься?

Видя, что Шумахер хранит молчание, председатель повторил свой вопрос.

— Так это вы мне говорите, — сказал бывший канцлер, — я полагал, достойный граф Алефельд, что это вы разговариваете с собою. О каком преступлении спрашиваете вы меня? Разве я давал когда-нибудь другу поцелуй Иуды Искариотскаго? Разве я бросил в темницу, засудил, обесславил своего благодетеля? Ограбил того, которому всем обязан? Поистине, не знаю, господин канцлер, зачем меня привели сюда. Должно быть для того, чтобы судить о вашем искусстве рубить невинные головы. Я не удивлюсь, если вам удастся погубить меня, когда вы губите государство. Если вам достаточно было одной буквы алфавита[[38]](#footnote-38), чтобы объявить войну Швеции, то для моего смертного приговора довольно будет и запятой.

При этой горькой насмешке, человек, сидевший за столом по левую сторону трибунала, поднялся с своего места.

— Господин председатель, — начал он с глубоким поклоном, — господа судьи, прошу, чтобы воспретили говорить Ивану Шумахеру, если он не перестанет оскорбительно отзываться о его сиятельстве господине президенте уважаемого трибунала.

Епископ спокойно возразил:

— Господин секретарь, подсудимого невозможно лишить слова.

— Вы правы, почтенный епископ, — поспешно вскричал председатель, — наш долг доставить возможно большую свободу защите. Я только посоветовал бы подсудимому умерить свои выражение, если он понимает свои истинные выгоды.

Шумахер покачал головой и заметил холодным тоном:

— По-видимому, граф Алефельд теперь более уверен в своих, чем в 1677 году.

— Замолчи! — сказал председатель и сейчас же обратившись к другому обвиняемому, сидевшему рядом с Шумахером, спросил: как его зовут.

Горец колоссального телосложение с повязкой на лбу, поднялся со скамьи и ответил:

— Я Ган Исландец, родом из Клипстадура.

Ропот ужаса пронесся в толпе зрителей. Шумахер, выйдя из задумчивости, поднял голову и бросил быстрый взгляд на своего страшного соседа, от которого сторонились прочие обвиняемые.

— Ган Исландец, — спросил председатель, когда волнение поутихло, — что можешь сказать ты суду в свое оправдание?

Не менее остальных зрителей Этель была поражена присутствием знаменитого разбойника, который уже с давних пор в страшных красках рисовался в ее воображении. С боязливой жадностью устремила она свой взор на чудовищного великана, с которым быть может сражался и жертвой которого, быть может, стал ее Орденер.

Мысль об этом возбудила в уме ее самые горестные предположения; и погрузившись всецело в бездну мучительных сомнений, она едва слышала ответ Гана Исландца, в котором она видела почти убийцу своего Орденера. Она поняла только, что разбойник, отвечавший председателю на грубом наречии, объявил себя предводителем бунтовщиков.

— По собственному ли побуждению, — спросил председатель, — или по стороннему наущению принял ты начальство над мятежниками?

Разбойник отвечал:

— Нет, не по собственному.

— Кто же склонил тебя на такое преступление?

— Человек, называвшийся Гаккетом.

— Кто же этот Гаккет?

— Агент Шумахера, которого называл также графом Гриффенфельдом.

Председатель обратился к Шумахеру.

— Шумахер, известен тебе этот Гаккет?

— Вы предупредили меня, граф Алефельд, — возразил старик, — я только что хотел предложить вам этот вопрос.

— Иван Шумахер, — сказал председатель, — тебя ослепляет ненависть. Суд обратил внимание на систему твоей защиты.

Епископ поспешил вмешаться.

— Господин секретарь, — обратился он к низенькому человеку, который по-видимому отправлял обязанности актуариуса и обвинителя, — этот Гаккет находится в числе моих клиентов?

— Нет, ваше преосвященство, — ответил секретарь.

— Известно ли, что сталось с ним?

— Его не могли захватить, он скрылся.

Можно было подумать, что, говоря это, секретарь старался изменить голос:

— Мне кажется вернее будет сказать: его скрыли, — заметил Шумахер.

Епископ продолжал:

— Господин секретарь, велено ли разыскать этого Гаккета? Известны ли его приметы?

Прежде чем секретарь успел ответить, один из подсудимых поднялся со скамьи. Это был молодой рудокоп, суровое лицо которого дышало гордостью.

— Я могу вам сообщить их, — сказал он громко, — этот негодяй Гаккет, агент Шумахера, — человек малорослый с лицом открытым, как адская пасть. Да вот, господин епископ, голос его сильно смахивает на голос этого чиновника, который строчит за столом и которого ваше преосвященство, кажется, назвали секретарем. Право, если бы здесь не было так темно и если бы господин секретарь не прятал так своего лица в волосах парика, я убежден, что черты его шибко напоминают черты Гаккета.

— Наш товарищ прав, — вскричали двое подсудимых, сидевшие рядом с молодым рудокопом.

— Неужели! — пробормотал Шумахер с торжествующим видом.

Между тем секретарь не мог сдержать движение боязни или негодование, что его сравнивают с каким-то Гаккетом. Председатель, который сам заметно смутился, поспешил заявить:

— Подсудимые, не забывайте, что вы должны отвечать только на вопросы трибунала, и впредь не осмеливайтесь оскорблять должностных лиц постыдными сравнениями.

— Но, господин председатель, — возразил епископ, — вопрос шел о приметах; и если виновный Гаккет представляет некоторое сходство с господином секретарем, это обстоятельство может оказаться полезным...

Председатель перебил его:

— Ган Исландец, ты имел сношение с этим Гаккетом; скажи нам, чтобы удовлетворить его преосвященство, похож ли он в самом деле на почтенного секретаря.

— Нисколько, — отвечал великан, не колеблясь.

— Видите, господин епископ, — заметил председатель.

Епископ кивнул головой в знак согласия, и председатель обратился к следующему подсудимому с обычной формулой:

— Как тебя зовут?

— Вильфрид Кеннибол, из Кольских гор.

— Ты был в числе бунтовщиков?

— Точно так, сударь, правда дороже жизни. Меня захватили в проклятых ущельях Черного Столба. Я предводительствовал горцами.

— Кто склонил тебя к преступному возмущению?

— Видите ли, ваше сиятельство, наши товарищи рудокопы сильно жаловались на королевскую опеку, да оно и немудрено. Будь у вас самих грязная хижина да пара дрянных лисьих шкур, вы тоже захотели бы лично распоряжаться своим добром. Правительство не обращало внимание на их жалобы, вот, сударь, они и решились взбунтоваться, а нас просили прийти на помощь. Разве можно было отказать в такой малости товарищам, которые молятся тем же святым и теми же молитвами. Вот вам и весь сказ.

— Никто вас не подбивал, не ободрял, не руководил мятежом? — спросил председатель.

— Да вот, господин Гаккет беспрестанно твердил нам, что мы должны освободить графа, мункгольмского узника, посланником которого он называл себя. Мы конечно обещали ему, что нам стоило освободить лишнего человека?

— Этого графа называл он Шумахером или Гриффенфельдом?

— Называл, ваше сиятельство.

— А сам ты его никогда не видал?

— Нет, сударь, но если это тот старик, который только что наговорил вам целую кучу имен, надо признаться...

— В чем? — перебил председатель.

— Что у него славная седая борода, сударь; ничуть не хуже бороды свекра моей сестры Маас, из деревушки Сурб, который прожил на свете сто двадцать лет.

Полумрак, царивший в зале, помешал видеть разочарование президента при наивном ответе горца. Он приказал страже развернуть несколько знамен огненного цвета, лежавших близ трибуны.

— Вильфрид Кеннибол, узнаешь ты эти знамена? — спросил он.

— Да, ваше сиятельство. Они розданы были Гаккетом от имени графа Шумахера. Граф прислал также оружие рудокопам, — мы, горцы, не нуждаемся в нем, так как никогда не расстаемся с карабином и охотничьей сумкой. Вот я, сударь, тот самый, которого загнали сюда словно курицу на жаркое, я не раз из глубины наших долин стрелял старых орлов, когда они на высоте полета казались не больше жаворонка или дрозда.

— Обратите внимание, господа судьи, — заметил секретарь, — подсудимый Шумахер через Гаккета снабжал мятежников оружием и знаменами!

— Кеннибол, — продолжал председатель, — имеешь ты еще что-нибудь сообщить суду?

— Нет, ваше сиятельство, исключая того, что я совсем не заслуживаю смерти. Я, как добрый брат, явился на помощь рудокопам, вот и все тут; осмелюсь также заверить вас, что хотя я и старый охотник, но никогда свинец моего карабина не касался королевской лани.

Председатель, не ответив на этот оправдательный довод, перешел к допросу товарищей Кеннибола. Это были предводители рудокопов. Старший, называвшийся Джонасом, почти слово в слово повторил признание Кеннибола. Другой, молодой человек, обративший внимание суда на сходство секретаря с вероломным Гаккетом, назвался Норбитом, гордо признался в своем участии в мятеже, но ни слова не упомянул ни о Гаккете, ни о Шумахере.

— Я дал клятву молчать, — говорил он, — и ничего не помню, кроме этой клятвы.

Председатель, то прося, то угрожая, допрашивал его, но упрямый юноша твердо стоял на своем решении. Впрочем он уверял, что бунтовал совсем не за Шумахера, но единственно для того, чтобы спасти свою старуху мать от голода и холода. Не отрицая того, что, быть может, он и заслуживает смертной казни, он утверждал, однако, что было бы несправедливо осудить его, так как убивая его, убьют в то же время его несчастную, ни в чем неповинную мать.

Когда Норбит замолчал, секретарь резюмировал вкратце преступление каждого подсудимого и в особенности Шумахера. Он прочел некоторые из мятежнических воззваний на знаменах и вывел виновность бывшего великого канцлера из единогласных показаний его соучастников, не преминув обратить внимание суда на упорное запирательство молодого Норбита, связанного фанатической клятвой.

— Теперь, — добавил он в заключение, — остается допросить последнего подсудимого, и мы имеем серьезные основание считать его тайным агентом власти, которая так плохо заботилась о спокойствии Дронтгеймского округа. Власть эта дозволила если не своим преступным потворством, то по меньшей мере своим роковым небрежением, вспыхнуть мятежу, который погубит этих несчастных и снова взведет Шумахера на эшафот, от которого уже раз избавило его великодушное милосердие короля.

Этель, от мучительных опасений за Орденера перешедшая к не менее тяжким опасениям за отца, задрожала при этих зловещих словах и залилась слезами, когда Шумахер поднялся со скамьи и спокойно возразил:

— Я удивляюсь вам, канцлер Алефельд. Должно быть, вы уже заранее позаботились и о палаче.

Несчастная девушка думала, что чаша горечи переполнилась для нее, но ошиблась.

Шестой подсудимый встал в свою очередь. Гордо и величаво откинув назад волосы, закрывавшие его лицо, он ответил на обращенный к нему вопрос председателя твердым голосом:

— Я Орденер Гульденлью, барон Торвик, кавалер ордена Даннеброга.

Секретарь не мог сдержать крика изумления:

— Сын вице-короля!

— Сын вице-короля! — повторила толпа зрителей, подобно тысяче отголосков эхо.

Председатель откинулся в своем кресле; судьи, до сих пор неподвижно сидевшие за столом, в беспорядке склонились друг к другу, подобно деревьям, колеблемым противоположными порывами ветра.

В толпе зрителей смятение было еще сильнее. Народ цеплялся за каменные карнизы, за железные решетки и все говорили разом. Даже стража, забыв наблюдать за тишиной в зале, смешала свои изумленные возгласы в общем хоре нестройных голосов.

Чья душа, знакомая с внезапными душевными порывами, поймет волнение Этели? Кто в состоянии выразить эту неслыханную смесь истерзанной радости и отрадной печали? Это беспокойное ожидание, колеблющееся между страхом и надеждою?

Он стоит перед нею, не примечая ее! Она видит своего ненаглядного Орденера, Орденера, которого считала мертвым, утраченным для себя навеки, вероломным другом, но которого любила с новой, неслыханной страстью. Он здесь; да, это он. Не обманчивый сон вводит ее в заблуждение; нет, это ее Орденер, которого, увы! Она чаще видала во сне, чем на яву! Но ангелом ли хранителем, или злым духом явился он в этом торжественном собрании? Должна ли она надеяться на него, или, напротив, опасаться за него?

Тысячи предположений разом теснились в ее уме, подавляя его подобно тому как излишняя пища тушит огонь. Все мысли, все ощущение, нами описанные, мелькнули в уме ее подобно блеску молнии в ту минуту, когда сын норвежского вице-короля открыл свое имя. Она первая узнала его и, прежде чем узнали его остальные, была уже без чувств.

Во второй раз заботливость таинственной соседки вернула ее к горькой действительности. Бледнее смерти, открыла она глаза, в которых быстро иссякли слезы. Взор ее с жадностью устремился на молодого человека, сохранявшего невозмутимое спокойствие среди всеобщего смущение и замешательства. Судьи и народ мало-помалу пришли в себя, но в ушах ее все еще раздавалось имя Орденера Гульденлью.

С мучительным беспокойством приметила Этель, что одна рука его была на перевязи, на обеих висели кандалы, она приметила, что плащ его был разорван во многих местах, верной сабли не было у пояса. Ничто не укрылось от ее заботливого взора, потому что глаз любящего существа походит на глаз матери. Не имея возможности защитить его своим телом, она как бы окружила его своею душой; и, надо сказать к стыду и чести любви, там, где находился ее отец и его преследователи, одна Этель видела одного лишь человека.

Мало-помалу в зале воцарилась прежняя тишина. Председатель решился наконец приступить к допросу сына вице-короля.

— Господин барон, — начал он смущенным тоном.

— Здесь я не господин барон. — прервал его Орденер твердым голосом. — Меня зовут Орденер Гульденлью, подобно тому как граф Гриффенфельд зовется Иваном Шумахером.

Одно мгновение председатель оставался в нерешимости.

— Прекрасно, — продолжал он. — Орденер Гульденлью, очевидно, по какому-нибудь прискорбному недоразумению вас привели сюда. Мятежники захватили вас на дороге, принудили следовать за ними, и, без сомнения, благодаря этой случайности, вас встретили в их рядах.

Секретарь поднялся со своего места.

— Уважаемые судьи, одно имя сына вице-короля Норвегии служит ему достаточным оправданием. Барон Орденер Гульденлью не может быть мятежником. Наш почтенный председатель вполне удовлетворительно объяснил прискорбное нахождение его среди бунтовщиков. Единственный проступок благородного узника состоит в том, что он раньше не объявил своего имени. Мы требуем его немедленного освобождение, отказываемся обвинять его в чем бы то ни было и сожалеем, что ему пришлось сидеть на одной позорной скамье с преступным Шумахером и его соучастниками.

— Что это значит? — вскричал Орденер.

— Секретарь отказывается обвинять вас, — сказал председатель.

— Он не имеет на то права, — возразил Орденер громким, звучным голосом, — здесь я только один подсудимый, меня одного следует судить и осудить.

Он умолк на минуту, потом добавил менее твердым голосом.

— Потому что один я виновен во всем.

— Один виновен! — вскричал председатель.

— Один виновен! — повторил секретарь.

Новый взрыв изумление охватил аудиторию трибунала. Несчастная Этель задрожала от ужаса; она не думала о том, что такое признание ее возлюбленного спасает ее отца. Она видела только гибель своего Орденера.

— Алебардщики, водворите тишину! — сказал председатель, пользуясь быть может минутой замешательства, что бы собраться с мыслями и вернуть самообладание...

— Орденер Гульденлью, — продолжал он, — что вы хотите этим сказать?

Молодой человек одну минуту находился в задумчивости, потом глубоко вздохнул и заговорил спокойно, тоном человека, покорившегося своей участи.

— Да, я знаю что меня ждет позорная смерть, хотя жизнь улыбалась мне и сулила счастливую будущность. Бог прочтет в глубине моего сердца! Только один Бог! Я должен был исполнить священный долг моей жизни; я должен посвятить ему мою кровь, быть может даже честь; но уверен, что умру без угрызение и раскаяния. Не удивляйтесь моим словам, господа судьи; в душе и судьбе человека, которых вы не в состоянии постичь, судить которых будут лишь на небе. Выслушайте же меня, и поступите по долгу совести, освободив этих несчастных и в особенности злополучного Шумахера, который в своем заточении вытерпел более, чем заслуживают преступление человеческие. Да, я виновен, господа судьи, я один виновен. Шумахер ни в чем не повинен, остальные несчастные были введены в заблуждение. Виновник возмущение рудокопов я.

— Вы! — вскричали разом и с странной интонацией председатель и секретарь.

— Да, я; не перебивайте меня, господа. Я спешу кончить скорее, так как обвиняя себя, я оправдываю тем этих несчастных. Именем Шумахера я возмутил рудокопов; я роздал знамена бунтовщикам; снабдил их золотом и оружием от имени мункгольмского узника. Гаккет был моим агентом.

При имени Гаккета секретарь не мог сдержать жеста изумления. Орденер продолжал:

— Не стану истощать ваше терпение, господа. Я был взят в рядах рудокопов, которых подбил к мятежу. Все было подготовлено мною. Теперь судите меня; если я доказал свою виновность, тем самым я доказал невинность Шумахера и тех несчастных, которых вы считали его сообщниками.

Молодой человек говорил, устремив взор к небу. Этель, почти бездыханная, едва смела перевести дух; ей казалось только, что Орденер, оправдывая ее отца, с горечью произносил его имя. Хотя она не понимала слов молодого человека, они изумляли, ужасали ее. Во всем, что поражало ее чувства, ясно сознавала она близость несчастия.

Подобного рода ощущение по-видимому волновали и председателя. Можно было сказать, что он не верит своим ушам. Наконец он спросил сына вице-короля:

— Если, действительно, вы единственный виновник возмущение, какая цель руководила вами?

— Я не могу это сказать.

Этель вздрогнула с головы до ног, когда председатель спросил почти раздражительно:

— Вы были в связи с дочерью Шумахера.

Пораженный Орденер сделал шаг к трибуналу и вскричал голосом, дрожащим от негодования:

— Канцлер Алефельд, довольствуйтесь моей жизнью, которую я отдаю вам; имейте уважение к благородной непорочной девушке. Не пытайтесь вторично бесчестить ее.

Несчастная Этель, чувствуя, что вся кровь кинулась ей в лицо, не понимала значение слова «вторично», которое с ударением подчеркнул ее защитник; но гнев, исказивший черты лица председателя, ясно доказывал, что он понял.

— Орденерь Гульденлью, не забывайте, что вы находитесь перед королевским судом и его верховными служителями. Я делаю вам замечание от имени трибунала. Теперь, я опять прошу вас объяснить цель вашего преступление, в котором вы сами обвиняете себя.

— Повторяю вам, я не могу это сказать.

— Не для того ли, чтобы освободить Шумахера? — осведомился секретарь.

Орденер хранил молчание.

— Отвечайте, подсудимый Орденер, — сказал председатель, — мы имеем доказательства ваших сношений с Шумахером, и ваше сознание скорее обвиняет, чем оправдывает мункгольмского узника. Вы часто бывали в Мункгольме, и очевидно не пустое любопытство влекло вас туда. Доказательством служит эта брильянтовая пряжка.

Председатель взял со стола и показал Орденеру алмазную пряжку.

— Вам она принадлежит?

— Да. Каким образом она очутилась здесь?

— Очень просто. Один из бунтовщиков, умирая, передал ее нашему секретарю, сообщив, что получил ее от вас в виде платы за перевоз из Дронтгейма в Мункгольмскую крепость.

— Ах! — вскричал подсудимый Кеннибол. — Ваше сиятельство правы, я узнаю эту пряжку; она была у моего товарища Гульдона Стайнера.

— Молчи, — сказал председатель, — пусть отвечает Орденер Гульденлью.

— Не стану отпираться, что я хотел видеть Шумахера, — сказал Орденер, — но эта пряжка ровно ничего не доказывает. В крепость нельзя входить с драгоценными вещами; матрос, везший меня на лодке, жаловался дорогой на свою бедность, и я кинул ему эту пряжку, которую не мог иметь при себе...

— Извините, ваше сиятельство, — перебил секретарь, — это правило не распространяется на сына вице-короля. Вы могли...

— Я не хотел открывать моего звания.

— Почему же? — спросил председатель.

— Это моя тайна.

— Ваши сношение с Шумахером и его дочерью доказывают, что цель вашего заговора клонилась к их освобождению.

Шумахер, который до сих пор обнаруживал свое внимание только презрительным пожатием плеч, поднялся со скамьи.

— Освободить меня! Целью этого адского заговора было компрометировать и погубить меня, что и вышло. Неужели вы думаете, что Орденер Гульденлью признал бы свое участие в преступлении, если бы не был взят среди бунтовщиков. О! Я вижу, что он наследовал отцовскую ненависть ко мне. А что касается отношений, в которых его подозревают со мной и моей дочерью, то пусть знает, этот презренный Гульденлью, что дочь моя равным образом унаследовала ненависть мою ко всему отродью Гульденлью и Алефедьдов!

Орденер глубоко вздохнул, Этель внутренно опровергала слова отца, который опустился на скамью, все еще дрожа от гнева.

— Суд рассмотрит ваши отношения, — сказал председатель.

Орденер, слушавший Шумахера молча с потупленными глазами, как бы очнулся при словах председателя.

— Выслушайте меня, господа судьи. Вы теперь будете судить нас по совести, не забудьте же, что Орденер Гульденлью один виновен во всем; Шумахер невинен. Остальные несчастные были обмануты моим агентом Гаккетом. Все остальное было сделано мною.

Кеннибол счел долгом вмешаться.

— Их милость говорят сущую правду, господа судьи, потому что он сам взялся привести к нам знаменитого Гана Исландца, не во зло будь сказано это имя. Я знаю, что этот молодой человек осмелился лично отправиться в Вальдергогскую пещеру, чтобы предложить ему начальство над нами. Он признался мне в этом в хижине брата моего Брааля, в Сурбе. Наконец, не налгал он, и говоря, что мы были обмануты проклятым Гаккетом; так что очевидное дело: нас не за что казнить.

— Господин секретарь, — сказал председатель, — допрос кончен. Какое заключение сделаете вы из всего слышанного?

Секретарь встал, несколько раз поклонился судьям, разглаживая рукою складки своих кружевных брыжжей и не спуская глаз с председателя. Наконец он заговорил глухим, мрачным голосом.

— Господин председатель и вы, почтенные судьи! Обвинение осталось неопровергнутым. Орденер Гульденлью, навсегда омрачивший блеск своего славного имени, признав свою виновность, ничем не доказал невинности бывшего канцлера Шумахера и его соумышленников Гана Исландца, Вильфрида Кеннибола, Джонаса и Норбита. Прошу вследствие того удовлетворить правосудие, объявив всех шестерых виновными в государственной измене и оскорблении его величества.

Глухой ропот поднялся в толпе зрителей. Председатель хотел уже произнести заключительную речь, когда епископ потребовал слова.

— Уважаемые судьи, слово защиты должно быть последним. Я желал бы, чтобы обвиняемые имели лучшего ходатая, так как я стар и слаб, и только Бог поддерживает дух мой. Меня удивляют жестокие притязание секретаря. Ничто из допроса не доказало виновности клиента моего Шумахера, невозможно указать на прямое участие его в бунте рудокопов. В виду же того, что другой мой клиент Орденер Гульденлью сознался в злоупотреблении именем Шумахера, и что еще важнее, объявил себя единственным виновником преступного возмущение, то подозрение, тяготевшие на Шумахере, падают сами собой. Вы должны признать его невинность. Поручаю вашему христианскому милосердию остальных подсудимых, заблуждавшихся, подобно овцам доброго пастыря, и даже юного Орденера Гульденлью, который сознанием в вине значительно смягчил свою преступность перед создателем. Подумайте, господа судьи, он еще в том возрасте, когда человек легко заблуждается, даже падает, но Господь может еще поддержать и возвратить его на путь истины. Орденер Гульденлью несет едва четверть ноши жизненного бремени, под тяжестью которого горбится мое бренное тело. Положите на весы правосудие молодость его и неопытность и не лишайте его так рано жизни, дарованной ему Богом.

Старец умолк и опустился возле улыбающегося Орденера. По приглашению председателя судьи оставили трибуну и молча удалились в залу совещания.

Когда они решали там шесть судеб, подсудимые остались сидеть на скамье, окруженные двумя рядами аллебардщиков. Шумахер, склонив голову на грудь, казался погруженным в глубокую задумчивость; великан с глупой самоуверенностью посматривал то направо, то налево; Джонас и Кеннибол, скрестив руки на груди, тихо молились; между тем как товарищ их Норбит то по временам топал ногою, то с конвульсивной дрожью гремел цепями. Между ним и почтенным епископом, читавшим псалмы покаяния, сидел Орденер, сложив руки и устремив глаза к небу.

Позади них шумела толпа зрителей, давшая простор своим ощущениям по уходе судей. Знаменитый Мункгольмский узник, страшный исландский демон, сын вице-короля в особенности, сосредоточивали на себе мысли, речи и взоры всех присутствовавших при разбирательстве дела. Шум, в котором смешивались сетование, хохот и смутный говор, наполнял аудиторию, то возрастая, то утихая, подобно пламени, колеблемому ветром.

Прошло несколько часов ожидания, столь утомительно долгого, что каждый удивлялся продолжительности ночи. Время от времени посматривали на дверь залы совещание, но лишь два солдата, подобно молчаливым призракам, прохаживались перед нею, сверкая своими бердышами.

Наконец пламя факелов и светочей стало тускнуть, первые бледные лучи утренней зари проникали в узкие окна залы, как вдруг роковая дверь отворилась. В ту же минуту воцарилась глубокая тишина, как бы по мановению волшебства; слышалось лишь подавленное дыхание и неясное, глухое движение в толпе, замершей от ожидания.

Судьи, выйдя медленно из залы совещания, заняли места на трибуне, президент поместился во главе их.

Секретарь, погруженный в раздумье во время их отсутствия, поклонился и сказал:

— Господин председатель, какое безапелляционное решение произнес суд именем короля? Мы готовы выслушать его с благоговейным вниманием.

Судья, сидевший по правую руку председателя, встал, развертывая пергамент:

— Его сиятельство, господин председатель, утомленный продолжительным заседанием, удостоил поручить нам, главному синдику Дронтгеймского округа, обычному президенту уважаемого трибунала, прочесть вместо него приговор от имени короля. Исполняя эту печальную и почетную обязанность, приглашаем аудиторию с должным уважением выслушать непреложное решение короля.

Тут голос синдика принял торжественный, важный тон, от которого вздрогнули сердца всех:

— Именем его величества, нашего всемилостивейшего монарха, короля Христиерна, мы, судьи верховного трибунала Дронтгеймского округа, рассмотрев обстоятельства дела государственного преступника Шумахера, Кольского горца Вильфрида Кеннибола, королевских рудокопов, Джонаса и Норбита, Гана Исландца из Клипстадура и Орденера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, обвиняемых в государственной измене и оскорблении его величества, а Гана Исландца кроме того в убийствах, поджогах и грабежах, произносим по долгу совести следующий приговор:

«1-е. Иван Шумахер невинен.

2-е. Вильфрид Кеннибол, Джонас и Норбит виновны, но суд смягчает их вину в виду того, что они были введены в заблуждение.

3-е. Ган Исландец виновен во всех возводимых на него преступлениях.

4-е. Орденер Гульденлью виновен в государственной измене и оскорблении его величества».

Синдик остановился на минуту, чтобы перевести дух. Орденер устремил на него взор, полный небесной радости.

— Иван Шумахер, — продолжал синдик, — суд освобождает вас и отсылает обратно в ваше заключение.

«Кеннибол, Джонас и Норбит, суд смягчил заслуженное вами наказание, приговорив вас к пожизненному заточению и денежной пени по тысячи королевских экю с каждого.

Ган, уроженец Клипстадура, убийца и поджигатель, сегодня же вечером ты будешь отведен на Мункгольмскую площадь и там повешен.

Орденер Гульденлью, вас, как изменника, лишив сперва пред трибуналом ваших титулов, сегодня же вечером с факелом в руке отведут на ту же площадь, отрубят голову, тело сожгут, пепел развеют по ветру, а голову выставят на позор.

Теперь все должны оставить залу суда. Таков приговор, произнесенный от имени короля».

Едва главный синдик окончил свое мрачное чтение, страшный крик огласил своды залы. Этот крик сильнее смертного приговора оледенил душу присутствовавших; от этого крика помертвело дотоле спокойное, улыбающееся лицо Орденера.

### XLIV

И так, дело сделано: скоро все исполнится или лучше сказать все уже исполнилось. Он спас отца своей возлюбленной, спас ее самое, сохранив опору в родителе. Благородный замысел юноши для спасение жизни Шумахера увенчался успехом, все прочее не имеет никакого значение, остается лишь умереть.

Пусть те, кто считал его виновным или безумным, теперь судят этого великодушного Орденера, как он сам себя судит в душе с благоговейным восторгом. Он вступил в ряды мятежников с тою мыслью, что если не удастся ему воспрепятствовать преступному заговору Шумахера, то по крайней мере можно избавить его от наказание, призвав его на свою голову.

— Ах! — размышлял он сам с собою. — Очевидно Шумахер виновен; но преступление человека, измученного заточением и несчастиями, извинительно. Он хочет только свободы и пытается даже мятежом добиться ее. А что станет с моею Этелью, если у ней отнимут отца, если эшафот навсегда разлучит ее с ним, если новый позор отравит ее существование? Что станет с ней беспомощной, без поддержки, одинокой в тюрьме, или брошенной в неприязненный мир.

Эта мысль заставила Орденера решиться на самопожертвование; и он с радостью готовился к нему, потому что для любящего существа величайшее благо — посвятить жизнь — не говорю за жизнь — но за одну улыбку, за одну слезу любимого существа.

И вот он взят среди бунтовщиков, приведен к судьям, собравшимся произнести приговор над Шумахером; благородно наклеветал на себя, осужден, скоро будет жестоко и позорно казнен, оставит по себе позорную память; но все это нисколько не волнует этой благородной души. Он спас отца своей Этели.

В оковах брошен он теперь в сырую тюрьму, куда свет и воздух с трудом проникают чрез мрачные отдушины. Подле него последняя пища его жизни, черный хлеб и кружка воды. Железная цепь давит ему шею, руки и ноги изнемогают под тяжестью оков. Каждый протекший час уносит у него более жизни, чем у других целый год. Орденер погрузился в сладостную задумчивость.

— Может быть, после смерти не все забудут меня, по крайней мере, хоть одно сердце останется верно моей памяти. Быть может, она прольет слезу за мою кровь, быть может, посвятит миг скорби тому, кто пожертвовал за нее жизнью. Быть может, в девственных сновидениях хоть изредка станет посещать ее смутный образ друга. Кто знает, что ждет нас за гробом? Кто знает, быть может, души, освободившись от телесной тюрьмы, могут иногда слетать и бодрствовать над любимым существом, могут иметь таинственное общение с земными узниками и приносить им невидимо какую-нибудь ангельскую добродетель или небесную благодать.

Однако и горькие мысли примешивались к его утешительным мечтам. Ненависть, которую Шумахер выказал к нему в ту именно минуту, когда он жертвовал собою, камнем давила его сердце. Раздирающий крик, который услышал он вместе со своим смертным приговором, потряс, его до глубины души: во всей аудитории он один узнал этот голос, понял это невыразимое отчаяние. Неужели он не увидит более свою Этель? Неужели в последние минуты жизни, проводимые с нею в одной тюрьме, он не почувствует еще раз пожатие ее нежной руки, не услышит сладостного голоса той, за которую готовился умереть?

Он погрузился в ту смутную, печальную задумчивость, которая для ума тоже, что сон для тела, как вдруг хриплый визг старых ржавых запоров поразил его слух, витавший в высших сферах, ждавших его.

Скрипя на петлях, отворилась тяжелая железная дверь тюрьмы. Молодой осужденный поднялся спокойный, почти радостный, думая, что палач пришел за ним, и уже собирался расстаться с своей телесной натурой, как с плащом, который сбросил к своим ногам.

Он обернулся в своем ожидании. Подобно лучезарному видению явился на пороге тюрьмы белый призрак. Орденер не верил своим глазам, не знал, где он, на земле или уже на небе. Перед ним была она, его несравненная Этель.

Молодая девушка упала в объятие Орденера, орошала руки его слезами, отирая их длинными черными косами своих густых волос. Целуя его оковы, прижимая свои чистые уста к позорному железу, она не вымолвила ни слова, но все сердце ее вылилось бы в первом слове, которое бы произнесла она сквозь рыдания.

Орденер испытывал неизъяснимое небесное блаженство, дотоле неведомое для него. Когда он нежно прижимал к своей груди Этель, все силы земные и адские не могли бы в ту минуту разнять его объятий. Сознание близкой смерти придавало его восторженному упоению какую-то торжественность; он обнимал свою возлюбленную, как будто уже соединился с нею навеки.

Он не спрашивал, каким образом этот ангел мог проникнуть к нему. Она была с ним, мог ли он думать о чем-нибудь другом? Впрочем, это нисколько не удивляло его. Он не задавался вопросом, как слабая, одинокая, оставленная всеми девушка сумела сквозь тройные запоры, сквозь тройную стражу проникнуть из своей темницы в темницу своего возлюбленного; это казалось ему так просто, сам по себе знал он, каким могуществом обладает любовь.

Зачем разговаривать голосом, когда души без слов понимают друг друга? Почему не позволить телу молчаливо прислушиваться к таинственному языку чувств? Оба молчали, потому что есть ощущение, которые можно выразить только молча.

Наконец, молодая девушка подняла голову, склоненную до сих пор на трепещущей груди юноши.

— Орденер, — сказала она, — я пришла спасти тебя.

Однако эти отрадные слова звучали тоской и отчаянием.

Орденер улыбаясь покачал головой.

— Спасти меня, Этель! Ты заблуждаешься. Бегство немыслимо.

— Увы, я слишком хорошо это знаю. Этот замок полон солдат, каждую дверь, ведущую сюда, охраняют тюремщики и неусыпная стража. Но я принесла тебе другое средство к спасению, — добавила она с усилием.

— Полно, зачем тешить себя несбыточными надеждами? Не обманывай себя химерами, Этель, через несколько часов удар топора безжалостно разобьет их...

— Нет, Орденер, ты не умрешь! О! Не напоминай мне об этой страшной мысли, или нет! Представь мне ее во всем ужасе, чтобы подкрепить мое намерение спасти тебя, пожертвовав собой.

В голосе молодой девушки звучало какое-то странное выражение. Орденер нежно взглянул на нее.

— Пожертвовав собой! Что ты хочешь этим сказать?

Закрыв лицо руками, она зарыдала, прошептав прерывающимся голосом:

— Боже мой!..

Ее нерешимость была непродолжительна; она собралась с духом, глаза ее блестели, уста улыбались. Она была прекрасна как ангел, который возвращается из ада на небо.

— Нет, Орденер, ты не взойдешь на эшафот. Что бы спастись, тебе достаточно дать слово жениться на Ульрике Алефельд...

— На Ульрике Алефельд! И это имя слышу я от моей Этели!

— Не перебивай меня, — продолжала она с спокойствием мученика при последних истязаниях, — меня послала сюда графиня Алефельд. Тебе обещают королевское помилование, если ты согласишься принять руку дочери великого канцлера. Я пришла взять с тебя клятву, что ты женишься и будешь жить с Ульрикой. Меня послали сюда, думая, что я в состоянии убедить тебя.

— Прощай, Этель, — холодно промолвил осужденный, — когда выйдешь из этой тюрьмы, вели звать палача.

Этель поднялась и минуту смотрела на Орденера, бледная и трепещущая. Колени ее подогнулись, она упала на каменный пол, всплеснув руками.

— Что я сделала ему? — прошептала она задыхающимся голосом.

Орденер молчал, потупив глаза в землю.

— Орденер, — вскричала она, на коленях припав к нему, — что ты не отвечаешь мне? Ты не хочешь со мной говорить?.. Мне остается лишь умереть!

Слезы навернулись на глазах Орденера.

— Этель, ты не любишь меня более.

— Боже мой, — простонала несчастная девушка, обнимая его колени, — я не люблю его! Ты говоришь, что я не люблю тебя, Орденер! Ты мог это вымолвить!

— Да, ты не любишь меня, так как выражаешь свое презрение.

Он раскаялся в своих жестоких словах, когда Этель, обвив его шею руками, заговорила голосом, прерывающимся от рыданий.

— Прости меня, дорогой мой Орденер, прости меня, как я тебя прощаю. Мне презирать тебя!.. Великий Боже!.. Тебя, в котором заключается вся моя жизнь, моя слава, мое блаженство?.. Скажи, разве когда-нибудь слова мои звучали чем-нибудь иным, кроме глубокой любви, пылкого обожания?.. Ты жестоко обходишься со мной, когда я пришла спасти тебя ценой своей собственной жизни.

— Но, дорогая моя, — отвечал молодой человек, растроганный слезами Этели, которые осушал своими поцелуями, — разве ты уважаешь меня, предлагая мне покинуть Этель, сделаться клятвопреступником, пожертвовать своей любовью для того, чтобы сохранить себе жизнь. Подумай, Этель, — добавил он, пристально смотря на нее, — могу ли я пожертвовать любовью, за которую пролью сегодня свою кровь?

Этель глубоко и тяжело вздохнула.

— Выслушай меня, Орденер, и не осуждай так поспешно. Быть может я выказала более твердости, на какую вообще способна слабая женщина... Из башни виден на крепостной площади эшафот, который воздвигают для тебя. Ах, Орденер, ты не знаешь какое мучительное чувство теснит грудь при виде медленно готовящейся смерти того, кто унесет с собою нашу жизнь! Графиня Алефельд, возле которой сидела я, слушая, как произносили над тобой смертный приговор, пришла ко мне в темницу. Спросив, хочу ли я спасти тебя, она указала на это ненавистное средство. Дорогой Орденер, мне предстояло или разбить свою жизнь, отказавшись от тебя, потеряв тебя навсегда, уступив другой Орденера, в котором заключается все мое счастие, или отдать тебя на казнь. Мне предоставили на выбор мое несчастие и твою гибель: я не колебалась ни минуты.

Орденер восторженно поцеловал руку этого ангела.

— И я не колеблюсь, Этель. Ты наверно не предлагала бы сохранить свою жизнь, женившись на Ульрике Алефельд, если бы знала, что привело меня к смерти.

— Как! Что за тайна?..

— Позволь мне, дорогая моя, сохранить ее и от тебя. Я хочу умереть, оставив тебя в неведении — благословлять или ненавидеть должна ты память обо мне.

— Ты хочешь смерти! Ты ждешь смерти! Боже мой!.. И это горькая действительность... эшафот почти готов, ничто не в силах спасти моего Орденера! Послушай, дорогой мой, посмотри на твою преданную рабыню; обещай выслушать меня без гнева. Скажи мне, твоей Этели, как говорил бы перед Богом, уверен ли ты, что союз с Ульрикой Алефельд не принесет тебе счастия?.. Точно ли ты уверен в этом, Орденер?.. Быть может, даже наверно, она прекрасна, скромна, добродетельна, лучше той, за которую ты умираешь... Не отворачивай своего лица, дорогой мой; ты так благороден, так еще молод, чтобы сложить свою голову на плахе! Живя с ней в каком-нибудь пышном городе, ты забудешь об этой печальной темнице, забудешь обо мне. Я согласна, чтобы ты изгнал меня из своего сердца, даже из памяти, на все согласна. Только живи, оставь меня здесь одну, мне суждено умереть. Поверь мне, когда я узнаю, что ты в объятиях другой, тогда не будет тебе нужды беспокоиться обо мне; я недолго буду страдать.

Она замолчала, рыдание душили ей горло. Между тем ее отчаянные взоры умоляли Орденера принять жертву, от которой зависела ее жизнь.

— Довольно, Этель, — сказал Орденер, — я не хочу чтобы в эту минуту ты произносила другие имена, кроме моего и твоего.

— И так, ты хочешь умереть!..

— Так нужно. За тебя я с радостью пойду на эшафот, с ужасом и отвращением поведу другую женщину к алтарю. Ни слова более, ты огорчаешь и оскорбляешь меня.

Этель рыдала, шепча:

— Он умрет!.. Боже мой!.. Умрет позорной смертью!

Осужденный возразил, улыбаясь:

— Поверь, Этель, моя смерть не так позорна, как жизнь, которую ты мне предлагаешь.

В эту минуту взгляд его, прикованный к плачущей Этели, приметил старца в священнической одежде, который держался в тени у входной двери.

— Что вам угодно? — с досадой спросил Орденер.

— Сын мой, я пришел с посланной от графини Алефельд. Вы не приметили меня и я ждал, пока вы обратите на меня внимание.

Действительно, Орденер не видал ничего, кроме Этели, а Этель, увидев Орденера, забыла о своем спутнике.

— Я служитель церкви, назначенный... — начал старик.

— Понимаю, — прервал его Орденер, — я готов.

Священник приблизился к нему.

— Создатель готов выслушать тебя, сын мой.

— Святой отец, — сказал Орденер, — ваше лицо мне знакомо. Мы уже где-то встречались.

Священник поклонился.

— Я тоже узнаю тебя, сын мой. Мы виделись в башне Виглы. В тот день мы оба дали пример, как мало веры заслуживают слова человеческие. Ты обещал мне помилование двенадцати преступникам, а я не поверил твоему обещанию, не предполагая, что со мной говорит сын вице-короля; ты, сын мой, надеясь на свою власть и свой сан, дал мне это обещание, а между тем...

Орденер докончил мысль, которую не осмелился выразить Афанасий Мюндер:

— Я даже себе не могу исходатайствовать прощение. Вы правы, отец мой. Я слишком мало думал о будущем, и оно покарало меня, дав мне почувствовать превосходство своего могущества.

Священник потупил голову.

— Бог всемогущ, — промолвил он.

Потом с состраданием взглянув на Орденера, прибавил:

— Бог милосерд.

— Послушайте, святой отец, я хочу сдержать обещание, данное мною в башне Виглы. Когда я умру, отправьтесь в Берген к моему отцу, вице-королю Норвегии, и скажите ему, что последняя милость, которой добивался его сын, состоит в помиловании ваших двенадцати преступников. Я уверен, что он уважит это ходатайство.

Слезы умиление оросили лицо почтенного старца.

— Сын мой, душа твоя полна самых высоких стремлений, если, гордо отвергая свое помилование, ты великодушно ходатайствуешь за других. Я слышал твой отказ и, хотя порицал опасную глубину человеческой страсти, тронут был им до глубины души. Теперь я спрашиваю себя: undе sсеlus[[39]](#footnote-39)? Возможно ли, чтобы человек, подобящийся истинному праведнику, мог запятнать себя преступлением, за которое осужден?

— Отец мой, этой тайны не открыл я этому ангелу, не могу открыть и тебе. Но верьте, что не преступление повлекло за собой мое осуждение.

— Как? Объяснись, сын мой.

— Не расспрашивайте меня, — ответил молодой человек с твердостью, — позвольте мне унести с собой в могилу тайну моей смерти.

— Этот юноша не может быть преступен, — прошептал священник.

Взяв с груди черное распятие, он возложил его на глыбу гранита, грубо высеченную в виде алтаря и прислоненную к сырой стене тюрьмы. Возле распятие он поставил маленький железный светильник, который принес с собой, и раскрыл Библию.

— Молись и размышляй, сын мой. Через несколько часов я возвращусь... Идем, дитя мое, — прибавил он, обращаясь к Этели, которая молча слушала разговор Орденера с священником, — пора оставить узника. Время идет....

Этель поднялась радостная и спокойная; взоры ее блистали небесным блаженством...

— Отец мой, я не могу теперь следовать за вами. Сперва вы должны соединить на веки Этель Шумахер с ее супругом Орденером Гульденлью.

Она взглянула на Орденера.

— Если бы ты был еще могуществен, славен и свободен, дорогой мой, в слезах я удалилась бы от тебя... Но теперь, когда моя злополучная судьба не может принести тебе несчастия; когда ты, подобно мне, томишься в темнице, обесславлен, угнетен; теперь, когда ты готовишься к смерти, я осмеливаюсь надеяться, что ты удостоишь взять себе подругой смерти ту, которая не могла быть подругой твоей жизни. Не правда ли ты любишь меня, ты не станешь сомневаться ни минуты, что я умру вместе с тобой?

Осужденный упал к ее ногам, целуя подол ее платья.

— Отец мой, — продолжала она, — вы должны заступить место наших родителей. Пусть будет эта темница храмом, этот камень алтарем. Вот мое кольцо, мы на коленях пред Богом и вами. Благословите нас и святые слова Евангелие пусть соединят навеки Этель Шумахер с ее Орденером Гульденлью.

Оба преклонили колени перед священником, смотревшим на них с умилением и жалостию.

— Дети мои, о чем вы просите?

— Святой отец, — сказала молодая девушка, — время дорого. Бог и смерть ждут нас.

Иногда встречаешь силу непреодолимую, волю, которой повинуешься беспрекословно, как будто в ней есть что-то сверхъестественное. Священник со вздохом возвел глаза к небу.

— Да простит мне Господь, если слабость моя преступна! Вы любите друг друга и вам недолго еще остается любить на земле, не думаю, чтобы я преступал свою власть, узаконяя вашу любовь.

Торжественный обряд совершился. Священник дал последнее благословение брачующимся, которых соединил навеки.

Лицо осужденного оживлено было горестной отрадой; можно было сказать, что теперь только стал он чувствовать горечь смерти, изведав блаженство бытия. Черты лица его подруги дышали простотой и величием; она была скромна, как юная девственница, и почти горделива как молодая супруга.

— Слушай, дорогой мой, — сказала она, — не правда ли, нам теперь легче умирать, так как на земле мы не могли соединиться? Знаешь ли, что я сделаю?.. Я стану у окна крепости, когда поведут тебя на эшафот: наши души вместе полетят на небо. Если меня не станет, прежде чем упадет роковая секира, я буду ждать тебя; обожаемый Орденер. Мы теперь супруги, сегодня вечером могила послужит нам брачным ложем.

Он прижал ее к своей взволнованной груди и мог лишь выговорить эти слова:

— Этель, ты моя, моя навеки!

— Дети мои, — сказал священник с умилением, — вам пора проститься.

— Увы!.. — вскричала Этель.

Но самообладание не оставило ее и она бросилась к ногам осужденного.

— Прощай, мой возлюбленный, ненаглядный Орденер. Благослови меня в последний раз.

Узник исполнил эту трогательную просьбу и обернулся проститься с почтенным Афанасием Мюндером.

Старик тоже стоял перед ним на коленях.

— Что это значит, отец мой? — воскликнул Орденер с изумлением.

Старик смотрел на него умиленным, растроганным взором.

— Я жду твоего благословение, сын мой.

— Да благословит вас Господь, да ниспошлет вам свою милость, которую вы призываете на ваших братьев, — ответил Орденер взволнованным торжественным голосом.

Вскоре последнее прости, последние поцелуи раздались под мрачными сводами темницы; вскоре крепкие запоры шумно задвинулись, и железная дверь разлучила юных супругов, готовившихся умереть, чтобы встретиться в вечности.

### XLV

— Барон Ветгайн, полковник Мункгольмских стрелков, кто из солдат, сражавшихся под вашим начальством в ущельях Черного Столба, захватил в плен Гана Исландца? Назовите его трибуналу, так как ему надлежит получить тысячу королевских экю, назначенных за эту поимку.

С этими словами президент обратился к полковнику Мункгольмских стрелков. Судьи еще не разошлись, так как по древнему обычаю Норвегии, произнеся безапелляционный приговор, они не имели права оставить залу суда, прежде чем приговор не будет исполнен.

Перед трибуналом стоял великан, снова введенный в залу суда, с веревкой на шее.

Полковник, сидевший за столом секретаря, встал и поклонился суду и епископу, снова занявшему свое седалище.

— Господа судьи, Ган Исландец был взят в плен Ториком Бельфастом, вторым стрелком моего полка.

— Пусть же явится он за наградой, — сказал президент.

Молодой солдат в мундире Мункгольмских стрелков вышел из толпы.

— Ты Торик Бельфаст? — спросил президент.

— Так точно, ваше сиятельство.

— Это ты захватил в плен, Ган Исландца?

— Я, с помощью Вельзевула, ваше сиятельство.

В эту минуту на стол трибунала положен был тяжелый мешок.

— Точно ли ты уверен, что этот человек знаменитый Ган Исландец? — спросил президент, указывая на закованного в кандалы великана.

— Мне больше знакома рожица красавицы Кэтти, чем Гана Исландца. Но клянусь святым Бельфегором, если Ган Исландец существует, так наверно под видом этого гигантского демона.

— Подойди, Торик Бельфаст, — сказал президент, — вот тысяча экю, обещанных главным синдиком.

Солдат поспешно подошел к трибуне, как вдруг чей-то голос послышался в толпе:

— Мункгольмский стрелок, не ты захватил Гана Исландца.

— Клянусь всеми чертями преисподней! — вскричал солдат, обернувшись. — У меня всего достояние — трубка и минута, в которую говорю, но я обещаю десять тысяч золотых экю тому, кто, сказав это, докажет свою правоту.

Скрестив руки на груди, он самоуверенно поглядывал на толпу.

— Ну что же? Кто там говорил? Выходи.

— Я, — ответил какой-то малорослый субъект, продираясь сквозь толпу.

Он одет был в тростниковую рогожу и тюленью шкуру — костюм гренландцев — которая облегала его члены подобно конической кровли шалаша. Борода его была черна как смоль; такого же цвета густые волосы, закрывая рыжие брови, ниспадали на лицо, открытые части которого внушали отвращение. Рук его совсем не было видно.

— А! Так вот кто, — сказал солдат, покатываясь со смеху. — Ну, красавчик, кто же, по-твоему, захватил этого дьявольского великана?

Малорослый покачал головой и ответил с злобной усмешкой:

— Я!

В эту минуту барон Ветгайн узнал в нем то странное таинственное существо, которое известило его в Сконгене о приближении бунтовщиков; канцлер Алефельд — обитателя Арбарских развалин; а секретарь — оельмского поселянина, одетого в такую же рогожу и так верно указавшего ему убежища Гана Исландца. Однако они не могли сообщить друг другу своих первых впечатлений, которые вскоре были рассеяны разницею в одежде и чертах лица малорослого.

— Так это ты! — иронически заметил солдат. — Если бы не твой костюм гренландского тюленя, по глазам, которыми ты просто ешь меня, я признал бы в тебе того уродливого карлика, который хотел было придраться ко мне в Спладгесте, дней пятнадцать тому назад, когда принесли труп рудокопа Жилля Стадта...

— Жилля Стадта! — перебил малорослый, вздрогнув.

— Да, Жилля Стадта, — беспечно продолжал солдат, — отвергнутого обожателя любовницы одного из моих товарищей, за которую он, как дурак, сложил свою буйную голову.

— Не было ли тогда в Спладгесте трупа одного из офицеров твоего полка? — глухо спросил малорослый.

— Вот именно. До смерти не забуду я этого дня. Я заболтался в Спладгесте и чуть не был разжалован, вернувшись в крепость. Там был труп капитана Диспольсена...

При этом имени секретарь поднялся с своего места.

— Эти люди истощают терпение трибунала. Мы просим господина председателя прекратить это бесполезное пререкательство.

— Клянусь честью моей Кэтти, я только и жду, — вскричал Торик Бельфаст, — чтобы ваше сиятельство присудили мне тысячу экю, обещанные за голову Гана, захваченного мною в плен.

— Ты лжешь! — вскричал малорослый.

Солдат схватился за саблю.

— Счастлив ты, чучело, что мы в суде, где всякий солдат, будь он даже мункгольмским стрелком, должен стоять без оружия, как старый петух.

— Награда должна принадлежать мне, — хладнокровно возразил малорослый, — так как без меня не иметь бы вам головы Гана Исландца.

Обозлившийся солдат клялся, что именно он захватил Гана Исландца, когда тот, упав на поле битвы, стал приходить в сознание.

— Что ты врешь, — возразил солдат, — не ты, а какой-то дух в звериной шкуре сшиб его с ног.

— Это был я!

— Нет, нет!

Председатель приказал обоим замолчать и снова спросил полковника Ветгайна, точно ли Торик Бельфаст захватил в плен Гана Исландца.

Получив утвердительный ответ, объявил, что награда присуждается солдату.

— Стой! — вскричал малорослый. — Господин президент, по решению главного синдика, награда эта принадлежит лишь тому, кто доставит Гана Исландца.

— Ну так что же? — спросили судьи.

Малорослый обратился к великану.

— А то, что этот человек не Ган Исландец.

Ропот изумление пронесся в толпе зрителей. Президент и секретарь беспокойно переглянулись.

— Да, — настойчиво продолжал малорослый, — деньги не принадлежат проклятому мункгольмскому стрелку, потому что этот человек не Ган Исландец.

— Алебардщики, — приказал председатель, — выведите этого безумца, он сошел с ума.

Епископ вмешался.

— Позволю себе заметить, уважаемый господин председатель, что, отказываясь выслушать этого человека, мы можем лишить осужденного последней надежды на спасение. Я требую, напротив, чтобы очная ставка продолжалась.

— Досточтимый епископ, трибунал уважит ваше ходатайство, — ответил председатель. — Ты назвался Ганом Исландцем, — продолжал он, обратившись к великану, — подтвердишь ли ты перед смертью свое признание?

— Подтверждаю, я Ган Исландец, — отвечал подсудимый.

— Вы слышите, ваше преосвященство?

В эту минуту малорослый закричал:

— Ты лжешь, кольский горец, ты лжешь! Не носи имени, которое раздавит тебя; вспомни, что оно уже чуть-чуть тебя не погубило.

— Я Ган Исландец, родом из Клипстадура, — повторил великан, бессмысленно уставившись на секретаря.

Малорослый приблизился к мункгольмскому стрелку, который, подобно остальным зрителям, с интересом следил за ходом препирательства.

— Кольский горец, говорят, что Ган Исландец пьет человеческую кровь. Если ты, действительно, Ган, на, пей ее!

С этими словами откинув свой рогожный плащ, он вонзил кинжал в сердце стрелка и кинул его бездыханное тело к ногам великана.

Крик испуга и ужаса огласил своды залы. Стража, окружавшая великана, невольно отступила назад. Малорослый быстрее молнии кинулся на беззащитного горца и новым взмахом кинжала свалил его на труп солдата. Затем, скинув свой рогожный плащ, сорвав парик и накладную бороду, он обнажил свои жилистые члены, покрытые отвратительными отрепьями звериных шкур, и лицо, распространившее между зрителями больший ужас, чем окровавленный кинжал, страшное лезвие которого он занес над своими жертвами.

— Ну, судьи, кто из нас Ган Исландец?

— Стражи, схватите чудовище! — закричал перепуганный председатель.

Малорослый кинул свой кинжал на пол.

— Теперь он для меня бесполезен, здесь больше нет мункгольсмких стрелков.

С этими словами он без сопротивления отдался в руки алебардщиков и полицейских, которые толпились вокруг него, как будто готовясь на приступ к городу. Чудовище приковано было к скамье подсудимых, а обе жертвы, из которых одна еще дышала, были вынесены на носилках.

Невозможно описать разнообразных ощущений ужаса, изумления и негодования, которые в продолжение описанной страшной сцены волновали народ, стражу и судей. Но когда разбойник спокойно сел на роковую скамью, любопытство взяло верх над прочими ощущениями и воцарилась полная тишина.

Почтенный епископ поднялся с своего седалища.

— Господа судьи, — начал он.

Разбойник перебил его:

— Дронтгеймский епископ, я Ган Исландец, не трудитесь защищать меня.

Секретарь встал в свою очередь.

— Господин председатель...

Чудовище перебило и его:

— Секретарь, я Ган Исландец, не трудись обвинять меня.

Весь в крови, он окинул свирепым, смелым взором трибунал, стражу и толпу зрителей, и можно сказать все эти люди вздрогнули от испуга при одном взгляде этого безоружного, скованного человека.

— Слушайте, судьи, и не ждите от меня длинных рассуждений. Я Клипстадурский демон. Моя мать — старая Исландия, остров огнедышащих гор. Некогда она была только горою, но ее раздавил великан, который, падая с неба, оперся рукой на ее вершину. Мне нет нужды рассказывать вам про себя; я потомок Ингольфа Истребителя и во мне воплотился его дух. Я убивал и поджигал более, чем вы в свою жизнь произнесли несправедливых приговоров. У меня есть тайна с канцлером Алефельдом... Я с удовольствием выпил бы всю кровь, текущую в ваших жилах. Во мне врождена ненависть к людям, мое призвание всячески вредить им. Полковник Мункгольмских стрелков, это я известил тебя о проходе рудокопов через ущелье Черного Столба, уверенный, что ты перебьешь там массу народа; это я истребил целый баталион твоего полка, кидая в него обломки скал. Я мстил за моего сына... Теперь, судьи, сын мой умер, и я пришел сюда искать смерти. Дух Ингольфа тяготит меня, так как я один ношу его и, не имея наследника, мне некому передать его. Мне надоела жизнь, потому что она не может служить примером и уроком потомку. Довольно насытился я кровью; больше не хочу... А теперь я ваш, вы можете пить мою кровь.

Он замолчал и все глухо повторяли каждое из его страшных слов.

Епископ сказал ему:

— Сын мой, с каким намерением совершил ты столько преступлений?

Разбойник захохотал.

— Клянусь честью, почтенный епископ, не с тем, чтобы разбогатеть, как твой собрат епископ Борглумский[[40]](#footnote-40). Не знаю, но что-то тянуло меня к преступлению.

— Бог не всегда присутствует в служителях своих, — ответил смиренно благочестивый старец. — Ты хочешь оскорбить меня, я же хочу тебя защитить.

— Напрасно тратить время. Это скажет тебе твой другой собрат, Скальготский епископ в Исландии. Странное дело, клянусь Ингольфом, два епископа заботились обо мне, один при моем рождении, другой при казни... Епископ, ты выжил из ума.

Огорченный до глубины души епископ опустился в кресло.

— Ну, судьи, — продолжал Ган Исландец, — чего же вы ждете? Если бы я был на вашем месте, а вы на моем, я не заставил бы вас так долго ждать смертного приговора.

Суд вышел из-залы, и после короткого совещания председатель прочел громко приговор, присуждавший Гана Исландца к повешению.

— Вот так-то лучше, — сказал разбойник, — канцлер Алефельд, а знаю, что за тобой водится немало грешков, которые заслуживают не меньшей кары. Но живи себе на здоровье, так как ты вредишь людям. Ну, теперь я уверен, что не попаду в Нистгим[[41]](#footnote-41).

Секретарь приказал страже заключить Гана в башню Шлезвигского Льва, пока приготовят для него тюрьму в казармах Мункгольмских стрелков.

— В казармах Мункгольмских стрелков! — радостно проворчало чудовище.

### XLVI

Между тем до рассвета в самый час, когда в Мункгольме Орденер выслушивал свой смертный приговор, новый смотритель Дронтгеймского Спладгеста, бывший помощник Бенигнуса Спиагудри, Оглипиглап был разбужен сильными ударами, потрясавшими входную дверь здания. Он поднялся нехотя, щуря заспанные глаза, взял медный ночник и, проклиная сырость мертвецкой, пошел впустить столь раннего посетителя.

Это были рыбаки Спарбского озера, принесшие на носилках, покрытых тростником и морскими водорослями, труп, найденный ими в водах озера. Они внесли свою ношу вовнутрь мрачного здания и Оглипиглап выдал им расписку в принятии тела, по которой они могли требовать вознаграждения.

Оставшись один в Спладгесте, Оглипиглап принялся раздевать труп, замечательно длинный и сухой. Первое, что кинулось ему в глаза, когда он распахнул покров мертвеца, был громадных размеров парик.

— Вот поистине странной формы парик, который не раз уже попадается мне в руки, — думал он. — Я видел его на каком-то щеголе французе... Да вот и ботфорты несчастного почталиона Крамнера, раздавленного лошадьми, и... что за чорт?.. полный черный костюм профессора Сингремтакса, старого ученого, который не так давно бросился в воду. Кто же это явился ко мне в наряде моих бывших знакомцев?

Он осветил лицо мертвеца, но бесполезно; черты, сильно обезображенные, утратили форму и цвет. Он обшарил карманы платья и вытащил несколько старых бумаг, пропитанных водою и загрязненных тиной. Хорошенько вытерев их своим кожаным передником, он прочел следующие бессвязные, полустертые слова:

«Рудбек; Саксон Грамматик; Арнгрим епископ Голумский — В Норвегии только два графства, Ларвиг и Ярлсберг, и одно баронство... — Серебряные рудники только в Конгсберге; магнитные и асбестовые только в Сунд-Моере; аметистовые только в Гульдбрансгале; халцедонные, агатовые и яшмовые только на островах Фа-рöрских. — В Нукагиве, во время голода, мужчины пожирают своих жен и детей. — Тормадус, Торфеус; Ислейф, епископ Скальгольтский, первый исландский историк. — Меркурий играл в шашки с луною и выиграл у нее семьдесят вторую часть дня. — Мальстром, пучина. — Hirundо, hirudо. — Цицерон, горох; слава. — Ученый Фрод. — Один совещался с головой Мимера, мудрый (Магомет и его голубь, Серторий и его лань). — Чем почва... тем менее содержит она гипса...»

— Не смею верить глазам! — вскричал Оглипиглап, выронив пергамент. — Это почерк моего старого хозяина Бенигнуса Спиагудри!..

Снова осмотрев труп, он узнал его длинные руки, редкие волосы и остальные приметы несчастного.

— Да, — подумал он, качая головой, — недаром обвиняли его в святотатстве и колдовстве. Дьявол утащил его, чтобы утопить в Спарбском озере... Вот превратность человеческой судьбы! Кто бы мог подумать, что доктор Спиагудри, так долго принимавший других в этой гостинице мертвецов, со временем сам найдет в ней убежище.

Лапландский философ поднял тело, чтобы положить его на одну из шести гранитных плит, как вдруг приметил что-то тяжелое, привязанное ремнем к шее злополучного Спиагудри.

— Должно быть камень, — пробормотал он, — с которым дьявол спихнул его в озеро.

Однако он ошибся. Это был небольшой железный ящик, на котором Оглипиглап, тщательно вытерев его, приметил большую печать с гербом.

— Ну, тут кроется какая-то чертовщина, — подумал он, — этот человек был святотатец и колдун. Надо снести этот ящик к епископу, чего доброго, там сидит сам дьявол.

Уложив труп в мертвецкой, он отвязал от него ящик и поспешно пошел в епископский дворец, бормоча дорогою молитвы и заклинание против своей страшной ноши.

### XLVII

Ган Исландец и Шумахер встретились в одной темнице Шлезвигского замка. Бывший канцлер, оправданный судом, медленными шагами расхаживал по комнате, проливая горькие слезы; осужденный разбойник, окруженный стражей, хохотал в цепях.

Оба узника долго смотрели друг на друга в молчании: можно было сказать, что они узнали друг в друге врагов человечества.

— Кто ты? — спросил наконец бывший канцлер разбойника.

— Ты убежишь, услышав мое имя, — ответил тот. — Я Ган Исландец.

Шумахер приблизился к нему.

— Вот тебе моя рука, — сказал он.

— Ты хочешь, чтобы я ее съел?

— Ган Исландец, — возразил Шумахер, — я люблю тебя за твою ненависть к людям.

— Вот за то-то я и тебя ненавижу.

— Послушай, я подобно тебе ненавижу людей, потому что я делал им добро, а они платили мне злом.

— Ну, я не потому ненавижу людей; я ненавижу их за то, что они делали лишь добро, а я платил им злом.

Шумахер вздрогнул от взгляда чудовища. Он пытался переломить себя, но душа его не могла симпатизировать разбойнику.

— Да, — вскричал он, — я презираю людей за то, что они жестоки, неблагодарны, вероломны. Им обязан я всеми моими несчастиями.

— Тем лучше! Я, напротив, обязан им всем своим счастием.

— Счастием?

— Счастием ощущать мясо, трепещущее в моих зубах, теплоту дымящейся крови в моем пересохшем горле; наслаждением разбивать живое существо о выступ утеса и слышать крик жертвы, смешанный с хрустом дробимых костей. Вот удовольствие, доставляемые мне людьми.

Шумахер с ужасом отступил от чудовища, к которому подходил почти с гордостью, что подобен ему. Устыдившись, он закрыл лицо руками; глаза его наполнились слезами негодования не на род человеческий, но на самого себя. Его благородное, великодушное сердце ужаснулось ненависти, которую он так долго питал к людям, когда увидел ее, как в страшном зеркале, в сердце Гана Исландца.

— Ну, ненавистник людей, — смеясь, спросило чудовище, — осмелишься ли ты теперь хвастаться, что похож на меня?

Старик задрожал.

— Боже мой! Чем ненавидеть их, как ты, скорее я стану любить их.

Стража увела чудовище в более надежную тюрьму. Погрузившись в задумчивость, Шумахер остался один в башне, где уже не было ни одного врага человечества.

### XLVIII

Роковой час настал. В Мункгольском замке стража повсюду удвоена, перед каждой дверью молча и угрюмо прохаживаются часовые. Взволнованный город суетливо спешит к мрачным башням крепости, в которой царит необычайное волнение. На каждом дворе слышится погребальный бой барабанов, затянутых трауром. По временам из нижней башни раздаются пушечные выстрелы, тяжелый колокол крепости медленно раскачивается, издавая тяжелый, протяжный звон, а со всех концов гавани спешат к страшному утесу лодки, переполненные народом.

На крепостной площади, окруженный взводом солдат, высится обитый трауром эшафот, к которому ежеминутно прибывает и в нетерпеливом ожидании теснится толпа.

На помосте эшафота прохаживается палач в красной шерстяной одежде, то опираясь на секиру, которую держит в руках, то переворачивая плаху и плетенку помоста. Невдалеке сложен костер, близ него пылают несколько смоляных факелов. Между эшафотом и костром вбит в землю кол с надписью: «Орденер Гульденлью изменник!» С крепостной площади виднеется развевающийся над Шлезвигской башней большой черный флаг.

В эту минуту осужденный Орденер снова явился перед трибуналом, до сих пор не покидавшем залу суда. Не было только епископа, обязанности которого, как защитника, кончились.

Сын вице-короля был в черной одежде с цепью ордена Даннеброга на шее. Лицо его бледно, но величественно. Он был один, так как его повели на казнь из темницы, прежде чем успел вернуться к нему священник Афанасий Мюндер.

Внутренно Орденер уже примирился с своей судьбой. Но все же супруг Этели не без горечи помышлял о жизни и, быть может, для первой брачной ночи хотел бы избрать не такую мрачную, как ночь в могиле. В темнице он молился и мечтал, теперь стоит у предела всех молитв и мечтаний. Но твердость и мужество, внушенные ему Богом и любовью, не покидают его ни на минуту.

Толпа, менее хладнокровная, чем осужденный, глядела на него с жадным вниманием. Его высокий сан, его жестокая участь возбуждали всеобщую зависть и сожаление. Каждый хотел присутствовать при совершении казни, не стараясь выяснить себе его вину.

Страшное чувство врождено человеку, чувство, влекущее его к зрелищу смертной казни, как на празднество. С ужасающей настойчивостью пытается он уловить мысль на изменившемся лице приговоренного к смерти, как бы надеясь, что в эту торжественную минуту блеснет в глазах несчастного какое-нибудь откровение неба или ада, как бы желая увидеть тень, которую бросает от себя крыло смерти, спускающееся на человеческую голову; как бы стремясь уловить, что станется с человеком, когда покинет его последняя надежда.

Вот существо, полное сил и здоровья, оно движется, дышит, живет; но пройдет минута, и оно перестанет двигаться, дышать, жить, окруженное ему подобными существами, из которых каждое жалеет его, но ни одно не спасет. Вот злополучный, умирающий в цвете сил, под гнетом могущества естественного и силы незримой; вот жизнь, которую общество даровать не может, но которую отнимает с особенною церемонией, сильно действующей на воображение. Мы все обречены на смерть, не ведая, когда пробьет наш час; и несчастливец, точно знающий близость конца, возбуждает в нас странное и печальное любопытство.

Читатель помнит, что Орденер приговорен был еще к лишению почестей и орденов. Лишь только утихло волнение, произведенное в толпе его приходом, председатель приказал принести гербовник обоих королевств и статут ордена Даннеброга.

Затем, велев осужденному стать на одно колено и пригласив присутствовавших хранить почтительное молчание, он раскрыл статут кавалеров ордена Даннеброга и начал громким и строгим голосом:

— «Мы, Божиею милостию, Христиерн, король Дании и Норвегии, повелитель вандалов и готов, герцог Шлезвигский, Голштинский, Штормарийский и Дитмарский, граф Ольденбургский и Дельменгурстский, восстановив по предложению нашего великого канцлера, графа Гриффенфельда — (председатель так поспешно прочел это имя, что его едва можно было расслышать), — королевский орден Даннеброга, основанный славным предком нашим святым Вальдемаром.

Принимая во внимание, что почетный орден этот был учрежден в память о Даннеброгском знамени, ниспосланном небом нашему благословенному королевству,

Что, следовательно, противно было бы божественному учреждению этого ордена, если какой-либо из кавалеров его станет безнаказанно совершать преступление против чести и святых законов церкви и государства,

Повелеваем, коленопреклоняясь перед Господом, чтобы кавалер, вероломной изменой предавший душу свою демону, был после публичного позора, навсегда лишен почестей нашего королевского ордена Даннеброга».

Президент закрыл книгу.

— Орденер Гульденлью, барон Торвик, кавалер ордена Даннеброга, вы признаны виновным в государственной измене, в преступлении, за которое вам отрубят голову, тело сожгут, а пепел развеют по ветру... Орденер Гульденлью, изменник, вы недостойны считаться в числе кавалеров ордена Даннеброга, приглашаю вас смириться духом, так как сейчас, всенародно, вы будете разжалованы именем короля.

Президент протянул руку к гербовнику и уже готовился произнести роковой приговор над Орденером, спокойно и недвижимо стоявшим перед трибуналом, как вдруг распахнулась правая боковая дверь залы. Вошел церковный привратник и объявил о прибытии его преосвященства, епископа Дронтгеймского.

Старец поспешно вошел в залу, поддерживаемый другим духовным лицом.

— Остановитесь, господин председатель, — вскричал он с живостью, какой трудно было ждать при его возрасте. — Остановитесь! Благодарю Создателя, я прибыл как раз вовремя.

Присутствовавшие удвоили внимание, предчувствуя, что случилось что-нибудь важное. Председатель с досадой обратился к епископу:

— Позвольте, Ваше преосвященство, заметить, что ваше присутствие здесь теперь бесполезно. Трибунал приступает к разжалованию осужденного, который затем подвергнется смертной казни.

— Остерегитесь коснуться того, кто чист перед Господом, — сказал епископ, — осужденный невинен!

Ничто не может сравниться с восклицанием изумление, огласившим своды залы, с которым смешался испуганный крик председателя и секретаря.

— Да, трепещите, судьи, — продолжал епископ, прежде чем председатель успел вернуть свое хладнокровие, — трепещите! Вы готовились пролить невинную кровь.

Между тем как председатель старался преодолеть свое волнение, Орденер смущенно встал на ноги. Благородный юноша опасался, что обнаружился его великодушный обман, что нашлись доказательства виновности Шумахера.

— Господин епископ, — сказал председатель, — мне кажется, что в этом деле преступление, переходя с головы на голову, стремится избегнуть наказания. Не доверяйтесь обманчивой вероятности. Если Орденер Гульденлью невинен, кто же тогда виновен?

— Сейчас узнаете, ваше сиятельство, — ответил епископ.

Затем, показав трибуналу железный ящик, который нес за ним служитель, он продолжал:

— Господа, вы судили, блуждая во мраке. Этот ящик заключает в себе чудный свет, который рассеет тьму.

Председатель, секретарь и Орденер, казалось, сильно поражены были при виде таинственного ящика.

Епископ продолжал:

— Выслушайте меня, благородные судьи. Сегодня, когда я возвратился в свой дворец отдохнуть от утомления минувшей ночи и помолиться за осужденных, ко мне принесли этот запечатанный железный ящик. Мне сказали, что смотритель Спладгеста принес его утром во дворец, чтобы вручить лично мне, утверждая, что в нем без сомнение заключается какая-то сатанинская тайна. Он найден был на теле святотатца Бенигнуса Спиагудри, труп которого вытащили из Спарбского озера.

Орденер удвоил внимание. Присутствовавшие в зале хранили благоговейное молчание. Председатель и секретарь как преступники потупили головы. Можно было сказать, что оба они лишились свойственной им наглости и коварства. В жизни злодея бывают минуты, когда он теряет всякое присутствие духа.

— Благословив этот ящик, — продолжал епископ, — я вскрыл печать, на которой, как и теперь еще видно, изображен древний уничтоженный герб Гриффенфельда. Я действительно нашел в нем сатанинскую тайну. Судите сами, господа, выслушав меня с полным вниманием. Дело идет о человеческой крови, за каждую каплю которой взыщет Господь.

Затем, открыв таинственный ящик, он вынул из него пергамент, на котором была следующая надпись:

«Я, доктор Блакстам Кумбизульсум, перед смертью завещаю передать капитану Диспольсену, поверенному в Копенгагене бывшего графа Гриффенфельда, этот пергамент, писанный весь рукою Туриафа Мусдемона, служителя канцлера графа Алефельда с тем, чтобы вышеупомянутый капитан воспользовался им по своему благоусмотрению. Молю Бога отпустить мне мои прегрешения.

— Копенгаген, одиннадцатого января, тысяча шестьсот девяносто девятого года.

Кумбизульсум».

Конвульсивная дрожь пробежала по членам секретаря.

Он хотел говорить, но не мог вымолвить ни слова. Между тем епископ передал пергамент бледному и взволнованному председателю.

— Что я вижу? — вскричал тот, развертывая пергамент. — Доклад благородному графу Алефельду о средстве законным путем избавиться от Шумахера!.. Клянусь вам, почтенный епископ...

Пергамент выпал из рук председателя.

— Читайте, читайте, милостивый государь, — продолжал епископ, — я не сомневаюсь, что ваш недостойный служитель воспользовался вашим именем, подобно тому как он злоупотребил именем злополучного Шумахера. Посмотрите однако, что наделала ваша немилосердная ненависть к павшему предместнику. Один из ваших приближенных от вашего имени готовил ему гибель, в надежде без сомнение выслужиться у вашего сиятельства.

Эти слова успокоили председателя, показав ему, что подозрения епископа, знавшего тайну железного ящика, пали не на него. Орденер тоже с облегчением перевел дух. Он понял, что невинность отца Этели обнаружится вместе с его собственной. Он глубоко изумлялся странной судьбе, которая заставила его преследовать страшного разбойника, чтобы отыскать тот ящик, который нес с собой его старый проводник Бенигнус Спиагудри. Он искал его, между тем ящик следовал за ним. Он задумался над страшным уроком случая, который чуть было не погубил его за этот ящик, а теперь им же спасает.

Председатель, вернув к себе самообладание и выказывая негодование, разделяемое всеми присутствовавшими, стал читать длинную записку, где Мусдемон излагал подробности сатанинского замысла, который и выполнил, как известно читателю этой повести. Несколько раз секретарь пытался оправдываться, но каждый раз крики присутствовавших в заседании принуждали его умолкнуть. Наконец чтение кончилось среди общего ропота ужаса и негодования.

— Стража, схватите этого человека! — сказал председатель, указывая на секретаря.

Презренный, не сопротивляясь, безмолвно сошел с своего места и пересел на позорную скамью, осыпаемый проклятиями народа.

— Судьи, — сказал епископ, — трепещите и радуйтесь. Истина, обнаруженная перед вами, подтвердится сейчас показанием тюремного духовника, нашего достойного брата Афанасия Мюндера.

Действительно, епископ явился в сопровождении Афанасия Мюндера, который, поклонившись своему пастырю и трибуналу, по знаку председателя начал:

— То, что я скажу, сущая правда. Да накажет меня Господь, если произнесу хоть одно слово не с добрым намерением! Посетив сегодня утром в темнице сына вице-короля, я уже был убежден в невинности этого юноши, хотя вы и осудили его, основываясь на его признании. Но вот, несколько часов тому назад я позван был подать последнее утешение несчастному горцу, так безжалостно пораженному на ваших глазах и которого вы, уважаемые судьи, осудили на смерть, видя в нем Гана Исландца. Вот что он открыл мне на смертном одре: «Я не Ган Исландец и жестоко наказан за свое самозванство. Принять на себя это имя подкупил меня секретарь великого канцлера, по имени Мусдемон, который назвавшись Гаккетом, подготовил бунт рудокопов. Мне кажется, он один виноват во всем этом деле». Затем, получив мое благословение, он просил меня, не теряя времени, сообщить трибуналу его предсмертное признание. Бог мне свидетель, что я в точности выполнил его просьбу, и да поможет мне спасти невинную кровь.

Священник замолчал, снова поклонившись епископу и судьям.

— Ваше сиятельство, — сказал епископ, обращаясь к председателю, — вы видите теперь, что не ложно один из моих клиентов указывал на сходство Гаккета с вашим секретарем.

— Туриаф Мусдемон, — спросил председатель нового подсудимого, — что можете вы сказать в свое оправдание?

Мусдемон устремил на своего господина взгляд, оледенивший кровь в жилах Алефельда. Прежняя самоуверенность вернулась к нему и после минутного молчание он отвечал:

— Ничего, ваше сиятельство.

Председатель продолжал изменившимся, слабым голосом:

— И так, вы сознаетесь в преступлении, взводимом на вас? Признаете себя виновником заговора против государства и против Шумахера?

— Да, ваше сиятельство, — ответил Мусдемон.

Епископ встал:

— Господин председатель, чтобы не осталось никакого сомнения в этом деле, прошу вас спросить, не имел ли подсудимый сообщников.

— Сообщников! — повторил Мусдемон.

Одну минуту он, по-видимому, находился в нерешимости. Страшное беспокойство изобразилось на лице председателя.

— Нет, господин епископ, — ответил он наконец.

Признательный взгляд председателя встретился с его взглядом.

— Нет, — повторил Мусдемон с большей твердостью, — у меня не было соучастников. Из привязанности к моему господину, который ничего не знал о моих планах, я устроил заговор, чтобы погубить его врага Шумахера.

Взгляды председателя и подсудимого встретились снова.

— Ваше сиятельство, — продолжал епископ, — так как у Мусдемона не было сообщников, вы должны признать невинность барона Орденера Гульденлью.

— Да, уважаемый епископ, но зачем же он сам назвал себя преступником?

— Но, господин председатель, ведь и горец, не жалея своей головы, утверждал, что он Ган Исландец. Один Бог ведает, что творится в глубине человеческого сердца.

Орденер вмешался.

— Господа судьи, так как теперь найден истинный виновник, я могу открыть вам мою тайну. Да, я ложно взвел на себя преступление, чтобы спасти бывшего канцлера Шумахера, смерть которого оставляла беззащитной его дочь.

Председатель закусил губы.

— Мы требуем от трибунала, — сказал епископ, — чтобы им провозглашена была невинность нашего клиента Орденера.

Председатель отвечал знаком согласие, и по требованию главного синдика, суд рассмотрел содержимое таинственного ящика, в котором находились только дипломы и грамоты Шумахера с несколькими письмами Мункгольмского узника к капитану Диспольсену, письмами, исполненными горечи, но не преступными, и которые неприятны были одному лишь канцлеру Алефельду.

В то время как любопытная толпа теснилась на крепостной площади, нетерпеливо ожидая казни сына вице-короля, а палач беззаботно прохаживался по помосту эшафота, суд вышел из-залы и после короткого совещание, председатель едва слышным голосом прочел приговор, осуждавший на смерть Туриафа Мусдемона и восстановлявший Орденера Гульденлью в его прежних правах и отличиях.

### XLIX

Остатки полка Мункгольмских стрелков разместились в старой казарме, уединенно расположенной на обширном четырехугольном дворе внутри крепости. С наступлением ночи все двери этого здание по обычаю были заперты, в нем собрались все солдаты за исключением часовых, расставленных на башнях, и караула у военной тюрьмы, примыкавшей к казарме. В этой тюрьме самой надежной и наиболее охраняемой из всех тюрем Мункгольмского замка, находились двое осужденных, которых утром ждала виселица, — Ган Исландец и Мусдемон.

Ган Исландец был один в своей темнице. Он лежал на земле, в оковах, положив голову на камень. Слабый свет проникал сюда сквозь четырехугольное решетчатое отверстие толстой дубовой двери, отделявшей тюремную келью от соседней комнаты, откуда несся хохот и ругательства сторожей, звон опорожниваемых бутылок и стук костей, бросаемых на барабан.

Чудовище молча ворочалось в темноте, то сжимая кулаки, то корча ноги и кусая железные оковы.

Вдруг он позвал сторожа, который не замедлил появиться у решетчатого окошка двери.

— Что тебе нужно? — спросил он разбойника.

Ган Исландец поднялся на ноги.

— Я прозяб, товарищ. Лисе жестко и сыро на камнях; дай-ка сюда охапку соломы и огня, чтобы погреться.

— Изволь, — ответил сторож, — отчего не сделать маленького одолжения бедняге, которого завтра повесят, будь он самим исландским демоном. Я исполню твою просьбу... Есть у тебя деньги?

— Нет.

— Нет! У тебя, знаменитейшего вора во всей Норвегии, нет в кармане какого-нибудь несчастного дуката?

— Нет.

— Каких-нибудь мелких королевских экю?

— Нет, говорю тебе!

— Даже аскалона?

— Ровно ничего. Даже не на что купить крысьей шкуры или человеческой души.

Сторож покачал головой.

— Ну, это дело другое. Ты напрасно жалуешься, в твоей тюрьме не так холодно, как там, где ты уснешь завтра, не обращая внимание на жесткую постель.

С этими словами сторож отошел, выругав чудовище, которое снова загремело цепями, кольца которых звенели, как бы медленно ломаясь от порывистых движений.

Дубовая дверь отворилась. Вошел рослый малый в красной саржевой рубашке с потайным фонарем в руках в сопровождении сторожа. Узник тотчас же притих.

— Ган Исландец, — сказал прибывший, — я Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа. Завтра, на рассвете, я буду иметь честь повесить твою милость за шею на прекрасной новой виселице, сооруженной уже на Дронтгеймской площади.

— Ты в этом вполне уверен? — спросил разбойник.

Палач захохотал.

— Хотелось бы мне, чтобы ты также прямо попал на небо по лестнице Иакова, как завтра попадешь на виселицу по лестнице Николя Оругикса.

— Так ли? — спросило чудовище с зловещим взглядом.

— Повторяю тебе, что я палач здешнего округа.

— Не будь я Ганом Исландцем, мне хотелось бы быть на твоем месте, — заметил разбойник.

— Ну, я этого не скажу, — возразил палач и, потирая руки, продолжал с тщеславным видом: — Ты, однако, прав, дружище, наше дело завидное. Да!.. Рука моя знает вес человеческой головы.

— А пивал ли ты человеческую кровь? — спросил разбойник.

— Нет; но зато часто пытал людей.

— А выедал ли ты когда-нибудь внутренность еще живого младенца?

— Нет, но зато ломал кости в железных тисках дыбы: навертывал члены на спицы колеса; стальной пилой распиливал черепа, содрав с них кожу; раскалив щипцы докрасна на огне, жег ими трепещущее тело; сжигал кровь в жилах, вливая в них растопленный свинец и кипящее масло.

— Да, — сказал задумчиво разбойник, — у тебя тоже есть свои удовольствия.

— Еще бы, — продолжал палач, — хоть ты и Ган Исландец, а все же я больше спровадил на тот свете человеческих душ, не считая той, с который ты завтра простишься.

— Если только она есть у меня... Дронтгеймский палач, неужели ты действительно убежден, что можешь выпустить из тела Гана Исландца дух Ингольфа, прежде чем он вышибет твой?

Палач захохотал.

— А вот завтра посмотрим!

— Посмотрим! — повторил разбойник.

— Ну, — продолжал палач, — я пришел сюда не затем, чтоб толковать о твоей душе, мне важнее твое тело. Послушай-ка!.. После смерти твой труп принадлежит мне по праву, но закон не лишает тебя возможности заранее продать его мне. Скажи-ка, что ты за него хочешь?

— Что я хочу за мой труп? — переспросил разбойник.

— Да, только, чур, не запрашивать.

Ган Исландец обратился к сторожу.

— Скажи, товарищ, что ты возьмешь за охапку соломы и огонь?

Сторож на минуту задумался.

— Два золотых дуката, — ответил он.

— Ну вот, — сказал разбойник палачу, — ты дашь мне два дуката за труп.

— Два золотых дуката! — вскричал палач. — Это дорогонько. Два золотых дуката за дрянной труп! Нет, мы не сойдемся.

— Ну так не получишь трупа, — спокойно возразил чудовище.

— Ты попадешь на живодерню вместо того, чтобы украсить собой королевский музей в Копенгагене или кабинет редкостей в Бергене.

— Что мне за дело?

— А то, что после твоей смерти народ будет толпиться перед твоим скелетом, говоря: вот останки знаменитого Гана Исландца! Твои кости старательно отполируют, сколотят медными гвоздиками, поставят под большой стеклянный колпак, с которого каждый день заботливо станут стирать пыль. Взамен этих почестей, подумай, что ждет тебя, если ты не продашь мне своего трупа; ты сгниешь где-нибудь в живодерне, изгложут тебя черви или заклюют коршуны.

— Так что же! С живыми ведь делают тоже, маленькие точат, а большие гложут.

— Два золотых дуката! — пробормотал сквозь зубы палач. — Цена неслыханная! Если ты не сбавишь, Ган Исландец, мы не сойдемся.

— Это первая и должно быть последняя продажа в моей жизни; мне надо хоть на чем-нибудь выгадать.

— Смотри, как бы тебе не раскаяться в своем упрямстве. Завтра ты будешь в моей власти.

— Ты думаешь?

Этот вопрос произнесен был с особенным выражением, на которое палач, однако, не обратил внимания.

— Да, есть несколько способов завязывать мертвую петлю, если ты образумишься, можно будет облегчить твою казнь.

— Мне все равно, что ты станешь завтра делать с моей шеей! — с усмешкой заметило чудовище.

— Ну, хочешь получить два королевских экю? На что тебе деньги?

— А вот потолкуй с своим товарищем, — сказал разбойник, указывая на сторожа, — он просит с меня два золотых дуката за охапку соломы и огонь.

— Ты продаешь охапку соломы и огонь на вес золота! — укоризненно заметил палач сторожу. — Да где у тебя совесть! запрашивать два дуката!

Сторож возразил с досадой:

— Будь доволен, что я не запросил четырех!.. Ты сам, Николь, торгуешься как жид, отказывая несчастному узнику в каких-нибудь двух дукатах за труп, который перепродашь какому-либо ученому или доктору по меньшей мере за двадцать.

— Я никогда не платил за труп более пятнадцати аскалонов, — сказал палач.

— Да, за труп воришки или презренного жида, это возможно, — заметил сторож, — но кому неизвестна ценность тела Гана Исландца.

Ган Исландец покачал головой.

— Не суйся не в свое дело, — раздражительно вскричал Оругикс, — разве я мешаю тебе грабить и красть у заключенных одежду, драгоценности, подливать соленую воду в их жидкую похлебку, всякими притеснениями выманивать у них деньги? Нет! Я не дам двух золотых дукатов.

— А я не возьму менее двух дукатов за охапку соломы и огонь, — упрямился сторож.

— А я не продам трупа менее двух дукатов, — невозмутимо заметил разбойник.

После минутного молчание палач топнул ногой.

— Ну, мне некогда терять с вами время.

Вытащив из кармана кожаный кошель, он медленно и как бы нехотя открыл его.

— На, проклятый демон исландский, получай твои два дуката. Право, сам сатана не дал бы за твою душу столько, сколько я даю тебе за тело.

Разбойник взял две золотые монеты и сторож поспешил протянуть к ним руку.

— Постой, товарищ, принеси-ка сперва, что я у тебя просил.

Сторож вышел и, минуту спустя, вернулся с вязкой свежей соломы и жаровней, полной раскаленных угольев, которые положил подле осужденного на пол.

— Ну вот, я погреюсь ночью, — сказал разбойник, вручая сторожу золотые дукаты. — Постой на минуту, — добавил он зловещим голосом: эта тюрьма, кажется, примыкает к казарме мункгольмских стрелков?

— Примыкает.

— А откуда ветер?

— Кажется, с востока.

— Тем лучше, — заметил разбойник.

— А что? — спросил сторож.

— Да ничего, — ответил разбойник.

— Ну прощай, товарищ, до завтра.

— Да, до завтра, — повторил разбойник.

При стуке тяжелой двери, ни сторож, ни палач не слыхали дикого торжествующего хохота, которым разразилось чудовище по их уходе.

### L

Заглянем теперь в другую келью военной тюрьмы, примыкавшей к стрелковой казарме, куда заключен был наш старый знакомец Туриаф Мусдемон.

Быть может читатель изумился, узнав, что этот столь хитрый и вероломный негодяй так искренно сознался в своем преступном умысле трибуналу, который осудил его и так великодушно скрыл сообщничество своего неблагодарного патрона, канцлера Алефельда. Но пусть успокоятся: Мусдемон не изменил себе. Эта великодушная искренность служит, быть может, самым красноречивым доказательством его коварства.

Увидев, что его адские козни разоблачены и окончательно разрушены, он на минуту смутился и оробел. Но когда прошла первая минута волнение, он тотчас же сообразил, что если уж нельзя погубить намеченных им жертв, надо позаботиться о личной безопасности. Два средства к спасению были готовы к его услугам: свалить все на графа Алефельда, так низко изменившего ему, или взять все преступление на себя.

Заурядный ум остановился бы на первом средстве, Мусдемон выбрал второе. Канцлер оставался канцлером, и к тому же ничто прямо не компрометировало его в бумагах, обвинявших его секретаря; затем он успел обменяться несколькими значительными взорами с Мусдемоном и тот, не задумываясь, принял всю вину на себя, уверенный, что граф Алефельд выручит его из беды, в благодарность за бывшие услуги и нуждаясь в будущих.

Мусдемон спокойно прохаживался по своей темнице, едва освещаемой тусклым ночником, не сомневаясь, что ночью дверь тюрьмы будет открыта для его бегства. Он осматривал стены старой каменной тюрьмы, выстроенной еще древними королями, имена которых не сохранила даже история, и изумлялся только деревянному полу ее, звучно отражавшему шаги. Пол как будто закрывал собой подземную пещеру.

Он приметил также большое железное кольцо, ввинченное в стрельчатый свод. К нему привязан был обрывок старой веревки.

Время шло. Мусдемон нетерпеливо прислушивался к медленному бою крепостных часов, мрачно звучавшему среди ночной тишины.

Наконец, шум шагов послышался за дверьми тюремной кельи. Сердце Мусдомона радостно забилось от надежды. Огромный ключ заскрипел, замок зашатался, цепи упали и дверь отворилась.

Вошел человек в красной одежде, которого мы только что видали в тюрьме у Гана. В руках у него был сверток веревок. Следом за ним вошло четверо алебардщиков, в черных камзолах, со шпагами и бердышами.

Мусдемон был еще в судейском костюме и парике, и при виде его палач поклонился с невольным почтением.

— Извините, сударь, — спросил он узника как бы нерешительно, — с вашей ли милостью нам придется иметь дело?

— Да, да, со мной, — поспешно ответил Мусдемон, еще более обнадеженный таким вежливым обращением и не примечая кровавого цвета одежды палача.

— Вас зовут Туриаф Мусдемон? — продолжал палач, устремив взор на развернутый пергамент.

— Да, да. Вы пришли, друзья мои, от великого канцлера?

— От него, сударь.

— Не забудьте же, по выполнении возложенного на вас поручение, засвидетельствовать его сиятельству мою искреннюю признательность.

Палач взглянул на него с удивлением.

— Вашу... признательность!..

— Ну да, друзья мои, так как по всей вероятности мне самому нельзя будет в скором времени лично поблагодарить графа.

— Еще бы, — иронически согласился палач.

— А вы сами понимаете, — продолжал Мусдемон, — что я не могу быть неблагодарным за такую услугу.

— Чорт побери, — вскричал палач с грубым хохотом, — слушая вас, можно подумать, что канцлер оказывает вам Бог весть какое одолжение.

— Это верно, что в этом отношении он отдает мне лишь строгую справедливость!..

— Положим, строгую!.. Но вы сами сознались — справедливость. В двадцать шесть лет моей службы в первый раз приходится мне слышать подобное признание. Ну, сударь, не станем терять время попусту. Готовы вы?

— Готов, готов, — радостно заговорил Мусдемон, направляясь к двери.

— Постойте, постой на минутку, — закричал палач, кидая на пол пук веревок.

Мусдемон остановился.

— Зачем столько веревок?

— Действительно ни к чему, да дело то в том, что при начале процесса я полагал, что осужденных то будет больше.

С этими словами он принялся разматывать связку веревок.

— Ну, скорее, скорее, — торопил Мусдемон.

— Вы, сударь, слишком спешите... Разве вам не требуется никаких приготовлений?

— Какие там приготовление, я уже вас просил поблагодарить за меня его сиятельство... ради Бога, поспешите, — продолжал Мусдемон, — мне хочется выйти отсюда поскорее. Далек ли наш путь?

— Путь? — переспросил палач, выпрямляясь и отмеривая несколько саженей веревки. — Путь не далек, сударь, и не утомителен. Мы все кончим, не делая шагу отсюда.

Мусдемон вздрогнул.

— Я вас не понимаю.

— Я вас тоже, — ответил палач.

— Боже! — вскричал Мусдемон, побледнев как мертвец. — Кто вы такой?

— Я палач.

Несчастный затрясся, как сухой лист, колеблемый ветром.

— Да ведь вы пришли меня выпустить? — пробормотал он коснеющим языком.

Палач разразился хохотом.

— Это правда, выпустить вас на тот свет, а там, смею уверить, никто вас не словит.

Мусдемон кинулся к ногам палача.

— Сжальтесь! Пощадите меня!..

— Чорт побери, — холодно сказал палач, — в первый еще раз обращаются ко мне с такой просьбой. Вы, может быть, принимаете меня за короля?

Несчастный, за минуту пред тем столь радостный и веселый, ползал теперь на коленях, пачкая в пыли свое платье, бился головой о пол и с глухими стонами и мольбами обнимал ноги палача.

— Ну, довольно, — остановил его палач, — никогда не видал я, чтобы судья так унижался перед палачом.

Он ногою оттолкнул несчастного.

— Моли Бога и святых, товарищ. Они скорее услышат тебя.

Мусдемон все стоял на коленях и, закрыв лицо руками, горько плакал.

Между тем палач, поднявшись на цыпочки, продел веревку в кольцо свода, вытянул ее до пола, снова продел в кольцо и завязал петлю на конце.

— Ну, я готов, — сказал он осужденному, окончив свои приготовления, — а ты распростился ли с жизнью?

— Нет, — вскричал Мусдемон, поднимаясь с полу, — это невозможно! Тут должна быть ужасная ошибка. Не может быть, чтобы канцлер Алефельд оказался таким подлецом... Я нужен ему... Не может быть, чтобы вас послали ко мне. Выпустите меня, бойтесь навлечь на себя гнев канцлера...

— Да разве ты сам не назвал себя Туриафом Мусдемоном? — возразил палач.

Узник молчал несколько мгновений.

— Нет, — вдруг вскричал он, — я не Мусдемон, меня зовут Туриаф Оругикс.

— Оругикс! — вскричал палач. — Оругикс!

Поспешно сорвал он парик, скрывавший черты лица осужденного, вскрикнул от изумления:

— Брат мой!

— Твой брат! — изумился Мусдемон с стыдом и радостью. — Так ты?..

— Николь Оругикс, палач Дронтгеймского округа, к твоим услугам, братец Туриаф.

Осужденный кинулся на шею к палачу, называя его своим дорогим, милым братцем; но эта братская встреча не растрогала бы свидетеля. Туриаф ластился к Николю с притворной боязливой радостью, но Николь глядел на него с мрачным смущением. Можно было сказать, что тигр ласкается к слону, придавившему ногой его брюхо.

— Какое счастие, братец Николь!.. Как я рад, что встретился с тобою!

— Ну, а я так не рад за тебя, Туриаф.

Осужденный, делая вид, будто не слышал его слов, продолжал дрожащим голосом:

— Без сомнения, у тебя есть жена, детки? Позволь мне обнять мою дорогую невестку, моих милых племянничков.

— Толкуй! — пробормотал палач.

— Я буду им вторым отцом... Послушай, братец, ведь я в силе, в милости...

Братец ответил зловещим тоном:

— Да, был когда-то!.. А теперь жди милости от святых, у которых ты наверно выслужился.

Последняя надежда оставила осужденного.

— Боже мой, что это значит, дорогой Николь? Встретившись с тобой, я уверен был в своем спасении. Подумай только: одно чрево выносило нас, одна грудь вскормила, одни игры забавляли нас в детстве. Вспомни, Николь, ты ведь брат мой!

— До сих пор ты об этом не помнил, — возразил мрачно Николь.

— Нет, я не могу умереть от рук родного брата!..

— Сам виноват, Туриаф. Ты сам расстроил мою карьеру, помешав мне сделаться государственным палачом в Копенгагене. Разве не ты спровадил меня в это захолустье? Если бы ты не был дурным братом, ты не жаловался бы на то, что теперь так тревожит тебя. Меня не было бы в Дронтгейме, и другой палач расправился бы с тобой. Ну, довольно болтовни, брат, пора умирать.

Смерть ужасна для злодея по тому же, почему не страшна для доброго. Оба расстаются со всем человеческим, но праведность освобождается от тела, как от темницы, а злодей теряет в нем крепость.

Осужденный катался по полу и ломал себе руки с воплями, более раздирающими, чем скрежет зубовный грешника.

— Милосердный Боже! Святые ангелы небесные, если вы существуете, сжальтесь надо мною! Николь, дорогой Николь, именем нашей матери умоляю тебя, не лишай меня жизни!

Палач указал ему на пергамент.

— Не могу, я должен выполнить приказ.

— Он не касается меня, — пробормотал с отчаянием узник, — тут говорится о Мусдемоне, а не обо мне. Я Туриаф Оругикс.

— Полно шутить, — сказал Николь, пожимая плечами, — я отлично понимаю, что дело идет о тебе. Впрочем, — добавил он грубо, — вчера ты не признал бы своего брата, Туриаф Оругикс, а потому останься для него и на сегодня Туриафом Мусдемоном.

— Братец, милый братец, — стонал несчастный, — ну, подожди хоть до завтра! Не может быть, чтобы великий канцлер подписал мой смертный приговор. Это ужасная ошибка. Граф Алефельд души не чает во мне. Клянусь тебе, Николь, не делай мне зла!.. Скоро я снова войду в милость и тогда вознагражу тебя за услугу...

— Одним только ты можешь наградить меня, Туриаф, — перебил палач, — я уже лишился двух казней, на которые сильно рассчитывал; бывший канцлер Шумахер и сын вице-короля ускользнули из моих рук. Мне решительно не везет. Теперь у меня остался Ган Исландец и ты. Твоя казнь, как ночная и тайная, принесет мне двенадцать золотых дукатов. Так не противься же, вот единственное одолжение, которого я жду от тебя.

— Боже мой!.. — глухо застонал несчастный.

— Правда, это одолжение будет первое и последнее, но за то обещаю тебе, что ты не будешь страдать. Я по-братски повешу тебя. Ну, по рукам, что ли?

Мусдемон поднялся с полу. Ноздри его раздувались от ярости, пена выступила у рта, губы стучали как в лихорадке.

— Сатана!.. Я спас Алефельда, обнял брата! А они убивают меня! Они задушат меня ночью, в тюрьме, никто не услышит моих проклятий, голос мой не загремит над ним с одного конца королевства до другого, рука моя не сорвет покрывала с их преступных умыслов! Вот для какой смерти чернил я всю свою жизнь!..

— Негодяй! — продолжал он, обратившись к брату. — Ты хочешь сделаться братоубийцей.

— Я палач, — невозмутимо ответил Николь.

— Нет! — вскричал осужденный, бросаясь, очертя голову, на палача.

Глаза его пылали яростью и наполнились слезами, как у задыхающегося быка.

— Нет, я не умру так! Не для того жил я страшной змеею, чтобы меня растоптали как презренного червя. Я издохну, укусив в последний раз; но укушу смертельно.

С этими словами он злобно схватил того, которого только что обнимал по-братски. Льстивость и ласковость Мусдемона обнаружились теперь во всей наготе. Он освирепел от отчаяния, прежде он ползал, как тигр, теперь, подобно тигру, выпрямился. Трудно было бы решить, который из братьев страшнее в минуту отчаянной борьбы; один боролся с бессмысленной свирепостью дикого зверя, другой с коварным бешенством демона.

Но четыре алебардщика, до сих пор безучастно присутствовавшие при разговоре, поспешили теперь на выручку к палачу. Вскоре Мусдемон, сильный только своей яростью, был побежден и, бросившись на стену с дикими криками, стал царапать ногтями камень.

— Умереть! Адские силы!.. Умереть, и крики мои не пробьют этих сводов, руки не опрокинут этих стен!..

Он более не сопротивлялся. Бесполезные усилие истощили его. С него стащили платье, чтобы связать его, и в эту минуту запечатанный пакет выпал из его кармана.

— Это что такое? — спросил палач.

Адская надежда сверкнула в свирепом взоре осужденного.

— Как я это забыл? — пробормотал он. — Послушай, брат Николь, — прибавил он почти дружелюбным тоном, — эти бумаги принадлежат великому канцлеру. Обещай мне доставить их ему, а затем делай со мной что хочешь.

— Ну так как ты угомонился наконец, обещаю тебе исполнить твою последнюю просьбу, хотя ты и не по-братски поступил со мною. Оругикс ручается тебе, что эти бумаги будут вручены канцлеру.

— Постарайся вручить их лично, — продолжал осужденный, с усмешкой глядя на палача, который от природы не понимал усмешек, — удовольствие, которое они доставят его сиятельству, быть может сослужит тебе добрую службу.

— Правда, брат? — спросил Оругикс. — Ну спасибо, коли так. Чего доброго, добьюсь наконец диплома королевского палача. Расстанемся же добрыми друзьями. Я прощаю тебе, что ты исцарапал меня своими когтями, а ты уж извини, если я помну твою шею веревочным ожерельем.

— Иное ожерелье сулил мне канцлер, — пробормотал Мусдемон.

Алебардщики потащили связанного преступника на средину тюрьмы; палач накинул ему на шею роковую петлю.

— Ну, Туриаф, готов ты?

— Постой, постой, на минутку! — застонал осужденный, снова теряя мужество. — Ради Бога, не тяни веревки, пока я не скажу тебе.

— Да мне и не надо тянуть веревку, — заметил палач.

Минуту спустя он повторил свой вопрос:

— Ну, готов, что ли?

— Еще минутку! Ах, неужели надо умереть!

— Туриаф, мне нельзя терять время.

С этими словами Оругикс приказал алебардщикам отойти от осужденного.

— Одно слово, братец! Не забудь отдать пакет графу Алефельду.

— Будь покоен, — ответил палач и в третий раз спросил: — Ну, готов, что ли?

Несчастный раскрыл рот, быть может, чтобы умолять еще об одной минуте жизни, но палач нетерпеливо нагнулся и повернул медную шишку, выдававшуюся на полу.

Пол провалился под осужденным, и несчастный исчез в четыреугольном трапе при глухом скрипе веревки, которая крутилась от конвульсивных движений висельника. Роковая петля с треском вытянулась, и из отверстия послышался задыхающийся стон.

— Ну, теперь кончено, — сказал палач, вылезая из трапа. — Прощай, брат!

Он вынул нож из-за пояса.

— Ступай кормить рыб в залив. Пусть твое тело будет добычей и воды, если душа стала добычей огня.

С этими словами он рассек натянутую веревку. Отрезок, оставшийся в железном кольце, хлестнул по своду, между тем как из глубины раздался плеск воды, расступившейся при падении тела и снова потекшей под землею к заливу.

Палач закрыл трап, снова нажав шишку, и когда выпрямился, приметил, что тюрьма полна дыму.

— Что это? — спросил он алебардщиков. — Откуда этот дым?

Те не знали и, удивившись, поспешили отворить дверь тюрьмы. Все коридоры были наполнены густым удушливым дымом; в испуге кинулись они к потайному ходу и вышли на четыреугольный двор, где ждало их страшное зрелище.

Сильный пожар, раздуваемый крепким восточным ветром, охватил уже военную тюрьму и стрелковую казарму. Вихри пламени вились по каменным стенам, над раскаленной кровлей и длинными языками выбивались из выгоревших окон. Черные башни Мункгольма то краснели от страшного зарева, то исчезали в густых клубах дыма.

Сторож, бежавший по двору, рассказал впопыхах палачу, что пожар вспыхнул во время сна часовых Гана Исландца, в кельи чудовища, которому неблагоразумно дали соломы и огня.

— Вот несчастие-то, — вскричал Оругикс, — теперь и Ган Исландец ускользнул от меня. Негодяй наверно сгорит! Не видать мне его тела, как своих двух дукатов!

Между тем злополучные стрелки Мункгольмского гарнизона, видя близость неминуемой смерти, столпились у главного входа, запертого наглухо на ночь. На дворе слышались их жалобные стоны и вопли. Ломая руки, высовывались они из горящих окон и кидались на двор, избегая одной смерти и встречая другую.

Пламя яростно охватило все здание, прежде чем подоспели на помощь остатки гарнизона. О спасении нечего было и думать. По счастию, строение стояло отдельно от прочих зданий; пришлось ограничиться тем, что прорубили топорами главную дверь, но и то слишком поздно, так как когда она распахнулась, обуглившаяся крыша рухнула с страшным треском на несчастных солдат, увлекая в своем падении прогоревшие полы и потолки. Все здание исчезло тогда в вихре раскаленной пыли и дыма и замерли последние слабые стоны жертв.

К утру на дворе возвышались лишь четыре высокие стены, почернелые и еще теплые, окружающие страшную груду пожарища, где еще тлелись головни, пожирая друг друга, как дикие звери в цирке.

Когда развалины несколько остыли, принялись разрывать их, и под грудою каменьев, бревен и скрученных от жара скоб нашли массу побелевших костей и изуродованных трупов. Тридцать солдат, по большей части искалеченных, вот все, что осталось от прекрасного Мункгольмского полка.

Раскапывая развалины тюрьмы, добрались наконец до роковой кельи Гана Исландца, откуда начался пожар. Там нашли останки человеческого тела, лежавшего близ железной жаровни, на разорванных цепях. Приметили только, что в пепле лежало два черепа, хотя труп был один.

### LI

Бледный и взволнованный граф Алефельд большими шагами расхаживал по своему кабинету, мял в руках пакет с письмами, которые только что прочел, и топал ногою в мраморный пол, устланный коврами с золотой бахромой.

В углу комнаты в почтительном отдалении стоял Николь Оругикс, одетый в позорную багряницу, с войлочной шляпой в руках.

— Ну, Мусдемон, удружил же ты мне! — пробормотал канцлер сквозь зубы, скрежеща ими от ярости.

Палач робко устремил на него свой тупой взгляд.

— Вы довольны, ваше сиятельство?..

— Тебе что нужно? — спросил канцлер, раздражительно обратившись к нему.

Палач, обнадеженный и польщенный вниманием канцлера, просиял и ухмыльнулся.

— Что мне нужно, ваше сиятельство? Да местечко копенгагенского палача, если ваша милость захочет вознаградить меня за приятные известия, которые я вам доставил.

Канцлер позвал двух алебардщиков, дежуривших у дверей кабинета.

— Взять этого негодяя, который смеет нагло издеваться надо мною.

Стража потащила Николя, остолбеневшего от изумление и страха.

— Ваше сиятельство... — простонал он.

— Ты больше не палач Дронтгеймского округа! Я лишаю тебя диплома! — перебил канцлер, с силой захлопнув за ним дверь.

Канцлер снова схватил письма, с бешенством читал и перечитывал их, как бы упиваясь нанесенным ему позором; в этих письмах заключалась старая переписка графини Алефельд с Мусдемоном.

Сомнения быть не могло: почерк был Эльфегии. Граф убедился воочию, что Ульрика не его дочь, что столь любимый им Фредерик, быть может, не был его сыном. Несчастный граф был наказан в той гордости, под влиянием которой возымел преступные умыслы.

Мало того, что мщение не удалось ему, он увидел, как рухнули его честолюбивые мечты, что прошлое запятнано позором, а будущее умерло навсегда. Он хотел погубить врагов своих, но добился лишь гибели сообщника, утратил власть и даже права мужа и отца.

Он захотел, наконец, в последний раз увидеть несчастную, обманувшую его жену. Поспешно прошел он по обширным залам, сжимая письма в руках, как будто держал порох. Вне себя от ярости распахнул он дверь комнаты Эльфегии и вошел... Виновная жена только что узнала от полковника Ветгайна подробности страшной гибели сына своего Фредерика.

Несчастная мать лишилась рассудка.

## ЭПИЛОГ

Целых две недели происшествие, которые мы только что рассказали читателю, были предметом разговоров в Дронтгейме и Дронтгеймской области. Их судили и рядили каждый день с новых сторон. Городское население, столь жадно ждавшее семь смертных казней, уже отчаялось насладиться этим зрелищем, а полуслепые старые бабы стали уверять, что в ночь страшного пожара казармы видели, как Ган Исландец с хохотом вылетел из пламени и столкнул ногой пылающую кровлю здание на мункгольмских стрелков.

После продолжительного для Этели отсутствия, Орденер снова явился в башню Шлезвигского Льва в сопровождении генерала Левина Кнуда и священника Афанасия Мюндера.

В эту минуту Шумахер, опираясь на руку дочери, прогуливался по саду. Трудно было молодым супругам удержаться, чтобы не кинуться друг другу в объятия, но все таки они удовольствовались значительным взглядом.

Шумахер с волнением пожал руку Орденера и радушно приветствовал остальных посетителей.

— Молодой человек, — сказал старый узник, — да благословит Господь твое возвращение.

— Я только что прибыл сюда, — ответил Орденер.

— Что ты хочешь сказать? — спросил старик с удивлением.

— Я прошу руки вашей дочери.

— Моей дочери! — вскричал узник, обернувшись к зардевшейся и трепещущей Этели.

— Да, я люблю вашу Этель; я посвятил ей свою жизнь: она моя.

Лицо Шумахера омрачилось.

— Ты честный и достойный человек, сын мой; хотя твой отец причинил мне много зла, для тебя я прощаю все и мне самому хотелось бы осуществить твое желание. Но есть препятствие...

— Препятствие? — спросил Орденер, почти с беспокойством.

— Ты любишь мою дочь, но уверен ли ты, что тебе отвечают взаимностью?

Влюбленные переглянулись в молчаливом изумлении.

— Да, — продолжал Шумахер. — Мне самому прискорбно, так как я люблю тебя и с радостью назвал бы сыном. Моя дочь не хочет этого брака. В последний раз она прямо объявила мне, что не чувствует к тебе склонности. С тех пор как ты уехал, она молчит, когда я заговорю о тебе, старается избегать всего, что только может напомнить ей о тебе. Откажись от нее, Орденер. От любви, как и от ненависти, можно вылечиться.

— Граф, — изумленно начал Орденер.

— Батюшка! — вскричала Этель, сложив руки.

— Будь покойна, дочь моя, — перебил старик, — этот союз мне нравится, но не по душе тебе. Я не хочу насиловать твое сердце, Этель. В последние две недели я во многом переменился. Я не порицаю тебя за чувство к Орденеру. Ты свободна располагать собою...

Афанасий Мюндер улыбнулся.

— Нет, она не свободна, — заметил он.

— Вы ошибаетесь, дорогой батюшка, — прибавила Этель ободрившись, — я не ненавижу Орденера.

— Как! — вскричал Шумахер.

— Я... — начала Этель и остановилась.

Орденер опустился на колени пред стариком.

— Она жена моя, батюшка; простите меня, как простил меня мой отец, и благословите ваших детей.

Изумленный Шумахер благословил коленопреклоненную перед ним юную чету.

— В своей жизни я столько проклинал, — сказал он, — что теперь без разбора ловлю случай благословлять. Но растолкуйте мне, я ничего не понимаю...

Ему объяснили все. Он плакал от умиления, благодарности и любви.

— Старик, я считал себя мудрым и не понял сердца юной девочки!

— Так меня зовут теперь Этель Гульденлью, — вскричала Этель с детской радостью.

— Орденер Гульденлью, — повторил старый Шумахер, — я не достоин тебя. В былое время моего могущества я счел бы позором для своего сана жениться на бедной, униженной дочери несчастного узника.

Генерал взял Шумахера за руку и вручил ему свиток пергаментов.

— Граф, вы не правы. Вот ваши титулы, которые вернул вам король еще с Диспольсеном. Его величество с этим даром возвращает вам свое расположение и свободу. Таково приданое графини Даннескиольд, вашей дочери.

— Прощение!.. Свобода! — радостно повторила Этель.

— Графиня Даннескиольд! — добавил отец.

— Да, граф, — продолжал, генерал, — вам возвращены все почести и конфискованные у вас имения.

— Кому же обязан я этим счастием? — спросил растроганный Шумахер.

— Генералу Левину Кнуду, — ответил Орденер.

— Левину Кнуду! Помните, генерал, я правду вам говорил, что Левин Кнуд лучший из людей. Но зачем сам он не принес мне моего счастия? Где он?

Орденер с удивлением указал на губернатора, который улыбался и плакал.

— Вот он.

Трогательна была встреча двух старых товарищей юности и могущества. Шумахер умилен был до глубины души. Узнав Гана Исландца, он перестал ненавидеть людей, узнав Орденера и Левина, он научился любить их.

Вскоре печальный брак темницы отпразднован был блистательным свадебным пиром. Жизнь улыбнулась наконец юным супругам, которые с улыбкой шли на встречу смерти. Граф Алефельд видел их счастие, и оно служило ему самым чувствительным наказанием.

Афанасий Мюндер имел тоже свои радости. Он добился помилование четырнадцати осужденных, к числу которых Орденер присоединил товарищей своих по несчастию: Кеннибола, Джонаса и Норбита. Они вернулись к рудокопам с радостной вестью, что король освободил их наконец от опеки.

Недолго брак Этели с Орденером радовал Шумахера; свобода и счастие слишком сильно подействовали на его душу, и она отошла к другому счастию, к другой свободе. Он умер в том же 1699 году, и горе, поразившее его детей, доказало им, что на земле нет полного счастия. Он похоронен в Веерской церкви, в Ютландском поместье своего зятя, и могила сохранила ему все титулы, которых лишило заключение. Брак Этели и Орденера положил начало роду графов Даннескиольдов.

###### КОНЕЦ.

1. Морг — помещение, где в течение известного срока выставляют тела убитых или самоубийц неизвестного звания. [↑](#footnote-ref-1)
2. Спладгест — название морга в Дронтгейме. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пушка старинного образца. [↑](#footnote-ref-3)
4. Длинная мантия, которую носило высшее духовенство (*прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-4)
5. Твоя от твоих (*лат*.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Отсроченный поединок (*лат*.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Чтобы добыть гагачий пух, норвежские крестьяне делают для птиц гнезда, в которых потом их ловят и ощипывают. [↑](#footnote-ref-7)
8. Одельсрехт, странный закон на подобие майората, установленный среди норвежских крестьян. Всякий, не желающий отказаться от родового имение, мог воспрепятствовать приобретателю оного передавать его в другие руки, заявляя каждые десять лет о своем намерении выкупить его. [↑](#footnote-ref-8)
9. Далее (*лат*.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Не верь пустой молве (*лат*.). [↑](#footnote-ref-10)
11. Строчка из «De arte poetica» Горация: «Кроме меча своего признавать не хотящий закона» (пер. М. Дмитриева) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-11)
12. Из двух зол выбирай меньшее (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-12)
13. Как вам угодно (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-13)
14. Ужасающая трапеза!.. (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-14)
15. Строчка из «De arte poetica» Горация: «Нет, не должна кровь детей проливать пред народом Медея…» (пер. М. Дмитриева) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-15)
16. Чужестранец! Зачем пришел? (*лат*.) [↑](#footnote-ref-16)
17. Хлеб из коры, которым питается бедное население Норвегии. [↑](#footnote-ref-17)
18. Право крови, право иметь палача (*лат*.). [↑](#footnote-ref-18)
19. Пять золотых запроси! (*средневек. лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-19)
20. Презирая реки, пьет горькую морскую воду (*лат*.). [↑](#footnote-ref-20)
21. В разбойничьем притоне (*лат*.). [↑](#footnote-ref-21)
22. Сделано (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-22)
23. Отказано (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-23)
24. Растение — Адамова голова. [↑](#footnote-ref-24)
25. Вода озера Спарбо славится закалкою стали. [↑](#footnote-ref-25)
26. Звезда певучая болотная (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-26)
27. Риск без прибыли (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-27)
28. Ambubаiаrum соllеgiа, рhаrmасороlае — флейтисток коллегия, шарлатаны (*лат*.). Начало 2‑й сатиры 1‑й книги Кв. Горация: «Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные…» (пер. М. Дмитриева и Н. С. Гинцбурга) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-28)
29. Фредерик III попался на удочку датского химика Борха или Боррихиуса и особенно миланского шарлатана Борри, который уверял, что ему покровительствует архангел Михаил. Этот обманщик, изумив своими мнимыми чудесами Страсбург и Амстердам, возмечтал расширить сферу своих наглых обманов: одурачив народ, он осмелился дурачить королей. Начал он с королевы Христины в Гамбурге и кончил королем Фредериком в Копенгагене. [↑](#footnote-ref-29)
30. Что кифары, трубы, даже колокола достойно (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-30)
31. Вьюнок, растение из рода вьюнковых (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-31)
32. Januа — дверь, выход (*лат*.). [↑](#footnote-ref-32)
33. Морские собаки причиняют вред рыбакам, пугая рыбу. [↑](#footnote-ref-33)
34. Никто не смеет питаться более, чем двумя кусками хлеба с похлебкой (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-34)
35. Глазами и рукой (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-35)
36. До тех пор пока Гриффенфельд не положил основание дворянскому сословию, древние норвежские вельможи носили титул hers (барон) или jаrl (граф). От последнего слова произошло английское earl (граф). [↑](#footnote-ref-36)
37. Святой Усуф — покровитель рыбаков. [↑](#footnote-ref-37)
38. Между Данией и Швецией действительно происходили серьезные замешательства в виду требование графа Алефельда, чтобы датский король в трактате между этими двумя государствами величался титулом rех Gоthorum, что делало датского монарха как бы владетелем шведской области Готландии. Шведы соглашались лишь на титул rех Gotorum, титул неопределенный, равносильный древнему титулу датских королей: король Готский.

    На эту то букву *h* , причину, если не войны, то все же продолжительных и грозных пререканий, без сомнение, и указывал Шумахер. [↑](#footnote-ref-38)
39. Откуда преступление? (*лат*.) (*Прим. верстальщика*). [↑](#footnote-ref-39)
40. Некоторые летописцы утверждают, что в 1625 году прославился своими грабительствами епископ Борглумский, который, как говорят, держал на откупу пиратов, разорявших берега Норвегии. [↑](#footnote-ref-40)
41. По народному поверию Нистгим был ад для тех, кто умирал от болезни или от старости. [↑](#footnote-ref-41)